Одесский
альманах
№82
III / 2020

ДЕРИБАСОВСКАЯ ↔ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

PLASKE
ПЛАСКЕ

Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 3 (82), 2020
Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
(свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010 г.)
Председатель редакционного совета: Иван Липтуга
Редактор: Феликс Кохрихт
Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга
Технический редактор: Геннадий Танцюра
Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой информации:
КВ № 19644-9444Р от 08.01.2013 г.

Адрес редакции: 65001 Украина, Одесса, ул. Ак. Заболотного, 12, а/я 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»
Украина Одесса ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД №21 от 20.01.2003 г.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Тираж 500 экз.
Заказ № _____

Літературно-художнє видання серії «Одеська бібліотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 3 (82), 2020
Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» (свідоцтво ДК № 3673 від 21.01.2010 р.)
Голова редакційної ради: Іван Ліптуга
Редактор: Фелікс Кохріхт
Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губар, Іван Ліптуга
Технічний редактор: Геннадій Танцюра
Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:
КВ № 19644-9444Р від 08.01.2013 р.

Адреса редакції: 65001 Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного, 12, а/с 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «ТакиБук»
Україна Одеса ФОП Карпенков О.І.
Свідоцтво ОД №21 від 20.01.2003 р.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Наклад 500 прим.
Замовлення № _____

© АО «ПЛАСКЕ», 2020
© «Дерибасовская – Ришельевская», 2020

От редакции

Одессе исполнилось 226 лет.

Со дня основания города здесь смешались свойства и качества тех, чьи предки положили начало одесской общности людей, «в чьих жилах», написали бы мы еще недавно, но сегодня, когда наш альманахе парит и в облаке Интернета, скажем – «в генетическом коде». Слились облики, темпераменты способности, склонности к недугам и силы их преодоления…

Нет необходимости перечислять этносы тех, кто завоевывал, строил, оборонял, освобождал, отстраивал, благоустраивал и любил (любит) этот город, о котором Михаил Жванецкий писал в приветствии Леониду Утесову… Заметьте, его обращение к легендарному земляку начинается с «Нет», что в Одессе, бывает, обозначает «Да!».

Итак: «Нет, что-то есть в этой почве. Нет, что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю… Нет, что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное».

Вот это – самое главное – мы и пытаемся, стараемся уловить и рассказать об этом нашим читателям.

Итак – улицы. Стало уже традицией, что ежегодно в канун дня рождения города мы начинаем жить по собственному отсчету – от 2 сентября до 2 сентября. Сверяем дни, недели, месяцы по Одесскому календарю, который создают и издают АО «ПЛАСКЕ» и Литературный музей при участии альманаха. Каждый посвящен одной из улиц города, нынче – Старопортофранковской. В нашем номере Евгений Голубовский рассказывает о доме, где жили несколько поколений семьи Бориневичей-Бабайцевых – деятелей культуры, литературы, науки, и предпосылает статье рубрику – «Культурное гнездо».

Многие улицы, бульвары, пригороды старой Одессы связаны с пребыванием в молодом городе у Черного моря великого поэта. Молодой

город его глазами поможет увидеть нам Одесский пушкинский путеводитель Олега Губаря – его очередная глава.

Разумеется, море, порт, наука, курорты, заводы – все это неотъемлемые составляющие того, что формировало достойное своеобразное, самобытное место Одессы в табели о рангах. Но мы полагаем, что в значительной мере оно определено уникальными творческими школами.

Подтверждение тому – недавно обретенный статус Литературного города ЮНЕСКО. Об одном из фундаторов литературной школы, Валентине Катаеве, пишет Алена Яворская.

Продолжается диалог пианиста Юрия Дикого и Феликса Кохрихта о роли и месте Одессы в формировании таланта и личности великих музыкантов – Эмиля Гилельса и Святослава Рихтера.

Наша художественная школа представлена номере Ефимом Ладыженским, создавшим яркие, полные колорита и ностальгии образы Одессы 20-30-х годов минувшего века, – мы увидим их в материале Елены Галинской.

Среди наших авторов есть удостоенные высоких степеней и званий. Сегодня мы поздравляем М.Б. Пойзнера с присвоением ему статуса «Почетный гражданин Одессы». Михаил Борисович заслужил его, как говорится, по совокупности заслуг, а они проявляются в важных и столь разных областях деятельности: гидротехника (доктор технических наук, профессор), история (автор фундаментальных трудов по обороне и освобождению Одессы), краеведение (инициатор увековечения памяти выдающихся одесситов), активная гражданская позиция.

Но мы знаем Мишу и как доброго надежного друга, обладателя типичных черт того одесского характера, присущих и Михаилу Жванецкому, и Юрию Михайлику, чьи монологи открывают этот номер альманаха.

А завершает его наш исконный раздел «Ах, Одесса!» – вечный восторженный вздох… Здесь есть и «Очень одесские рассказы» Михаила Пойзнера – улыбнетесь, когда прочтете.

…Второго сентября мы соберемся у Всемирного клуба одесситов и пойдем по Маразлиевской, Канатной, Пушкинской на Ланжероновскую – на аллею у оперного театра, и убедимся, что она так же бесконечна в пространстве и времени, как и история Одессы. В этот день здесь зажгутся новые звезды в честь тех, кто прославил наш город.

Михаил Жванецкий

Жизнь коротка

Жизнь коротка. И надо уметь.

Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу.

Уходить от плохого человека.

Их много.

Дела неидущие бросать.

Даже от посредственности уходить.

Их много. Время дороже.

Лучше поспать.

Лучше поесть.

Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.

Музыка стала врагом человека.

Музыка навязывается, лезет в уши.

Через стены.

Через потолок.

Через пол.

Вдыхаешь музыку и удары синтезаторов.

Низкие бьют в грудь, высокие зудят под пломбами.

Спектакль – менее наглый, но с него тоже не уйдешь.

Шикают. Одергивают.

Ставят подножку.

Компьютер – прилипчив, светится, как привидение, зазывает, как восточный базар.

Копаешься, ищешь, ищешь.

Ну находишь что-то, пытаешься это приспособить, выбрасываешь, снова копаешься, нашел что-то, повертел в голове, выбросил.

Мысли общие.

Слова общие…

Нет!

Жизнь коротка.

И только книга деликатна.

Снял с полки. Полистал. Поставил.

В ней нет наглости.

Она не проникает в тебя без спросу.

Стоит на полке, молчит, ждет, когда возьмут в теплые руки.

И она раскроется.

Если бы с людьми так.

Нас много. Всех не полистаешь.

Даже одного.

Даже своего.

Даже себя.

Жизнь коротка.

Что-то откроется само.

Для чего-то установишь правила.

На остальное нет времени.

Закон один: уходить.

Бросать.

Бежать.

Захлопывать или не открывать!

Чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого…

Юрий Михайлик

Только новое

* * *

Облачко колеблется, робея,
средь прибрежных маленьких зыбей.
То ли море неба голубее,
то ли небо моря голубей?

Ничего в любви не понимая,
только вниз по склону торопясь,
вниз по склону, глаз не поднимая,
вниз по склону, за руки держась,

к небу, к морю, к облаку добраться,
до нескромных, но укромных скал,
целоваться – и не отзываться,
кто бы и зачем бы ни искал.

* * *

В серебре от соли и пыли
как слюда – морская вода.
Генуэзец скажет – приплыли.
И поймет – опять не туда.

Рай земной – летучие рыбки,
изумруд – листва и волна…
По ошибке, все – по ошибке,
ибо жизнь, увы, неверна.

Уплывая, мы не заметим,
в прошлый раз опять не учли,
как влияет солнечный ветер
на ночную скорость Земли.

После многократных проверок
хорошо держать в голове –
мало ли на свете америк…
Индий тоже больше, чем две.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

История, краеведение

10 **Олег Губарь**
Путеводитель по пушкинской Одессе

28 **Андрей Добролюбский**
«Я попал в какой-то другой мир…»

43 **Олег Губарь**
Руссовы: происхождение, причисление в городское гражданство, недвижимость

52 **Павел Козленко**
Моя Балта

67 **Аркадий Рыбак**
Аккерманский мальчик

84 **Анатолий Горбатюк**
Ужин с видом на Дарданеллы, или «А скумбрию подать забыли?!»

Олег Губарь

Путеводитель по пушкинской Одессе*

Князь Жевахов

Портрет князя И.С. Жевахова.
Джордж Доу и мастерская, 1821-1825 гг.
Из собрания Государственного Эрмитажа,
Санкт-Петербург

Жевахов (*Джавахишвили*) *Иван* (*Иоанн*) *Семенович* (1762-1837), генерал-майор, из грузинского княжеского рода. Служил с 1775 года – кадетом в Украинском гусарском полку, в 1777-м участвовал в стычках с черкесами за Кубанью, в боевых действиях против турецких войск в кампаниях 1787-1791 годов, получил несколько ранений при штурме Очакова (1788), в 1792 году участвовал в польской кампании, героически сражался с наполеоновскими войсками в 1806-1807, 1812-1814 годах. Полковник (1800), генерал-майор (1813), командир Ахтырского гусарского полка (1808-1811), шеф Серпуховского драгунского (позднее уланского) полка (1811). За боевые отличия под Броком, Пинском, Кобрином, Модлином, Ченстоховым, Дрезденом и проч. награжден орденами Святого Георгия IV степени (1807), Святого Владимира III степени (1812), золотой саблей с надписью

* Продолжение. Начало в кн. 64, 66-81.

«За храбрость» и др. Уволен от службы по собственному прошению 31 января 1817 «за ранами с мундиром и полным пенсионом».

Весной 1812 года получил под застройку четыре места (позднее – еще восемь) во II отделении Нового базара,[1] однако строительство затянулось ввиду Отечественной войны, катастрофической эпидемии чумы и было завершено лишь в конце апреля 1816 года.[2] Вскоре Жевахов приобрел смежные места и открыл большой заезжий двор со стороны будущей улицы Княжеской, очевидно, названной так по его титулу. Помимо более двух третей II отделения, по Конной, от Княжеской до Коблевской, и дома на углу последней ему принадлежал обширный Жевахов хутор общей площадью 188 десятин, в том числе 10 десятин неудобий.[3] Он располагался в тылу Пересыпи по направлению к возвышенности меж Куяльницким и Хаджибейским лиманами, получившей название Жевахова гора (зафиксированы и другие подобные народные топонимы: станция Жевахова, слобода Жевахова, улица Жеваховская), и выходил к Куяльницкому лиману. Никаких значимых сооружений князь здесь не построил, функционировали лишь небольшие домики. Ныне территория бывшего хутора Жевахова захватывает часть Латовки и простирается до Куяльницкого курорта. В 1833 году по просьбе генерал-губернатора графа М.С. Воронцова князь уступил здесь более шести десятин земли городу под устройство казенного лиманно-лечебного заведения, и тем было положено основание Куяльницкому курорту. И.С. Жевахов скончался в Одессе 24 июля 1837 года, погребен на 1-м городском (Старом) кладбище. В «Одесском вестнике» некролог не обнаружен (в те годы оные вообще были редкостью).

Вся недвижимость, включая упомянутую гостиницу и обширный хутор, перешла под опеку его вдовы. В конце 1840-х дома Жевахова были назначены в публичную продажу по частям за казенный долг, а затем временно сдавались в аренду на погашение того же долга (подробности ниже). Незамужняя дочь И.С. Жевахова, Александра, скончалась в возрасте 18-ти лет 21 августа 1841 года, и 23-го числа, после отпевания в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, тоже похоронена на Старом кладбище, варварски разрушенном в 1930-е годы. Братья и другая мужская родня Жевахова: Семен Семенович (1750-1812), Филипп Семено-

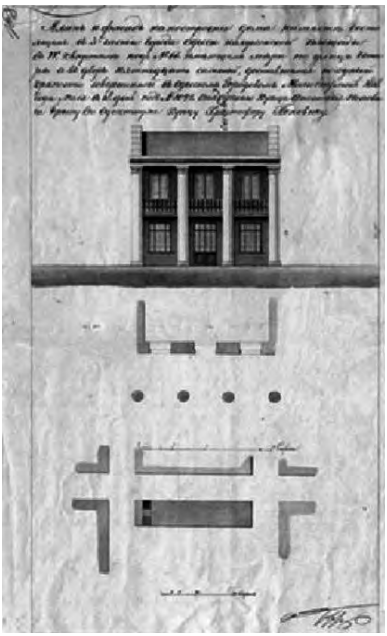
Площадь Нового базара в середине XIX ст.

вич (1754 – после 1817), Александр Яковлевич, Евстафий Теймуразович, Спиридон Эрастович (1768-1815) – также заслуженные российские боевые офицеры и генералы.

Князь И.С. Жевахов, один из главных застройщиков Херсонской площади, получил места в 1812 году. Согласно архивным документам, 8 апреля этого года «полковник князь Жевахов» просил Строительный комитет отвести ему четыре места (четыре стандартных секции) для постройки каменных лавок во втором отделении сказанной площади.[4] Места эти 22 февраля в ходе жеребьевки достались: одно – мещанину Соломону Гершковичу, одно – купцу Георгию Караси, два – мещанину Иосю Шаевичу.[5] Но поскольку они отказались производить постройку, вероятно, из-за несостоятельности, места передали Жевахову – с тем чтобы он застроил их четырьмя плановыми лавками в течение семи месяцев.[6] Князь приступил к исполнению, однако чума и война приостановили работы.

По миновании лихолетья Жевахов успешно отстроил не только четыре вышеупомянутые, но еще восемь лавок на отведенных Комитетом смежных местах, то есть две трети всего квартала, самого протяженного по Херсонской площади. 27 апреля 1816 года он, уже генерал-майор, докладывает Комитету об окончании строительства. В соответствии с установленной процедурой постройки освидетельствовал городской архитек-

тор Фраполли, доложивший о том, что все исполнено по утвержденному плану и почти надлежащим образом. Правда, домовладельца обязали сделать небольшие исправления, в частности, укрепить крышу. 15 мая ОСК принял решение выдать князю владельческие документы.[7]



Типовая двухэтажная лавка, каковые располагались во всех отделениях Нового рынка, включая второе.
Архитектор Ф.К. Боффо, 18 мая 1818 г.

Что же представляла собой эта недвижимость в тот момент? Это были 12 двухэтажных каменных лавок, построенных по стандартному плану. В три окна и четыре сажени по фасаду, обращенному на площадь, с портиком (рыночные площади имитировали агору античных полисов). Общая протяженность этих лавок составляла 48 саженей по улице и 30 саженей в глубину двора. Лавки снабжались глубокими сводчатыми подвалами-хранилищами, вторые этажи использовались под жилье. Во дворах находились различные хозяйственные постройки: конюшни, каретные сараи, флигеля для челяди, кухни и проч.

Протяженные подвалы имели два выхода на улицу, то есть на площадь Нового базара. 4 ноября 1820 года Жевахов обратился к градоначальнику Трегубову с просьбой разрешить ему сделать третий выход – со стороны дворовых мест. Тот препроводил бумагу в ОСК, где приняли постановление санкционировать устройство третьего выхода из подвального этажа, но не во двор, а на улицу.[8] Вероятно, администрация заботилась о легальности хранимых там материалов, то есть все должно было быть на виду.

В начале 1820-х годов князь стал дополнительно прикупать смежные места во втором отделении. В частности, он приобрел дворовое место статского советника Карпова, где устроил обширный заезжий двор, остро востребованный приезжающими на рынок солидными промышленниками. «Княжеский двор» быстро обрел популярность, но в июне 1823 года благополучие этого весьма полезного учреждения оказалось под угрозой, ибо купец Семен Великанов вознамерился блокировать своей новостройкой проезд в переулок, и план этой постройки официально утвердили в ОСК. Разумеется, возник конфликт не только с Жеваховым, но и с владельцами соседних лавок – купцами Дорофеем Шабакиным и Афанасием Поповым.[9] Очевидно, по этой причине гостиницу позднее перенесли с дворового места в дом на углу Княжеской и Конной. А переулок и в самом деле был полностью застроен, каковая тенденция стала намечаться еще в 1814 году. Трудно понять, как такое могло произойти вразрез даже более позднему генеральному плану Одессы, составленному Торичелли. На этом плане переулок обозначен как существующий. Поистине уникальный случай, ибо во всех других места, примыкающие к торговым корпусам, увеличивались лишь за счет некоторого сужения переулков. В настоящее время бывший переулок находится в пределах дворов домов № 21 по улице Коблевской, № 22 по улице Конной и № 28 по улице Княжеской.

12 сентября 1824 года в Херсонской палате гражданского суда была заключена сделка: Жевахов купил у капитана 55-го егерского полка Герандлия дом,[10] построенный им летом 1813 года в соседнем, третьем отделении Нового базара,[11] сразу за улицей Коблевской (в дальнейшем перестроен). В 1824 году вся эта одесская недвижимость князя – 12 лавок, дом в том же квартале и дом в соседнем квартале – оценивалась в 94.000 рублей и приносила доход в 7.000 ежегодно.[12] Это неплохой по тем временам показатель, ибо таковой максимально составлял в Одессе 10-12%.

Заезжий «Княжеский двор» для «чистой публики», давший название улице, исправно функционировал и в 1830-х годах, трансформировавшись в гостиницу. Заведение это фигурирует в архивных делах о выдаче свидетельств на содержание гостиниц, кофейных домов, харчевен и т. п.[13] После кончины И.С. Жевахова

его супруга продолжала использовать тот же дом как доходный. Об этом, например, свидетельствует серия объявлений, помещенных в газете «Одесский вестник» осенью 1842 года: «Отдаются покои для найма приезжих в большом доме княгини Жеваховой, на Новом базаре, по Княжеской улице, с меблированными отделениями, с кухнями, конюшнями, сараями и погребами, по ценам довольно умеренным».[14]

Владея столь солидной недвижимостью, Жеваховы, однако, вовсе не были богаты. Известно, что три брата Жеваховы – Иван, Семен и Филипп – совместно унаследовали… 15 душ крепостных, имели лишь офицерское жалованье, всю жизнь провели в походах, Семен и погиб на поле боя в грозном 1812-м году. Так что жили одесские Жеваховы исключительно на пенсион и прибыль от сдачи в аренду недвижимости, в светских тусовках практически не участвовали, благотворительностью занимались без показухи, из градоначальства в последние годы никуда не выезжали. Здоровье израненного князя явно оставляло желать лучшего. Лишившись мужа, а затем и дочери, княгиня оказалась в весьма за-

В створе этого двора проходил ликвидированный квартал переулка за вторым отделением Нового рынка. Снимки автора, конец 2000-х гг.

труднительном положении: долги росли, а недвижимость ветшала, доходы падали. В середине 1840-х оценочная стоимость всех домов составляла лишь около десяти с половиной тысяч рублей серебром.[15] В связи с финансовыми затруднениями Жеваховы отдавали свои дома в залог по казенным подрядам. В итоге один из подрядчиков, которому они на определенных условиях доверили свое имущество, оказался неисправным. В счет погашения его долга – 58.196 рублей 72 копейки – недвижимость покойного Жевахова подлежала продаже с публичного торга. С 1847 года вся она описана, начинается затяжная история продажи.

Отсутствие в распоряжении Комитета владельческих документов может свидетельствовать о том, что княгиня ушла из жизни ранее первой декады октября 1847-го. По этой причине были подняты старые комитетские документы, а городской архитектор Иван Козлов провел ревизию недвижимости в натуре. 6 ноября он доложил в ОСК о том, что прежние 12 лавок во втором отделении и дом представляют, по сути, единое, не разделенное строение. В этом нет ничего удивительного, поскольку в 1830-е годы большинство лавок на всех базарных площадях и по Александровскому проспекту в значительной мере утратили свой первоначальный облик. Прежде всего, с разрешения Комитета были закрыты многие портики, и колонны превратились в пилястры или вообще камуфлировались. Кроме того, некоторые лавки надстраивались либо объединялись.

Таким образом, все строения во втором отделении в тот момент представляли собой два комплекса (семь лавок, объединенных в большой доходный дом на углу Княжеской, и пять лавок посередине второго отделения) протяженностью 48 саженей по площади Нового базара (по ул. Конной) и 27 саженей и 2 аршина по Княжеской улице. Со стороны переулка дом граничил с двором упоминавшегося купца Великанова (ныне дом № 28 по Княжеской). Это означает, что он захватил или приобрел часть участка Жеваховых: по документам Комитета длина по Княжеской улице должна составлять 30 саженей, то есть недостает двух саженей и одного аршина. Дом и участок, когда-то приобретенные Жеваховым у капитана Герандлия, имели габариты 4 на 18 сажен (ныне – место дома на углу Коблевской четной и Конной четной).

В 1849 году семь бывших лавок Жевахова из 12-ти, начиная от угла Княжеской, на старте оценили в 10.200 рублей серебром, остальные пять, сохранивших более архаичный облик, в 3.120 рублей, а одиночное строение в третьем отделении – в 2.400 рублей. Торги состоялись летом, причем за первый лот покупатели максимально предлагали 11.110 рублей, за второй – 9.101, за третий – 6.301. Мало того, уже после аукциона поступило предложение прибавить еще 1.000 рублей за первый лот. То есть наблюдается серьезный, как нынче говорят, «подъем». Однако опытные комитетские специалисты и оценщики рассудили, что куда выгоднее распродавать места не блоками, а поодиночке. Летом 1850 года они предположили перепланировать эту территорию – так, чтобы устроить общий проезд к лавкам со стороны Княжеской улицы, то есть как бы восстановить застроенную часть Новобазарного переулка. Тогда же Великанов предложил за первый лот уже 13.000 рублей серебром, однако и это показалось Комитету невыгодным.[16]

Несколько засидевшись на сене, чиновники с конца 1852 года стали сдавать эти строения и хутор в аренду. В декабре в «Одесском вестнике» была опубликована серия объявлений: «Вызываются желающие нанять четыре дома умершего князя Жевахова: 1-й – в 3-й части, на площади Нового базара и Коблевской ул., 2-й и 3-й – на площади и Княжеской ул., имеющие погреба, лавки и жилые квартиры, а 4-й – за чертою порто-франко...»[17] – и лишь позднее они были проданы. Угловой дом Великанову так и не достался, им завладел купец Бортникер, правда, на долю первого (фактически его супруги) пришлась большая часть лавок, примыкающих со стороны Конной. Оставшуюся часть квартала со стороны Коблевской занимал дом Поповича. Все эти три здания сформированы из прежних капитально и в разной степени перестроенных лавок. Наибольшей деформации подверглась середина квартала (дом Великановых), это практически новое здание. Возможно, сохранились лишь первичные подвалы и нижняя часть первого этажа. Наименьшей – дом Поповича, сохранивший архаичную планировку угловой части и галереи со стороны двора.

В настоящее время квартал и составляют три перечисленных строения, причем все они значатся под № 22 по Конной улице.

Тот же номер носит и первый дом на следующем квартале, за Коблевской, а следом за ним сразу идет дом № 30 (до революции никаких вывихов в нумерации здесь не наблюдалось). Есть основания говорить о том, что бывший большой дом Жеваховых со стороны Княжеской (носит № 30 по этой улице) все же частично сохранился в изрядно перестроенном виде. Об этом свидетельствуют многие обстоятельства: мощные сводчатые подвалы, форма окон первого этажа, характерная для фасадов лавок, в которых закладывали портики, галереи со стороны двора и др. Судя по всему, дом немного расширен в направлении Княжеской – до новой красной линии (эта достройка просматривается, если взглянуть на фасад со стороны Конной), и надстроен. Бывший дом Великанова по ул. Княжеской, № 28, правее ворот лежит в створе застроенного квартала Новобазарного переулка.

Княжеская улица

Первичная ее застройка фактически разворачивается лишь после описанного выше отвода мест в пяти отделениях Нового рынка. Изначально улица не предусматривалась: ни генеральным планом 1802-1803 гг., ни даже планом города 1807-го, и фиксируется только генпланом 1814-го, когда застройщики Херсонской площади и прилегающих кварталов стали получать владельческие документы – так называемые *открытые листы*. Ранее кварталы на планах меж будущими Коблевской и Херсонской улицами еще не разделены.

Улица включает кварталы XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, LIX, LXXVII и маленький треугольный безымянный квартал (начало четной стороны) Греческого форштата, далее – 3-й части города. Улица ведет к сохранившимся до сих пор в незначительно перестроенном виде торговым лавкам военного инженера *Е.Х. Ферстера*, возведенным еще до официального устройства Нового базара по будущей Торговой (Базарной) улице близ Садовой (часть корпусов медицинского училища, ранее – Ришельевской гимназии), но числится по Садовой, № 1. Пионерами, в частности, были *мастера еврейского портняжного цеха*, получившие 14 декабря 1811

года под застройку значительную часть XXX квартала, заключенного меж улицами Княжеской, Ольгиевской, Коблевской и Рождественской. Мотивация: «Одесского портняжного цеха из евреев мастеров» своих домов не имеют «и, нанимая таковые, платят хозяевам оных несоразмерные пожилые деньги, отчего их ремесленное упражнение не составляет пристойного состояния».[18]

Учителю коммерческой гимназии, чиновнику 10-го класса *Фаберу Шабану* (Жак Фабер Шабан, или Шабаннер; тут много разночтений: он фигурирует и как Антоний Петрович Шабер; в 1809-1811 – переводчик Черноморского департамента, 1811-1815 – преподаватель французского языка в младших классах Благородного института, коллежский секретарь) 24 марта 1813 года выданы документы на плановые постройки: Греческий форштат, XXXIII квартал, места № 386 и 387.[19] Это третье и четвертое места из шести по нечетной стороне Княжеской, вверх от Рождественской, которые он получил 3 августа 1811 года. Возможно, одна из этих построек сохранилась в перестроенном архитектором К.В. Кошелевым (?) виде (отдельный флигель № 11, датировка которого явно не выходит за пределы первых десятилетий XIX века). В тылах этих участков 29 июля 1812 года построился солидный одесский купец *Людовик* (*Людвиг*) *Филиберт* (*Филибер*). Места он получил 11 сентября 1811 года, но владельческие документы выданы с запозданием, лишь 24 марта 1813-го, после ликвидации чумной эпидемии.[20]

Место на углу Княжеской (нечетной) и Ольгиевской (нечетной) по этой причине не сумели застроить, и 22 сентября 1813-го его взял и застроил известный тогда строительный подрядчик, одесский 3-й гильдии купец *Илья Орлов*. Ныне здесь, на углу Княжеской (№ 19) и Ольгиевской (№ 15), – доходный дом, построенный в 1890-е годы, однако соответствующая охранная табличка по недоразумению установлена на примыкающем со стороны Ольгиевской одноэтажном архаичном строении. Вероятно, это первичное строение, на которое Орлов получил владельческие документы 13 июля 1814 года.[21] Затем, не позже конца 1820-х, оно было достроено до угла Княжеской, далее перестраивалось другими владельцами, а в начале 1890-х угловую часть заменили новым зданием.

Однако до обустройства Жеваховым второго отделения базарных лавок строения здесь были единичны и незначительны. В 1814 году намечающаяся улица включает лишь два десятка крохотных домиков, в том числе – недостроенных. С началом активного функционирования этой части базара в ее орбиту попадают все более солидные строения, включая недвижимость упомянутого Великанова и других состоятельных коммерсантов. Особую роль второе отделение обретает с устройством князем Жеваховым подворья для «чистой публики». В 1820-х уже отчетливо сформировавшаяся улица привлекает все большее число представителей элиты, в том числе коммерческой. На плане города, составленном архитектором Джорджо Торичелли в 1827-1828 годах, улица основательно преобразилась. Кварталы застроены плотнее, да и габариты строений куда более значительны, в особенности в примыкающих ко второму отделению XXXI и XXXII кварталах. Отдельные сооружения сохранились до сих пор, например по ул. Княжеской, № 29, уже упоминавшийся № 28 и др.

Здесь строятся или приобретают дома и участки авторитетные купцы Ростовцев, Сикар, Джуранович, Капитанаки, Вальтух, Шполянский, Гехт, почетный гражданин Соловьев, действительный статский советник Дегуров, князь Аргутинский-Долгоруков, княжна Абамелик и др. Представители трех известных княжеских фамилий на недлинной, второстепенной, казалось бы, улочке! И впрямь *Княжеская*… Однако этимология все же обусловлена популярным заезжим двором и целым кварталом князя Жевахова, поскольку название бытовало еще задолго до того, как здесь обосновались две другие княжеские фамилии. Не исключено, их как раз и привлекло это название. Наверняка они как успешные сельские хозяева, крупные землевладельцы, поставлявшие в Одессу свою продукцию, квартировали у Жевахова.

В первой половине 1850-х улица сузилась, поскольку домовладельцам сделали прибавки земли – как по четной, так и по нечетной стороне. На планах первой половины XIX столетия фиксируются все дома по прежней красной линии, а потому она может служить хронологическим репером, то есть построенные позднее здания лежат уже на современной красной линии, за исключением достроенных. Ретроспективная красная линия ныне марки-

На снимке отчетливо прослеживается прежняя красная линия, на которой находятся архаичные постройки по Княжеской улице

руется архаичными постройками: домами № 38, 36 (эти два дома находятся в пределах первичных дворовых мест 1-го отделения Нового базара), 29, 28, 25, 24 (последний – одноэтажный в три окна и двухэтажный в семь окон по фасаду) и № 11, старинный высокий одноэтажный флигель на цоколе. Сужение в 3-й части нескольких переулков и улиц, даже такой, как Садовая, объясняется многими причинами: не только нарастающим дефицитом мест в центре, но и, как ни парадоксально, стремлением ОСК сократить расходы по мощению и обслуживанию проезжей части.

Дом Сабанеева

В числе одесских знакомых Пушкина – знаменитый боевой генерал от инфантерии *Иван Васильевич Сабанеев* (1770-1829); погребен в Одессе.[22] Тот самый, что в качестве маскарадного костюма использовал собственный мундир, но при одних только иностранных орденах. Карнавал был в резиденции Воронцова,

и здорово насмешившая Пушкина выходка бравого вояки пришлась не по вкусу присутствующим зарубежным дипломатам. Кто-то наябедничал монарху, и генералу поставили на вид.

М.П. Алексеев пишет, что генерал жил в Одессе с 1816 года.[23] Сабанеев крайне яркая, любопытная фигура – человек независимый, гуманный, широко образованный, отважный, рисковый и даже несколько авантюрный. Чего стоит, например, скандальный эпизод его биографии, связанный с женитьбой на Пульхерии Яковлевне Шиповской, урожденной Борецкой, дочери священника из Бендер. Она 12 лет состояла в браке с лекарем корпусного госпиталя Шиповским, и генерал отнял ее у мужа вместе с детьми, а лекаря отправил в какой-то дальний госпиталь, причем брак этот официально не был расторгнут. Возможно, Сабанеев как-то договорился с Шиповским, и тот не стал подавать жалобы. Так или иначе, новое венчание состоялось, так сказать, без отмены предыдущего, это сошло генералу с рук. По свидетельству современников, Сабанеевы жили очень счастливо, непринужденно и даже весело. Сказывают, Пульхерия Яковлевна хохотала над шутками Пушкина, когда он посещал их гостеприимный дом. К слову, П.Я. Сабанеева – выдающаяся одесская благотворительница, принявшая активнейшее участие в устройстве приюта для нищих на Старом городском кладбище.

Да, так вот известно также, что до покупки второго своего дома по улице Надежной (почему и прилежащий мост назван Сабанеевым), ранее, в пушкинское время, Сабанеевы владели другим, местоположение которого совершенно не локализуется. В.А. Чарнецкий пишет: дом на углу улиц Гоголя и Некрасова куплен Пульхерией Сабанеевой в 1828 году, а ранее они жили в 3-й части, в доме Комова.[24] Откуда почерпнута информация о недвижимости Комова, сказать трудно. Мне известен лишь один одесский Комов того времени – Александр Филиппович, чиновник 9 класса и кавалер ордена Св. Анны III степени, состоявший по особым поручениям в канцелярии А.И. Казначеева и занимавшийся продовольственными вопросами.[25]

Как мы сейчас увидим, в 1823-1824 годах Сабанеевы обитали в собственном доме. Я предположил было, что Сабанеев купил дом у Комова, который занимался снабжением армии, но это

не так. Вполне возможно, он арендовал этот дом до покупки собственного. В синхронных оценочных ведомостях этих лет параллельно присутствуют как дома комиссионера 9 класса Комова, так и дом Сабанеева. При этом первые оценены соответственно в 28.000 и 40.000 и дают более чем приличный доход.[26] Дом же Сабанеева – один из неопознанных до сих пор пушкинских адресов в Одессе. Занимаясь этим вопросом в течение многих лет, я уже значительно продвинулся в его решении.

Портрет И.В. Сабанеева. 1826-1827 гг.
Джордж Доу и мастерская.
Собрание Государственного Эрмитажа,
Санкт-Петербург

Так, мне удалось надежно установить тот факт, что хорошо известный одесским библиофилам книгопродавец *Николай Клочков* ранее января 1830 года купил интересующий нас дом Сабанеева «вблизи Лютеранской церкви», в котором открыл частную библиотеку для чтения, одну из старейших в городе. Похоже, Клочков познакомился с Иваном Васильевичем на почве библиофильства: библиотека Сабанеева считалась одной из лучших не только в Одессе, но и во всем регионе.

Считаю необходимым подкрепить сказанное двумя объявлениями, помещенными в «Одесском вестнике»:

«В Российской библиотеке чтения, близ Лютеранской церкви, в бывшем доме генерала Сабанеева, на сих днях получены лучшие американские табаки разных сортов, и продаются по самым выгодным ценам; буде же кому угодно взять из оных 10 картузов, то еще будет сделана значительная уступка».[27]

«В городе Одессе на Ришельевской улице в доме Мясникова открыт мною российский книжный магазин, куда и переведена Библиотека чтения, бывшая близ Лютеранской церкви в собственном моем доме (…) Одесский 1-й гильдии купец Н. Клочков».[28]

В пушкинское время дом Сабанеева имел оценку 18.000 рублей, доходу не приносил,[29] то есть его занимал сам генерал с семейством и обслуживающим персоналом. Явно приличный дом, а для данного района – один из лучших. Остается чуть более точно локализовать местоположение дома и флигеля Клочкова (книгопродавец ушел из жизни в 1848-м или несколько ранее), но уже сейчас можно сказать наверняка, что находился он напротив кирхи, по улице Дворянской, в квартале меж улицами Новосельского и Нежинской. Не исключено, на углу Новосельского и Дворянской. Местоположение по Дворянской подтверждается и сообщением А.М. де Рибаса: «Продавались в Одессе и русские книги, у Клочкова на бывшей Дворянской улице и в лавке Ширяева».[30] Здесь важно вот еще что: выходит, Пушкин бывал в Верхней немецкой колонии, волей-неволей наблюдал ход строительства старой кирхи, быт ремесленников: кузнецов, каретников и проч.

* * *

Когда настоящая монография находилась на стадии верстки, историк-генеалог А.Ю. Краснолуцкий (Санкт-Петербург) прислал следующую информацию, почерпнутую из «Сенатских объявлений о запрещениях на имения»: «1 февраля 1827 года. 1-го, 1-я. Купчая на проданный женою генерала от инфантерии Ивана Сабанеева Полихериею Яковлевою Сабанеевою причисляющемуся в одесское 1 гильдии купечество Николаю Алексееву Клочкову дом в Одессе, на Греческом форштате в XV квартале под № 165 и 166, со всем принадлежащим к нему строением и землею, мерою во двор 20, а в ширину по улице 28 сажен, ассигн. за 10 000 рублей». Это означает, что дом Сабанеева находился там, где я и предполагал, по улице Дворянской, в квартале меж Новосельского и Нежинской – территория, ныне застроенная домами по Дворянской, № 31 и № 33. При этом по фасаду было застроено лишь место дома № 31 (№ 166), а смежное включало лишь дворовые постройки. Почему Клочков заплатил сумму, значительно ниже недавней оценочной стоимости, сказать трудно: едва ли дом мог настолько обветшать за пару лет. Можно лишь предположить, что разницу составляло

Дворянская улица и старая кирха. Слева частично виден первый этаж дома Сабанеева. Снимок начала 1890-х гг.

погашение долга Сабанеева Клочкову. Впрочем, в оценочной ведомости на 1848 год «дом и флигель умершего купца Клочкова» по Дворянской оценен довольно скромно, в 1.260 рублей серебром.[31] Занимательно, что этот старый дом Клочкова, бывший Сабанеева, вскоре перешел в собственность действительного статского советника Александра Григорьевича Тройницкого (1807-1871) и был им либо капитально перестроен, либо и вовсе заменен новой постройкой. В ведомости на 1855 год оная недвижимость оценена уже в 14.000 рублей серебром.[32]

На плане 3-й части города Одессы, составленном в конце 1820-х годов, можно во всех деталях увидеть, как именно были застроены и освоены оба участка, незадолго до того принадлежавшие Сабанеевым. Скажем, главный жилой корпус на месте № 166, стоявший торцом к Дворянской, проем для въездных ворот и флигель квадратной формы за ним по фасаду, дворовые флигеля и службы. Большую часть места № 165 занимал благоустроенный садик.[33]

А.Ю. Краснолуцкий также сообщил и сведения, касающиеся покупки Сабанеевой недвижимости по нынешней улице Гоголя, № 10. «14 марта 1828 года [совершена купчая] 14-я, 14-го. Надворною советницею Катериною Андреевою Ольховскою супруге генерала от инфантерии и кавалера Ивана Васильева Сабанеева Пульхерии Яковлевой Сабанеевой дом в Одессе в 1-й части по старому плану в LXVII квартале под № 730, а по новому в IV квартале под № 1, со всем принадлежащим к нему строением и местом, мерою в длину 30, а в ширину 25 саж., ассигн. за 30 000 рублей». О Екатерине Андреевне Ольховской, дочери первого городского головы Железцова, супруге члена Одесского коммерческого суда, я уже упоминал. Что касается многослойной истории застройки места № 730, то она прослеживается по ряду архивных документов и связана с Эмилией Потоцкой, генерал-майоршей Варварой Тутольминой,[34] генерал-майором Иваном Бузиным,[35] его дочерью полковницей Глафирой Денисовой и коллежским асессором Федором Глушковым.[36]

Продолжение следует

Примечания

[1] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 65, л. 203-210.

[2] Там же, д. 96, л. 551-554; В издании 2010 года «Грузини в Одесі: історія та сучасність» (ВМВ, с. 18) ошибочно указано, будто князь связан с нашим городом лишь с 1816-1817 годов.

[3] Ведомость к литографированному плану одесской городской земли, разделенной на 6-ть частей, с показанием по номерам, кому именно каждый участок принадлежит, количества десятин в нем заключающегося и сколько за оный должно взносить городских повинностей. Сочинено по 31 декабря 1834 года.

[4] ГАОО, д. 65, л. 203.

[5] Там же, л. 204.

[6] Там же, л. 205-210.

[7] Там же, д. 96, л. 551-554.

[8] Там же, д. 165, л. 438-439.

[9] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 284, л. 41.

[10] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 287, л. 571.

[11] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 265, л. 370.

[12] Там же, ф. 4, оп. 1А, д. 133, л. 24; Там же, д. 215, 3-я часть, № 128, 133.

[13] Там же, оп. 8, д. 914. – 120 л.

[14] Одесский вестник. – 1842, 19, 26 сентября, 3 октября, № 75, 77, 79.

[15] Список домам и прочим строениям, состоящим в I-IV частях города Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке. – Б. м., б. г., с. 34, 35.

[16] ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 1086. – 35 л.

[17] Одесский вестник. – 1852, № 99.

[18] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 65, л. 104-107.

[19] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 265, л. 98.

[20] Там же, л. 96.

[21] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 663, л. 113.

[22] Л.А. Черейский. Пушкин и его окружение. – Ленинград: Наука, 1989, с. 383; Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 25, 26, 220, 221, 262, 274, 294, 314, 315, 386.

[23] Пушкин. Статьи и материалы. Вып. III. – Одесса, 1926, с. 81.

[24] В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье. – Одесса: Друк, 2001, с. 87-88.

[25] Месяцеслов на 1825 год. – Ч. 2, с. 195.

[26] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 133, 3-я часть, № 49; Там же, д. 215, 3-я и 4-я части, № 9 и № 144.

[27] Одесский вестник. – 1830, 15 февраля, № 14.

[28] Там же, 18 июня, № 49; Там же, 25 июня, № 51.

[29] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 133, л. 3 об.; Там же, д. 215, 3-я часть, № 54.

[30] Александр Дерибас. Старая Одесса: забытые страницы. – Киев: Мистецтво, 2004, с. 135.

[31] Список домам и прочим строениям, состоящим в 1-4 частях города Одессы, оцененных для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оплате. – Б. м., б. г., с. 32.

[32] Список домам и прочим строениям, состоящим в третьей части города Одессы, оцененных для платежа полупроцентного сбора с 1855 года, подлежащим и не подлежащим оплате. – Б. м., б. г., № 94.

[33] ОГИКМ, инвентарный № К-620.

[34] ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 13, л. 213-215.

[35] Там же, оп. 1, д. 17, л. 145-146.

[36] Там же, д. 114, л. 257-263.

Андрей Добролюбский

«Я попал в какой-то другой мир…»

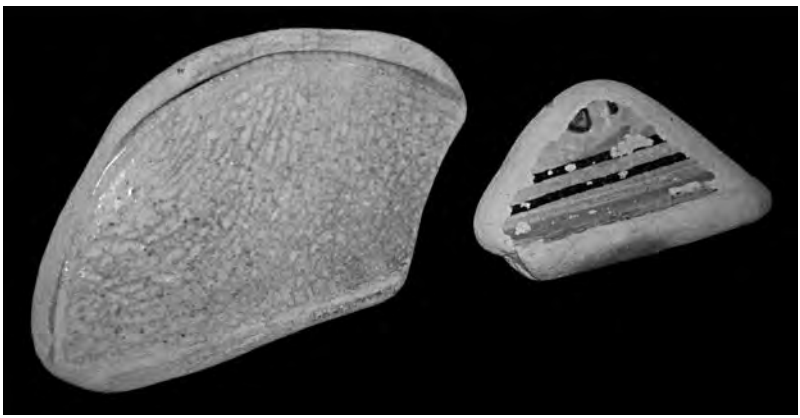
«…Мы себе можем воображать, что тут хан имел в виду».
Проф. Ф.К. Брун

Следы Хаджибеевой тьмы. Археологические поиски последних лет дали возможность упорядочить все имеющиеся скромные остатки и свидетельства былого материального существования на месте Одессы приморского поселка и якорной стоянки каталонцев и генуэзцев. Эта стоянка в 1306 году была названа Джинестрой одним из предводителей каталонской Великой компании Востока Бернаром де Рокафортом.

Занимающие нас здесь фрагменты керамики в большинстве своем датируются первой половиной XIV века. Они рассеяны по всему одесскому побережью от Куяльницкого и Хаджибейского до Сухого лиманов и даже, по всей видимости, куда шире. Столь обширный ареал вряд ли позволяет указать на конкретное местонахождение самой Джинестры, которая, скорее всего, представляла собой лишь небольшое укрепление, огражденное рвом, а также земляным валом с деревянным частоколом, – таковой была обычная колонизационная практика латинян в Северном Причерноморье. Имелась и каменная башня маяка. Так поступали генуэзцы в Каффе, Солдайе, Чембало и т. п. И едва ли нашу якорную стоянку когда-либо удастся найти археологически – за последние столетия одесское морское побережье отступило не менее чем на несколько сотен метров, и ее остатки просто утонули. Поэтому многие здешние обломки керамики часто обкатаны в море.

Но определяются они порой достаточно отчетливо. Это в большинстве фрагменты красноглиняных мисок, тарелок и кувшинов с желтой, зеленой, бирюзовой и коричневой поливой, часто на ангобной (фр.: *engobe* – покрытие из жидкой глины) подгрунтовке. Встречены и остатки так называемой кашинной керамики (из смеси песка с известью). Имеются также обломки дорогой светло-серо-зеленой так называемой селадоновой, или псевдоселадоновой, посуды второй половины XIV в., а также осколки расписных глазурованных (так называемых *люстровых*) сосудов иранского производства того же времени.

Керамика Хаджибеевой тьмы



Селадоновая керамика

Матей Стрыйковский

Сходные изделия известны на многих памятниках в Причерноморье и уверенно относятся к «золотой эре» Великого Улуса, или Золотой Орды, – к временам правления ханов Узбека, Джанибека и Бердибека, вплоть до первого чумного мора 1346-49 г. и «Великой замятни» (с 1359 г.), сопровождавшейся второй чумной пандемией (1360-е гг.). Найдены также фрагменты так называемой красно-желто-ленточной керамики, которые археологи именуют сельской. Она датируется 1360-80-ми гг. и указывает на начало смутных времен в Золотой Орде, или Улусе Джучи. Ее можно назвать посудой бедности, или нищеты, тогда как керамика «золотой эры» является, несомненно, посудой достатка или определенного благополучия. Как, впрочем, и селадоновая, и люстровая посуда, которую, пожалуй, можно даже считать роскошной.

Единственным внятным объяснением нахождению здесь этих обломков может быть то, что они оставлены обширным золотоордынским кочевьем, или стойбищем. Оно располагалось именно здесь, близ Джинестры, на протяжении всей упомянутой ордынской «золотой эры» и, видимо, позднее.

Пребывание здесь этого стойбища удостоверяет также найденный близ Сухого лимана, в пос. Совиньон небольшой могильник, костяки из которого были подвергнуты радиоуглеродному анализу (широкий диапазон дат – 1280-1430 гг., узкий – 1345-1370 гг.) и антропологическому обследованию. Оно показало, что изученные усопшие были довольно молоды, и их черепа характеризуются большими размерами мозговой коробки, широким и несколько уплощенным лицом, что указывает на большую долю монголоидных признаков.

Таким образом, археологические свидетельства существования на территории нынешней Одессы крупного кочевого стойбища в золотоордынское время и, очевидно, позднее, кажутся скромными, но бесспорными. Но куда более скудны исторические сведения – принято считать, что где-то в этом районе были кочевья орды*, тумена, или тьмы, «князя» Хаджибея (Качибея), «от имени которого названо Качибейским соленое озеро в Диких полях по дороге как идти в Очаков». Так писал польский историк Матей Стрыйковский, в «Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi», изданной в 1582 г. От этого озера и «является названным порт Качибей», как полагал другой польский историк, Станислав Сарницкий, в «Descriptio veteris et novae Poloniae» (1585 г.). Если судить по этим сообщениям, то именно сюда Хаджибей вместе с остатками своей тьмы отступил после поражения в битве с литовским князем Ольгердом у Синих Вод в 1362 г. Впрочем, эти свидетельства оставлены не современниками и очевидцами, а донесены до нас историками, более чем через два столетия после Синеводского сражения. Очевидным в них является лишь сам топонимический факт существования Хаджибейского лимана. А самого кочевого стойбища никто не видел. Надо искать свидетелей и очевидцев.

Хроника Стрыйковского

* «Ордой» назывались ставка и постоянное войско хана. Так же именовались ставки и войска эмиров, темников, тарханов и пр. Слово «орда» равнозначно «улусу», «населению», «народу». Это же – кочевье, тумен, тьма, территория улуса, что обычно выражалось тюркским термином «юрт».

Хан Менгли-Гирей

Великий князь Сигизмуд Старый

Очевидцы и их толкователи. В начале июля 1507 г. Крымский хан Менгли I Гирей выдал великому князю Литовскому Сигизмунду I Старому ярлык (ханская льготная грамота. – **А. Д.**), который содержит перечень населенных пунктов, земель и вод, на управление которыми хан жалует свое соизволение. В их числе указан и некий «*городок Ябу*», который нигде более не упоминается.

В 1870-е гг. профессор Новороссийского университета Ф.К. Брун в статье «Судьбы местности, занимаемой Одессой» попытался выяснить, что все же «тут хан имел в виду». Он рассудил, что «присутствие в ярлыке Ябу городка… сразу после Хачибеева Маяка «с водами и с землями» и перед Балыклы, Дашевым (Очаков. – **А. Д.**) и др., как раз и позволяет искать его между Днестром и Южным Бугом». И решил, что «хан имел в виду» обычное татарское стойбище.

Он же отыскал тому «свидетеля». Им оказался «фландрийский рыцарь и посланник Гилльбер де Ланнуа, кавалер ордена Золотого руна», который в 1421 г. по пути из Монкастро в Крым «переправился через реку Днестр и реку Днепр, возле которой нашел татарского князя, друга и слугу герцога Витольда (Витовт – великий князь

Литовский. – **А. Д.**), равно как и большое татарское селение, принадлежащее сказанному Витольду: мужчин, женщин и детей: они не имели домов, жили на голой земле. Сказанный князь по имени Жамбо, – пишет де Ланнуа, – дал мне много осетров… и хорошо меня кормил. Потом его татары по его повелению переправили меня с моими людьми и повозками чудесным образом через реку, которая имела милю в ширину, на маленьких челнках из одного куска дерева».

Профессор Филипп Карлович Брун

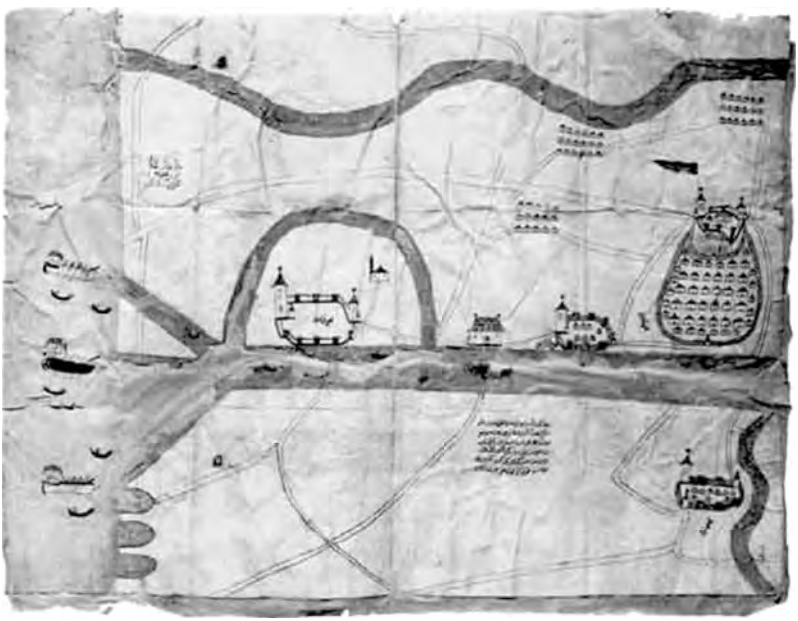
Комментируя это описание, Ф.К. Брун предположил, что «вышеупомянутое слово *Жамбо*, вероятно, не означало собственного имени хана, но только начальника Джамболукской орды, которая впоследствии кочевала в наших степях, что могло случиться и во время нашего путешественника». А поскольку термин «Ябу» созвучен слову «Жамбо (Ямбо)», и «…мы себе можем воображать, что тут хан имел в виду: становище Ямболукской, или Джамболукской орды; сторожевую башню Балыклы, соответствующую… замку Балуклея при устье Чичаклея в Буг и Черный город Дашов (Очаков. – **А. Д.**)».

Позднее, в 1920-е гг., одесский историк Ф.Е. Петрунь вслед за Ф.К. Бруном назвал ябу-городок «становищем» Джамболукской орды и указал и другие возможные ее опорные пункты. В их числе Торговицу на Синих водах.

Рыцарь Гилльбер де Ланнуа стал, таким образом, первым очевидцем «живого» ябу-городка. Другим же свидетелем оказался некий турецкий разведчик, «проводник, мореец» по имени «Кулакути Муралий Ильяс». За несколько лет до того, как хан Менгли-Гирей выдал свой упомянутый ярлык с «городком ябу» королю Сигизмунду, этот мореец пытался получить аудиенцию у султана

Баязида. Он собирался предложить султану взорвать днепровские пороги, с тем чтобы турецкий флот мог атаковать Киев по Днепру. И был весьма самонадеян: «…Если мой султан повелит, – писал он, – то камни, которые [находятся] в этой реке (сотворены же они во времена Нимруда), я, смиренный слуга ваш, раздвину так, чтобы ваши корабли дошли вплоть до королевской столицы и ни у кого [даже] кровь бы из носа не потекла…». И «…пусть этот смиренный слуга… будет представлен царскому трону».

Разумеется, готовясь к предстоящему представлению, «этот смиренный слуга» Ильяс подготовил соответствующую карту, которая сохранилась в библиотеке стамбульского дворца Топкапы. В 1969 г. ее издал польский историк Зигмунд Абрагамович в статье «Старая турецкая карта Украины с планом взрыва днепровских порогов и атаки турецкого флота на Киев». На карте изображены река Днепр между Очаковом и Киевом, а также учас-



Турецкая карта морейца Ильяса

ток черноморского побережья между Днепром и Днестром. Близ этого побережья размещены Новая крепость (Очаков), а также некий *городок Ябу*, надписанный *Ḳal'e-yi Yabu*, который и занимает нас в этом сюжете.

В этом изображении нетрудно увидеть обычное кочевое стойбище, или «татарское селение», – два параллельных ряда шатров, юрт или палаток, расположенных на голой земле, каковым его ранее, в 1421 г., и посетил Гилльбер де Ланнуа. Тогда оно находилось близ переправы через Днепровско-Бугский лиман. И поскольку Ильяс счел необходимым его отметить на военной карте, это «татарское селение» в его глазах, наверное, имело некое стратегическое значение.

Карта составлена Ильясом примерно в 1495-1506 гг., то есть почти тогда же, когда и ярлык Менгли-Гирея 1507 г. Фактически она – довольно грубый эскиз, без всякого масштаба. Но нетрудно видеть, что ябу-городок обозначен примерно на половине пути между Очаковом и Белгородом – как раз в районе «соленого озера в Диких полях», «названного Качибейским» – нынешнего Хаджибейского лимана, то есть фактически в районе нынешней Одессы. И, стало быть, непосредственно на месте ареала описанной выше керамики достатка и нищеты, который маркирует размещение здесь в XIV в. Хаджибеевой тьмы. Значит, именно сюда ябу-городок и переместился от той переправы через Днепровско-Бугский лиман близ Очакова, где его ранее, в 1421 г., застал Гилльбер де Ланнуа.

Судя по указанным на карте дорогам, это стойбище могло сезонно и перманентно перемещаться по «пути из-за Днестра морским берегом в Крым», или по «другой дороге из-за Днестра в Очаков: судя по изгибу, это известный Валашский шлях, по которому ходили в Украину буджакские татары»; а также по «длинному пути от берега Черного моря прямо в Киев». Чем оно, очевидно, и занималось. Получается, что ябу-городок является непосредственным преемником Хаджибейской тьмы.

Между тем путь «прямо в Киев» проходил мимо городища Торговицы на Синих Водах, которое Ф.Е. Петрунь в свое время назвал одним из претендентов на имя ябу-городка. Впоследствии его поддержал другой украинский историк, Ф.М. Шабульдо.

Последний, в отличие от своих предшественников, сумел выяснить, что ябу, или же йабгу, – это титул наместников из числа ближайших родственников правителей степных империй Центральной Азии. И поэтому рассудил, что городок с таким именитым и престижным титулом никак не мог быть каким-то заурядным поселком или стойбищем, а должен был соответствовать требованиям резиденции ханского наместника во владениях Золотой Орды к западу от Днепра. Таким требованиям в первой половине XIV в. в полной мере отвечала Торговица – или город Синяя Вода – на переправе через реку Синие Воды на ответвлении торгового пути, известного в XIV в. как via Tartarica, – участка Великого шелкового пути в Северном Причерноморье.

Былое величие Торговицы (или Синих Вод) в XV-XVII вв. сохранялось в виде красочных руин. Ими был весьма впечатлен в 1530-40-х гг. литовский посол в Крымское ханство Михалон Литвин: «так считается, – писал он, видимо, от избытка чувств, – что Илион (Ilium), или Троя (Troiam), некогда находились на киевской территории (territorio Kioviensi) в плодороднейших степях и живописнейших лесах. Здесь можно видеть памятники, от которых ныне сохранились развалины, подземелья, гроты, мраморные плиты и остатки мощных стен. Это давно покинутое, но весьма удобное место называется ныне Торговица (Torgovitza)».

Примерно в то же время, в 1547 г., крымский хан Сахиб I Гирей писал великому князю литовскому Сигизмунду II Августу, что «урочища… по Богу реце и по Синей Воде… знаки того же предъсе моего Саинъ Цара Езюбек Чаанъбекъ Цара (ханы Батый, Узбек и Джанибек. – **А. Д.**) кочовища были, якожъ они и до сихъ часов у тыхъ кишеняхъ есть поховани и теперь тыи кешени стоятъ». Здесь также сохранялись остатки «мечетей бусурманских» и мусульманских надгробий с надписями. Это место упоминается как город Синяя Вода на правом берегу реки Синяя Вода в «Книге большому чертежу» и отмечено на географических картах XVI-XVIII вв., и как Торговица с характерным знаком, обозначающим развалины на реке Синяя Вода (Sinawoda), или Синюха (Sinucha). Сегодня здесь расположено село Торговица, близ которого в последние десятилетия проводятся археологические раскопки. Эти раскопки однозначно подтверждают существование на этом

месте крупного золотоордынского города времен ханов Узбека и Джанибека со всеми полагающимися атрибутами, найденными археологически: бани, водопровод, могильник и т. п., и с развитым керамическим производством.

Если обобщенно и лишь в связи с потребностями нашего повествования попытаться обозреть керамический комплекс Торговицы, то легко увидеть, что в составе поливной посуды полностью преобладает красноглиняная керамика (94,4%). Вся она найдена лишь в виде обломков. В ее составе самой распространенной является керамика с зеленой поливой по ангобной подгрунтовке. Куда реже – без ангобной подгрунтовки. Еще реже, но встречаются, порой в единичных экземплярах, образцы посуды с: гравировкой по ангобу под прозрачной зеленой поливой; рельефным орнаментом под прозрачной зеленой, оливковой, двухцветной, желтой или коричневой поливой; полихромной подцветкой, с бирюзово-голубой поливой, с бесцветной поливой, с прозрачной и непрозрачной бирюзовой поливой, а также с синей (кобальтовой) поливой. Подобное же соотношение типов керамики характерно и для приморского ареала Хаджибеевой тьмы.

Все серебряные монеты, которые происходят из Торговицы, принадлежат к правлению ханов Токты (1290-1312 гг.), Узбека (1312-1342 гг.), Джанибека (1342-1357 гг.), Бердибека (1357-1359 гг.), Кульпы и Навруза (1359-1360 гг.). Более уверенно это городище может датироваться лишь медными монетами Джанибека, а значит, существовало лишь в 1340-1360 гг. В начале 1360-х гг. жизнедеятельность на Торговице совершенно прекращается – во всех раскопах фиксируются следы пожарища. Видимо, город сгорел практически полностью. Эта дата вполне согласуется со знаменитым сражением при Синих Водах осенью 1362 г. Именно тогда, как записано в «Повести о Подолье», «…князь великий Олгирд и, шедь в поле с литовьским воискомь, побиль татар на Синеи воде, трех братовь: князя Хачебея а Кутлубуга и Дмитрия. А тыи трии браты Татарьское земли, отчичи и дедичи Подольскои земли…».

Принято считать, что именно Торговица была столицей и одновременно ставкой князя Хаджибея. После битвы при Синих Водах он вынужден был покинуть этот город и отступить вместе

Плано Карпини

Папа Инокентий IV отправляет
своего посланника Иоанна де Плано Карпини
к Великому хану для установления
дипломатических отношений

с остатками своей тьмы на юг, к нынешнему одесскому побережью, к озеру, называемому по его имени Хаджибеевским. Очень вероятно, что с тех времен ордынцы начали называть также и башню маяка, имевшуюся в Джинестре, Хаджибеевым маяком. Под этим именем он и упомянут в ярлыке Менгли-Гирея.

Описанная керамика достатка Хаджибеевой тьмы в Одессе датируются точно так же, как и керамика Торговицы, – 1320-50-е гг. Это означает, что они существовали в одно и то же время. Такое обстоятельство легко объяснимо меридиональным кочеванием синеводской летней ставки ябу-наместника, которая постоянно передвигалась – на зиму ставка вместе со всей ордой перебиралась на юг, к Черному морю, а весной возвращалась в лесостепь, к Торговице. «Все они зимою спускаются к морю, а летом по берегу этих самых рек поднимаются вверх. Море же это есть Великое Море, из которого выходит рукав Св. Георгия, текущий в Константинополь», – писал в об этом в «Истории Монгалов» посланник папы Иннокентия IV францисканец Джованни дель Плано Карпини. «…Именно зимою они спускаются к югу в более теплые страны, летом поднимаются

на север, в более холодные. В местах, удобных для пастбища, но лишенных воды, они пасут стада зимою, когда там бывает снег, так как снег служит им вместо воды…» – как бы вторит ему десять лет спустя в своем «Послании» французскому королю Людовику IX Святому Вильгельм де Рубрук, отправленный им ко двору Великого хана, дабы уговорить его принять христианство.

Судьбы огузов и их «ябу». Как же получилось, что ставкой ханского наместника оказалась именно Торговица? Историкам известно, что ябу (ябгу, или йабгу (yabu, yabgu, реже yabghu – может переводиться как «первый», «проводник»)) – это была государственная должность в ранних тюркских государствах, примерно соответствующая наместнику. Титул ябу (yabu) традиционно давался второму по рангу члену правящего рода Ашинов в VI-VII вв. Впоследствии он перенимался и другими тюркскими народами. И в некоторых случаях ябу становился титулом верховного правителя, соответствующим хану или кагану. Так правители западнотюркских владений носили титул ябу-каган.

Ябу стал титулом верховного правителя и в государстве Огуз Ябу, созданном огузскими тюрками в середине VIII в. между Аральским и Каспийским морями. Оно просуществовало около 300 лет – до середины XI в. Арабский географ ал-Йакуби называл правителей огузов царями. В государстве Огуз власть правителя-ябу передавалась по наследству, хотя и проводились ритуальные выборы народного собрания. Наследники престола назывались иналами, а их воспитатели – атабеками. Заместитель ябу назывался кюль-эркином, а главнокомандующий войсками – сюбаши.

Это довольно мощное государство долго и успешно воевало с Хазарским каганатом. Так в 985 году огузы-ябу заключили с киевским князем Владимиром военный союз против хазар и поволжских булгар, участвовали в его походе на Хазарию и помогли обложить ее данью. За это впоследствии митрополит Илларион величал

Страна Oguz Yabgu

Владимира хазарским титулом *каган*. А самим огузам дружеские отношения с Киевом позднее весьма понадобились в борьбе с кипчаками.

Со временем из-за внутренних беспорядков немалая часть огузов – сельджуки – ушли в Малую Азию, где их правители стали называться султанами. Впоследствии они, как известно, создали обширное государство – Великую империю сельджуков, в состав которой входили Малая Азия, Иран, часть Закавказья и Центральной Азии.

Судьба другой, тоже немалой части огузов, правители которых, видимо, продолжали называться ябу, сложилась не столь счастливо – они вели постоянные войны с кипчаками из-за пастбищ и в результате были вытеснены своими врагами в Восточную Европу. Здесь они, теснимые кипчаками, отступили к южным пределам Киевского княжества. В летописях они получили названия торков, а их гонители и враги кипчаки – половцев. Последние заняли все причерноморские степи и к концу XI в. вытеснили огузов-ябу на север, в лесостепные районы – на земли своих давнишних союзников, Киевского княжества. Здесь в 1140-е гг. эти огузы-торки образовали племенной союз черных клобуков (черные шапки). Они стали вассалами киевских князей и несли пограничную службу на обширной территории по течению рек Днепра, Стугны и Роси. Видимо, именно так титул ябу проник на наши земли. В сущности, именно здесь, к югу от Киева, огузы-торки как бы воссоздавали на новой территории свою былую державу Огуз-Ябу. Они органично вписались в политическую жизнь Киевского княжества и участвовали едва ли не во всех междоусобных и внешних конфликтах.

Попеременными столицами – «ябу-городками» – черноклобуцкого союза могли быть либо Канев, либо Торческ (Торцкь, Торцьскъ), либо Ростовец. Это блуждание легко объяснимо сезонными либо ситуативными перемещениями ставки наместника-ябу. Поскольку половцы занимали южные районы степей, огузы, поименованные черными клобуками, были обречены на обитание лишь в лесостепных районах междуречья Днепра и Днестра, в частности, бассейне реки Рось. Тем самым они были лишены достоинств и преимуществ меридионального кочевания – воз-

можности откочевывать на юг, в причерноморские степи в зимнее время. А хорошие зимние пастбища в Восточной Европе – все на юге. И их занимали кипчаки-половцы.

Для огузов-торков, или «народа черных шапок», это было очень чувствительным. Естественно, они ненавидели кипчаков, которые изгнали их ранее из родных кочевий. Они более чем охотно участвовали во всех походах киевских князей в Дешт-и-Кипчак. Зачастую их действиями руководили какие-нибудь русские князья, которые сидели в Каневе, Торческе или владели Поросской областью. Так в 1191-1192 гг., для того чтобы пойти на половцев, черные клобуки приглашали Ростислава Рюриковича. Черные клобуки, видимо, считали таких князей своими ябу. А Торческ был ябу-городком. Последнее упоминание торков-огузов в летописи относится к 1235 г.

А в 1237 г. известный половецкий хан Котян, вождь племени дурут, которое тогда обитало в степях между Днепром и Днестром, был разбит монголами Батыя, в результате чего вынужден был покинуть свои степные причерноморские владения и вместе с 40 тыс. соплеменников бежал в Венгрию. Именно эти владения и вожделели заполучить черные клобуки для своих зимних перекочевок на юг. Но им это было не дано, поскольку уже в 1240 г. «…царевичи Бату с братьями, Кадан, Бури и Бучек, – по словам персидского энциклопедиста Рашид-ад-Дина, – направились походом в страну русских и народа черных шапок…» и «в 9 дней взяли большой город русских, которому имя Манкеркан (Киев. – **А. Д.**)». И все земли к югу от Киева между Днепром и Дунаем, включая причерноморские степи, оказались владениями монголов. Которые стали назначать «черным шапкам» наместника-ябу уже по своему усмотрению.

Впрочем, здесь оставалась также немалая часть кипчаков, которая, смешавшись с огузами-торками, тоже была покорена монголами. С тех времен, по мнению египетского энциклопедиста ал-Омари (1301-1349 гг.), все они стали именоваться татарами. Он писал, что «в древности это государство было страною кипчаков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними (с кипчаками). Так земля одержала победу над природными

и расовыми чертами татаров, и все они стали кипчаками – род у них был общим с ними, так как монголы переселились на земли кипчаков, вступали с ними в смешанные браки и оставались жить на их землях (кипчаков)».

Дальнейшие сведения об истории этих земель более чем туманны. Принято считать, что здесь образуется улус Куремсы (Курумиши, Куремши), который как наместник Батыя уже сам становился ябу и определял маршруты кочевий своих новых подданных – как огузов-торков, так и кипчаков-половцев. В 1258 г. Куремса был смещен Бурундаем. А затем эти территории отошли к Ногаю и находились в его подчинении вплоть до гибели этого темника после битвы при Куяльнике в 1300 г. Тогда же победитель Ногая, хан Токта, совершил несколько карательных походов в земли черных клобуков. Именно тогда ставка наместника-ябу перемещается из Канева или Торческа в Торговицу, которая находилась непосредственно на самой границе степи и лесостепи. Такое ее местонахождение было очень удобным – расстояние до черноморского побережья составляло 250-300 км, Это оптимальная дистанция сезонных меридиональных перекочевок.

Окончание следует

Олег Губарь

Руссовы: происхождение, причисление в городское гражданство, недвижимость

В монографии «История градостроительства Одессы и функции Одесского строительного комитета» мимоходом упоминал о первой недвижимости этого семейства в Одессе.[1] В архивных документах 1810-1840-х фамилия записывалась по-разному – Русо, Руссо, Руси, Роси, Росси, Русьевы, Руссьевы, Русевы, Руссовы, Росимовы, Русимовы, Расимовы и т. д. – и это серьезно осложняет генеалогический поиск. Расставив обнаруженную информацию в хронологической последовательности, получим довольно четкое представление о том, откуда Руссовы прибыли, что потеряли, что обрели, каковы были их повседневные занятия, заботы и даже отдельные намерения.

Сохранился любопытнейший архивный документ, в котором Руссовы рассказывают о себе сами, подчеркивая тем самым определенные и важные в данном контексте обстоятельства. Дело в том, что в конце 1810-х годов Одесский строительный комитет (ОСК) раздавал желающим участки под садоводство по правой стороне Малофонтанской дороги, в окрестностях проектируемого Городского ботанического сада. Руссовы тоже хотели получить там землю. 17 апреля 1819 года составлено и 22 апреля подано на рассмотрение градоначальника графа Ланжерона прошение от «македонской нации родных братьев Стояна и Петра Руссьевых». 17 лет назад они имели дома, немаловажные сады и прочее обзаведение в Яссах. Нашли покровительство австрийского правительства и, оставив все это имущество под турецким игом, получили австрийские паспорта, с которыми прибыли в Российскую империю. Нанимали у помещиков земли, завели немаловажное хлебопашество, скотоводство и отару овец, которые доныне

удерживают (надо полагать, в окрестностях Аккермана, но, возможно, не только). Решили записаться в российское подданство. В 1810 году вступили в одесское купечество. Близ Вольного базара купили три смежных места, на которых построили три немаловажных дома по новому плану, но не пользовались никакими другими участками городской земли. Нашли близ вновь заводимого Комитетом Казенного ботанического сада пустопорожнее место, желая завести виноградник и фруктовые сады, и украшающий город плановый дом построить. Однако прошение это не могло быть удовлетворено, поскольку запоздало. На этот момент раздача земли была уже прекращена.[2]

Это говорит о том, что, во-первых, братья сами подчеркивают свое отличие от греков, а во-вторых, что обитали они не в Македонии, а в Молдавском княжестве и, не исключено, там же родились. Кроме того, как будет понятно из дальнейшего хода событий, меж 1810-м и 1816 годами Руссовы собственной недвижимости не имели и выступали в роли арендаторов сельскохозяйственных угодий, причем настолько успешно, что сумели скопить некоторый капитал. А далее братья приобрели довольно перспективные места с первичными строениями по нынешней улице Успенской, № 54-58. Рассмотрим сюжет застройки, покупки и перестройки этой недвижимости более подробно.

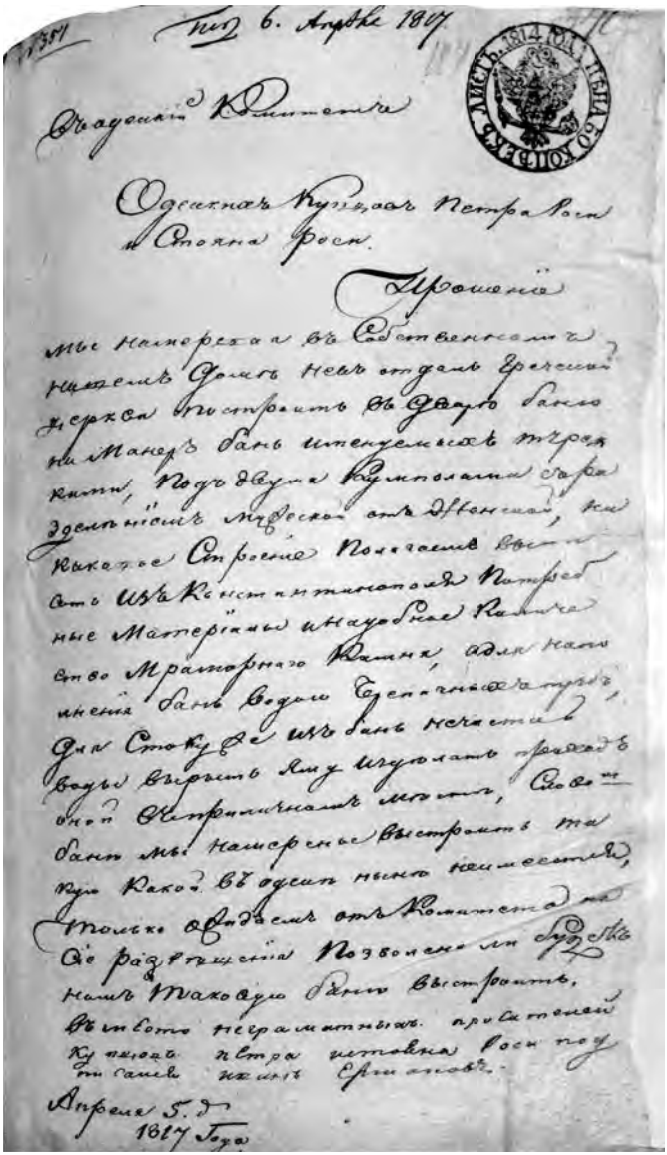
4 сентября 1803 года цесарский (австрийский) негоциант Иван Кочини (Кокини, Gio Cochini) получил владельческие документы на застроенные места в неразделенных кварталах XXXIV-XXXV Военного форштата, под № 307, 308 и 314, которые затем слились в единый под общим номером XXXIV. Ныне это территория домов со дворами № 54, 56 и половина примыкающего № 58. 9 июля 1806 года он сообщает в ОСК, что дом его обокрали, похитив и владельческие документы, просит выдать дубликат. Сверившись с соответствующими записями в своих журналах, Комитет удовлетворяет просьбу Кочини.[3]

Из высочайше утвержденного генплана Одессы 1803 года видно, что № 307 и 308 еще впусте, а № 314 и смежный к проспекту № 313 застроены по всем фасадам.[4] На плане города 1807 года фасад № 314 показан в виде двух флигелей с широким въездом во двор, а на смежном месте № 308 – еще и дворовой флигель.[5]

План 1814-го фиксирует следующую стадию достройки: удлинение примыкающего к фасаду флигеля на месте № 314 и появление выходящего торцом на фасад строения на месте № 307.[6] О дальнейшей эволюции застройки будет сказано ниже.

Из серии архивных документов 1817-1824 годов четко видно, что указанные места плюс смежное к проспекту, № 313 (ныне вторая половина дома № 58), с имевшимися на них строениями приобрели в 1816 году по купчей крепости в Херсонской палате гражданского суда одесские третьей гильдии купцы Петр и Стоян Роси (Руссьевы, Росимовы и т. п.). 5 апреля 1817-го братья подали в ОСК прошение, в коем высказывают намерение «в собственном нашем доме не в отдаль Греческой церкви построить в дворе баню на манер бань, именуемых турецкими, под двумя куполами, с разделением мужской от женской, на каковое строение полагаем выписать из Константинополя потребные материалы и надобное количество мраморного камня, а для наполнения бань водой – черепичных труб, для стоку же из бань нечистой воды вырыть яму и сделать проход оной в приличном месте, словом, баню мы намерены выстроить такую, какой в Одессе ныне не имеется, только ожидаем от Комитета на сие разрешения, позволено ли будет нам таковую баню выстроить. Вместо неграмотных просителей купцов Петра и Стояна Роси подписался Иван Ермаков. Апреля 5 дня 1817 года».[7] Вряд ли братья были неграмотными. Вероятно, просто не владели русским языком.

12 апреля 1817-го ОСК обратился в Городскую полицию – с тем чтобы она дала свое заключение по бане: «не будет ли чрез то нечистоты к улице, опасности пожара, безобразия улице и неблагопристойности».[8] 5 мая городовой полицмейстер Степан Достанич сообщил о препятствиях в осуществлении намерения устройства бани: 1) «для стока из бани нечистоты с дурным запахом нет приличного места, разве в общие по городу канавы», если же в особую яму, то и от таковой пойдет смрад, особенно в теплое время; 2) «в смежности сказанного места выстроены домы с значительных капиталов, да тут же вблизи состоят и гостиные ряды, то и сим настоит опасность от пожара».[9] Говоря короче, проект был закрыт. Подробности этого сюжета и об устройстве неподалеку точно такой же бани в 1818-м купцом Палеологом я уже сообщал.[10]



Прошение одесских купцов Петра и Стояна Роси о дозволении открыть баню. 5 апреля 1817 г.

В 1817-1818 годах Руссовы, занимаясь переделкой и удлинением прежних построек, столкнулись с тем, что соседи их «утеснили», то есть зашли за пределы своих мест и заняли их территорию. 25 июня 1818-го Городская полиция донесла в ОСК результат проверки: оказалось, общая длина четырех мест составляет лишь 40,5 саженей вместо положенных по плану 45-ти. Городской архитектор Александр Дигби разбирался с захватами в натуре. В итоге законные границы были определены, и 13 мая 1819 года одесские купцы Петр и Стоян Руссовы (Росимовы, Русимовы) получили соответствующие владельческие документы.[11] Из других архивных документов видны подробности уточнения границ мест, приведены конкретные цифры и прочее, включая очередные версии фамилии этого семейства.[12]

В свою очередь, сосед Стояна Руссова (Руссо), представитель известной в юной Одессе греческой фамилии Анастасий Ильев сын Деспотов, 22 апреля 1819 года подал в ОСК жалобу: мол, при уточнении границ мест от его двора отрезали одну сажень и один аршин в пользу Стояна.[13] Едва ли подобные претензии могут быть справедливы. По крайней мере мы не наблюдаем в более поздних архивных делах никаких последствий.

Ближе к концу 1824 года братья Руссовы (Русо) явно хотели получить официальное оценочное свидетельство на эту свою недвижимость – надо полагать, для отдачи под залог по каким-то подрядам, не обязательно собственным. По этой причине все четыре места и постройки были освидетельствованы штатным архитектором Джованни (Иваном) Фраполли. 4 декабря в журнале заседаний ОСК сделана запись, лаконично повторяющая историю обретения ими по купчей крепости у цесарского негоцианта Кокини таких-то мест, которые тот узаконил тогда-то. Фраполли обнаружил, что «на оных произведена постройка с давнего времени в виде лавок и в противность_архитектуры». Но так как Комитетом ранее дан открытый лист (владельческие документы), «то Комитет уже и не может переменить оного». Кроме того, к владельцам нет никаких имущественных претензий: ни казенных, ни частных.[14]

Что это означает? То, что братья Руссовы лишь достраивали и перестраивали прежние архаические дома и служебные помещения, явно одноэтажные. Сами наверняка обитали в дворовых флигелях, а все фасадные сооружения использовались под торговые лавки. Это было рационально, поскольку к тому располагала сама дислокация – меж Вольным рынком (Старым базаром) и Гостиными рядами на проспекте.

До какого времени эти выгодные места и старые строения находились в собственности братьев? Здесь хронологическим репером может служить объект культурного наследия – приметный двухэтажный дом по улице Успенской, № 58, угол Александровского проспекта. В реестре он значится как «дом с лавками (гимназия Иглицкого), 1830, архитектор Г.И. Торичелли». О мужской гимназии Иглицкого и наследовавшей ей средней школе № 92, ныне 68, – разговор особый и здесь неуместный. То, что здание возведено по проекту Торичелли, весьма вероятно, но дата явно ошибочна. Так, на плане города, составленном этим архитектором в 1828 году, мы видим еще прежнюю постройку, занимающую лишь часть места № 313, фасадом к проспекту.[15] Забегая вперед, скажу, что новое грандиозное здание, очевидно, возведено следующим владельцем, весьма состоятельным нежинским греком Александром Кумбари, известным своими крупными частными постройками, в частности, сохранившимся зданием по Екатерининской улице, № 29, Бунина (Полицейской), № 24 (1822 г.). Очень похоже, Руссовы были связаны с ним деловыми, а возможно, и родственными отношениями, так как в метрических записях он значится восприемником при крещении детей Руссовых. Строительство, как мы сейчас увидим, не могло начаться ранее теплого сезона 1832 года.

Во-первых, вся интересующая нас недвижимость «Русевых Петра и Стояна» значится в алфавите одесских домовладельцев на 1832 год,[16] то есть в перечне лиц, которые обязаны платить в городской бюджет определенный налог с недвижимости. Во-вторых, «одесские купцы Петр и Стоян Руссовы» упоминаются в публикации Одесского приказа общественного призрения от 30 января 1832 года, обращенной к лицам, сделавшим займы, коим надлежит в 14-дневный срок явиться для расчета

по процентам, а в противном случае «с ними поступят по закону».[17] Таким образом, они пребывали в стесненном материальном положении и не только не могли вложить солидный капитал в домостроительство, но, очевидно, были вынуждены продать эту свою недвижимость. Кроме того, масштабные работы Торичелли по обустройству Старого рынка и его окрестностей начались после 30 мая 1832 года, когда этим зодчим были подготовлены варианты проектов так называемых шоп – специальных торговых помещений, а ранее им и Боффо были составлены прикидочные сметы.[18]

К сожалению, мы пока не имеем точной даты совершения сделки меж Руссовыми и Кумбари. Однако по приведенным косвенным данным это событие не может датироваться позднее середины 1830-х. А далее данная недвижимость, уже капитально обновленная, числится за Кумбари при очень высокой оценочной стоимости: 29.386 рублей серебром,[19] 29.553 рубля 33 копейки серебром.[20]

Что касается непосредственно состава семьи братьев Петра и Стояна Руссовых, это чисто генеалогическая проблема, чрезвычайно осложненная многочисленными версиями огласовки и написания фамилии, да и имен (Стоян – Степан – Стефан и др.), что, например, вносит путаницу в ходе анализа метрических записей и прочих архивных документов. Например, в метрических книгах греческой Свято-Троицкой церкви, прихожанами которой были жившие по соседству первые Руссовы, имеется запись о рождении 2 января и крещении 6 января 1819 года младенца Ивана Росси, сына одесского купца Степана Росси и его жены Конки.[21] Неясно, о Стояне ли идет речь. Есть также и другие не вполне вразумительные записи: о смерти 30 июня 1824 года годовалого сына одесского купца Петра Стояновича Руси, родители не указаны; о кончине 27 января 1827 года 40-летнего нежинского грека Константина Степановича Русова; о бракосочетании 26 октября 1836 года Анны Стояновны Руссовой, дочери одесского мещанина Стояна Герасимовича Руссова (в то время отец вполне мог временно состоять уже не в купеческом, а в мещанском сословии).[22] Более поздние записи гораздо прозрачнее, поскольку, во-первых, меньше разночтений, а во-вторых, Руссовы в основном значатся

аккерманскими купцами, реже нежинскими греками.[23] В метрических книгах Покровской единоверческой церкви есть записи от 3-5 июля 1808 года о крещении, где восприемником значится иностранный купец Андрей Русов.[24] Имеет ли он отношение к интересующему нас семейству, непонятно. Так или иначе, воссоздание генеалогического древа во всей полноте – довольно затруднительное дело и требует дополнительных исторических источников.

Примечания

[1] Олег Губарь. История градостроительства Одессы и функции Одесского строительного комитета. – Одесса, 2015, с. 56, 332.

[2] Государственный архив Одесской области (ГАОО), ф. 59, оп. 1, д. 145, ч. 2, л. 426.

[3] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 17, л. 109-110.

[4] Одесский историко-краеведческий музей (ОГИКМ), инвентарные № К-600 и К-609; Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 846, оп. 16, д. 22276, л. 1.

[5] ОГИКМ, инвентарный № К-602.

[6] Plan de la Ville d'Odessa. – 1814.

[7] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 114, л. 184.

[8] Там же, л. 185.

[9] Там же, л. 186.

[10] Олег Губарь. История градостроительства Одессы и функции Одесского строительного комитета. – Одесса, 2015, с. 328-333.

[11] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 127, л. 169-173.

[12] Там же, д. 145, ч. 2, л. 423, 428, 434-436.

[13] Там же, л. 430.

[14] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 287, л. 495.

[15] ОГИКМ, инвентарный № К-605; РГВИА, ф. 846, оп. 16, д. 22278, л. 1.

[16] ГАОО, ф. 4, оп. 8, д. 942, 2 часть, л. 10, № 447.

[17] Одесский вестник. – 1832, 30 января, № 9.

[18] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 1538. – 45 листов.

[19] Список домам и прочим строениям, состоящим в I-IV-й частях города Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке. – Б. м., б. г., с. 16, № 72.

[20] Список домам и прочим строениям, состоящим в первой части города Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1855 года, подлежащим и не подлежащим оценке. – Б. м., б. г., 2 часть, № 72.

[21] Труды Государственного архива Одесской области. Т. XXXVIII. – Одесса, 2014, с. 414-415.

[22] Там же, с. 416-417.

[23] Труды Государственного архива Одесской области. Т. IV. – Одесса, 2002, с. 268-269.

[24] ГАОО, ф. 37, оп. 4, д. 16, л. 49 об.

Павел Козленко

Моя Балта*

«Беня Крик» из Балты

Балта первой четверти XX века… Погромы, войны, налеты бандитов. Каждая новая власть, приходившая в город, считала своим долгом грабить еврейское население. Назло всем этим событиям еврейское население города продолжало увеличиваться. На начало XX века в городе проживало 14924 еврея, что составляло 54,3%.

Синагог и молитвенных школ было 23. Среди них, естественно, одна главная (или Большая синагога), казенный раввин при ней и свои купцы разных гильдий. Среди прочих направлений хасидов в городе были и последователи цадика Фридмана – духовного отца садогурских хасидов. Его двор находился в небольшом городке Садгоры на левом берегу реки Прута в 6 км к северу от центра города Черновцов.

Что собой представляла садогурская община в Балте? Община была зарегистрирована под № 6302 8 ноября 1884 года. Прихожан было около 90 человек, среди которых, например, отец писателя, юриста, профессора политических наук и верного ученика Жаботинского – Иосифа Недавы, а также отец одного из ведущих марксистских еврейских историков 20-30-х гг. и руководителя Института еврейской культуры Белорусской академии наук в 20-е годы Израиля Сосиса. Старостой был Сруль Бирман, казначеем Шмуль-Аба Шапиро, а ученым Фроим Шмулевич.

---

* Окончание. Начало в кн. 81.

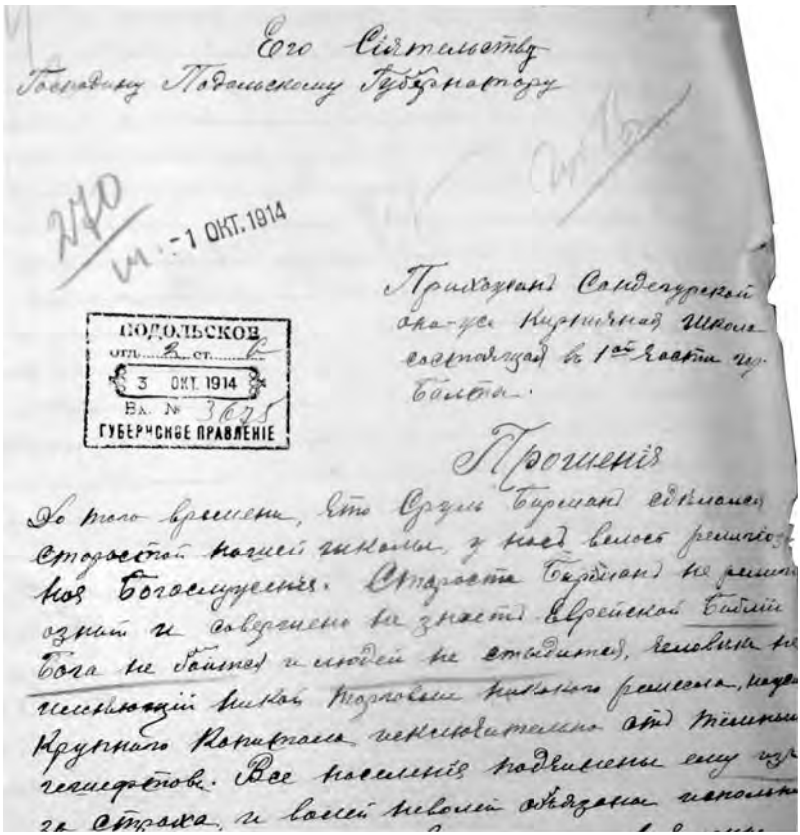
В одном из своих гениальных произведений Исаак Бабель писал: «Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями».

В каждом городе и местечке был свой Беня Крик. Таким «Королем» в Балте, видимо, был староста общины Сруль Янкелевич Бирман, мещанин из Ананьева, в поисках новых приключений в двадцатилетнем возрасте оказавшийся в Балте. Здесь, в Балте, от первой жены Суры у него появились сын Шабса и две дочери, Мотл и Басшева. Быстро разобравшись, что и как, он нашел применение своим талантам.

Проживал он вместе со своей новой женой Рухлей Алтеровной в 1-й части города Балты на углу Сенной и Почтовой улиц и имел деревянный дом, лавочку, погреб, флигель, сарайчик и усадебную землю. Все это в 1899 г. они продали балтскому мещанину Янкелю Ицковичу Пуховичу.

Чем занимался Сруль Бирман и каким пользовался авторитетом в городе?

1 октября 1914 г. на имя его сиятельства господина подольского губернатора поступило письмо от прихожан Садогурской синагоги (она же кирпичная школа), состоящей в 1-й части города Балты, прошение: «До того времени, что Сруль Бирман сделался старостой нашей школы, у нас велось религиозное богослужение. Староста Бирман не религиозный и совершенно не знает еврейской Библии. Бога не боится и людей не стыдится, человек, не имеющий никакой торговли и никакого ремесла, наделен крупным капиталом исключительно от темных гешефтов. Все население подчинено ему из-за страха и волей-неволей обязано исполнять его желания и приказы выбрать его в члены правления… В школе проводится распродажа горячих напитков, и любопытно было бы узнать, где та распечатанная и запечатанная водка, которую пристав 1-й части города Балты г. Гуранд обнаружил и забрал, а составил ли об этом протокол. Староста Бирман избил во время богослужения ученого и еще несколько прихожан. Он занимается советником банкротств и получает у лавочников



Его Сіятельству
Господину Подольскому Губернатору

270
м. - 1 ОКТ. 1914

ПОДОЛЬСКОЕ
отд. 2 ст. 6
3 ОКТ. 1914
Вх. № 3675
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНІЕ

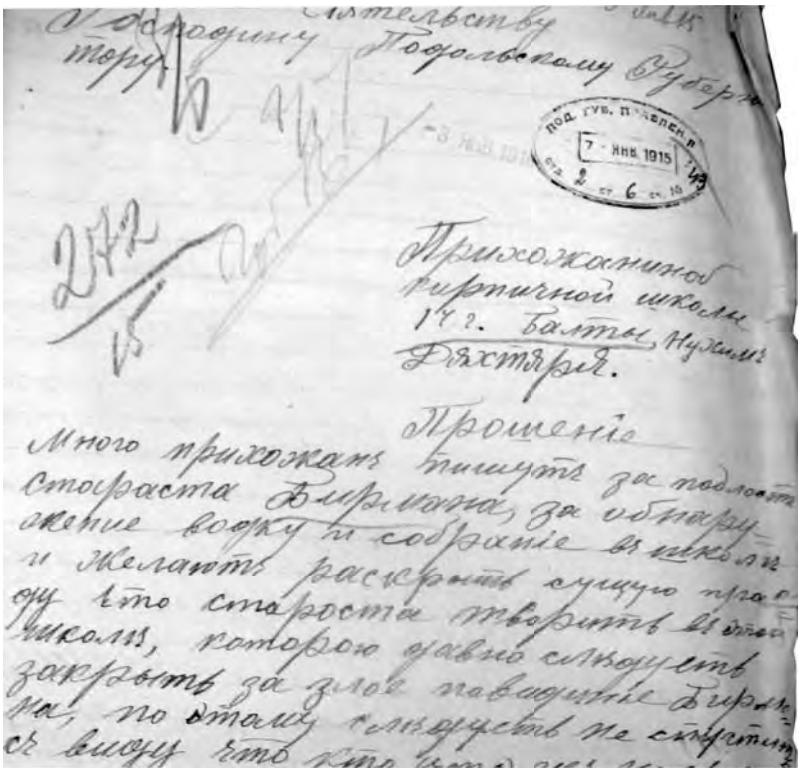
Прихожан Сандегурской
окр-уса Кирпичная Школа
состоящая в 1ой части гор.
Балта.

Прошенія

До того времени, что Сруль Бирман сдѣлался
старостой нашей школы, у насъ велось религіозное
Богослуженія. Староста Бирман не религіозный
и совершено не знаетъ Еврейской Библіи
Бога не боится и людей не стыдится, человѣкъ не
имѣющій никакой торговли никакого ремесла, наусилъ
Крупного Капитала исключительно отъ тѣмныхъ
гешефтовъ. Все населенія подчинены ему изъ
за страха, и волей неволей обязаны исполнить

Прошение прихожан Садогурской кирпичной школы на имя подольского губернатора.
Из фондов ГАХмО

за даваемые советы, чтобы никому не платили ни копейки. Крупный гонорар, то у одного крупного купца получил Могилевского 500 руб., гарантируя, что никто не сможет описывать его магазин, а он может никому не платить. А когда явился присяжный поверенный, и господин судебный пристав взялись описывать товар магазина Могилевского, то явился Бирман в магазин, сильно избил поверенного, а судебного пристава хватал за цепь и крикнул: «По указу его императорского величества я не велю писать».



Прошение прихожанина кирпичной школы Нухима Дехтяря на имя подольского губернатора.
Из фондов ГАХмО

За поверенного, которого избил, Бирман приговорен к трехмесячному аресту, а за прочие его действия производится дознание через местного жандармского полковника».

23 ноября 1914 г. на имя подольского генерал-губернатора было направлено письмо прихожан молитвенной школы, из содержания которого мы узнаем, что «Бирмана выбрали из-за страха, ведь он не имеет никакого ремесла, никакой торговли, а есть уличный подпольный адвокат. Махинации с векселями, вымогает деньги. Торговые люди боятся Бирмана, захочет – и разорвет в пух и прах. Я уверен, что если Бирман среди белого дня убил бы

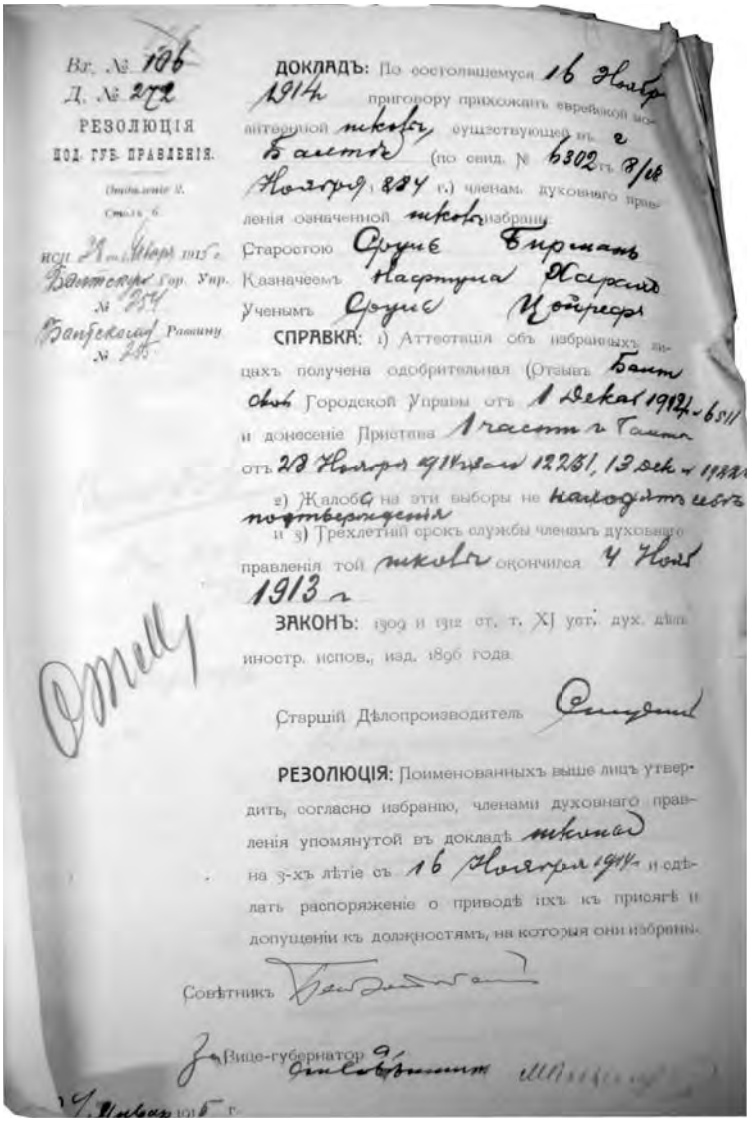
человека, никто против него не показал бы. Полиция относится к Бирману с большой осторожностью. Он захватил всю власть в свои руки, весь город и окружность его боятся».

7 января 1915 г. очередное письмо было отправлено на имя подольского губернатора. Письмо написал Нухим Дехтяр. Он пишет: «Бирман – уголовная личность, состоял под следствием у господина судебного следователя за подлог, в Балтском суде городовые установили факт, что Бирман рвал судебного пристава за цепь, а пристав боялся высказать. Он и его товарищи поправлено уличились за поддельные марки и за поддельные монеты. Бирман подпольный адвокат, нажил 40 тысяч рублей по средствам его вымогательства, весь город его боится. Первый раз и теперь его выбрали старостой из-за страха. Прибудет бумага для его допроса, Бирман моментально знает все содержимое и всех свидетелей на перечень. Он хвастается, что против него никогда допроса не произведут. Казначей и ученый, не знают ни за приход, ни за расход. А если требуют отчет, то он их колотит…». Письмо подписали Арон Штейн, Хаскель Гоноратор, Иона Недувер, Иось Латман, Шмуль-Аба Шапиро, Фроим Шмулевич, Шлема Гринштейн, Ицка Галантер, Шмуль Рельбурн, Лейб Ямпольский и Янкель Хасилевич.

И здесь опять, дорогие читатели, позвольте мне привести слова гениального Исаака Бабеля: «В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции». Разве это не относится уже к балтскому купцу 2-й гильдии Срулю Бирману?

Можете быть уверены, что старостой таки вновь выбрали на ближайшие три года балтского 2-й гильдии купца Сруля Янкелевича Бирмана, казначеем Нафтулу Иосифовича Хараха и ученым Сруля Хаимовича Цойрефа.

Все это не мешает Бирману, например, в январе 1915 г. принимать участие в заседаниях винницкого окружного суда по доверенности на стороне мещанина Оля Гершковича Паяца в иске к дворянину м-ка Кодымо Опитону Иосиповичу Финк-Финавицкому на сумму 2000 руб. по четырем векселям.



Вх. № 106
Д. № 272
РЕЗОЛЮЦІЯ
ПОД. ГУБ. ПРАВЛЕНІЯ.
Отдѣленіе 2.
Столъ 6.
Исп. 28 Января 1915 г.
Балтскую Гор. Упр.
№ 254
Балтскому Раввину
№ 255

ДОКЛАДЪ: По состоявшемуся 16 Ноября 1914 г. приговору прихожанъ еврейской молитвенной школы, существующей въ г. Балтѣ (по свид. № 6302 отъ 8/18 Ноября 1884 г.) членамъ духовнаго правленія означенной школы избраны:

Старостою Фрунъ Бирманъ
Казначеемъ Нафтула Харамъ
Ученымъ Фрунъ Цойрефъ

СПРАВКА: 1) Аттестація объ избранныхъ лицахъ получена одобрительная (Отзывъ Балтской Городской Управы отъ 1 Декабря 1914 г. № 6511 и донесеніе Пристава 1 части г. Балта отъ 28 Ноября 1914 г. за № 12231, 13 Дек. 1914 г.

2) Жалобы на эти выборы не находятъ себѣ подтвержденія

и 3) Трехлетній срокъ службы членамъ духовнаго правленія той школы окончился 4 Ноября 1913 г.

ЗАКОНЪ: 1309 и 1312 ст. т. XI уст. дух. дѣлъ иностр. испов., изд. 1896 года.

Старшій Дѣлопроизводитель [подпись]

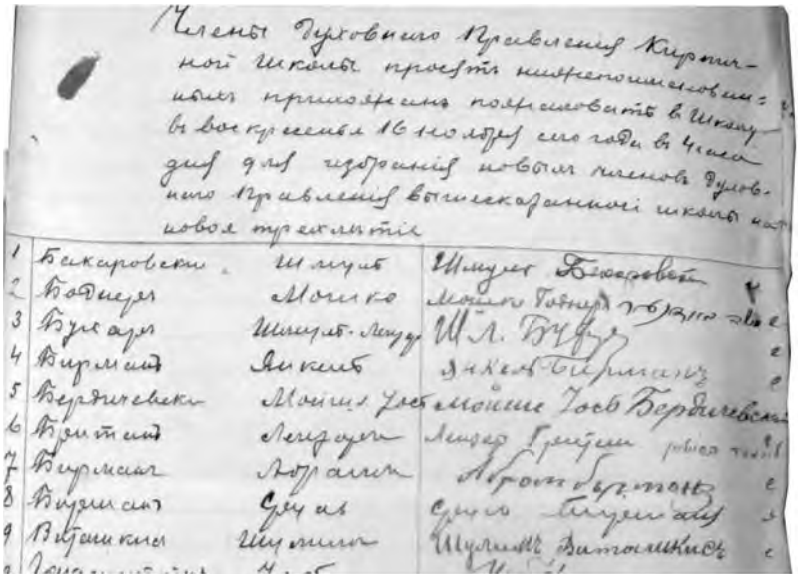
РЕЗОЛЮЦІЯ: Поименованныхъ выше лицъ утвердить, согласно избранію, членами духовнаго правленія упомянутой въ докладѣ школы на 3-хъ лѣтіе съ 16 Ноября 1914 г. и сдѣлать распоряженіе о приводѣ ихъ къ присягѣ и допущеніи къ должностямъ, на которыя они избраны.

Совѣтникъ [подпись]

За Вице-губернатора [подпись]

14 Января 1915 г.

Об избрании членов духовного правления Садогурской молитвенной школы. 1914 год.
Из фондов ГАХмО



Список прихожан молитвенной школы. Из фондов ГАХмО

С приходом советской власти в Балту, закрытием многих синагог и молитвенных школ наш герой устроился смотрителем на Балтское еврейское кладбище.

Еще много интересных историй о Сруле Бирмане я бы мог рассказать. Эти истории передавались от поколения к поколению в нашей семье. Ведь Сруль Янкелевич Бирман приходился дедушкой моей прабабушке Блюме Барер, но это уже совсем другая история.

Источники и литература

1. Государственный архив Хмельницкой области (ГАХмО).
2. Государственный архив Одесской области (ГАОО).
3. Государственный архив Винницкой области (ГАВиО).

Казенный раввин Балты и один из основателей Тель-Авива

– Что общего между городом Тель-Авивом и украинским городом Балтой? – спрашиваю я вас…

Или: кто исторически связывает эти два города?

Возможно, вы мне ответите: «И там, и здесь жили, живут и будут жить евреи».

О человеке, которому посвящена настоящая статья, думаю, вряд ли кто знает в Балте.

Для поиска ответа на поставленный вопрос мы начнем нашу историю со второй половины XIX века и перенесемся в Подольскую губернию Российской империи, в уездный город Балту.

В каком году XIX века Балтским еврейским обществом была построена в 1-й части города каменная синагога, впоследствии ставшая Главной синагогой, мы вряд ли узнаем. Но подтверждение тому, что она уже действовала в 1869 г., мы находим в фондах Государственного архива Хмельницкой области. Поверенный прихожан синагоги 1-й части г. Балты, балтский мещанин Дувид Чечельницкий обращается с прошением: «По поданным мною в губернское правление прошения с приложением приговора Балтского еврейского общества о ходатайстве выдачи мне установленного свидетельства и удостоверение балтского полицмейстера о том, что синагога, существующая в 1-й части г. Балты, существует с давних времен и по разрешению губернского правления с 1869 года оставлена к дальнейшему существованию…».

Главная синагога города согласно сохранившимся планам располагалась на Малой Купеческой улице, недалеко от ныне восстанавливаемой Савранской синагоги.

«Синагог в городе много, около двух десятков. За маленьким базарчиком есть даже специальная синагогальная улица, «ди шил гас». Здесь – главная городская с расписанным знаками зодиака потолком. Во время осенних праздников здесь справляется богослужение с помощью хора певчих мальчиков. В ней выступают и заезжие канторы, слушать которых стекаются со всех синагог. Во время праздников сюда заглядывает и пристав, чтобы

присутствовать при исполнении молебна – «ми шеберех» – во здравие государя императора и всего царствующего дома…

Сегодня Рош-Гашоно – Новый год по еврейскому календарю. Я уже несколько лет не работаю и волен распорядиться своим временем. С утра побрился, надел чистую рубашку и синий костюм. Решил окунуться в атмосферу векового еврейского праздника.

Синагога полна до отказа, но я пробираюсь все же сквозь толпу мужчин и женщин. Вот и виден амвон – возвышение у восточной стены с ковчегом, где хранятся свитки Торы. Кантор в накинутом на плечи талесе ведет богослужение. Перед ним раввин – высокий красивый старик с ухоженной черной бородой в торжественном облачении: блестящем белизной шелковом талесе и с подобием тиары на голове. Рядом и по бокам – почетные прихожане и распорядитель-шамес. На скамьях в зале – одетые в талесы постоянные прихожане с молитвенниками в руках. В задних рядах и в проходах – такие же, как я, случайные посетители. Некоторые слушают молча, иные что-то шепчут, заглядывают в чужие молитвенники, другие болтают, вызывая негодующие взгляды и окрики молящихся… Молящиеся довольно бойко и привычно повторяют молитвы вслед за кантором. Время от времени кантора поддерживает скрытый хор. Но ни в молитве кантора, ни в голосах молящихся нет ни мольбы, ни трепета «страшных дней», ни страха перед Верховным Судьей, готовящимся записать в Книгу Бытия, что каждому уготовано в наступающем году: кто вознесется, кто упадет, кто будет жить и кто умрет; кто погибнет в воде, кто в пламени, кто в суматохе, кто в эпидемии, кто от голода», – так описывает Главную синагогу в своих воспоминаниях Абрам Приблуда.

В каждом еврейском городке Российской империи была главная синагога. А в ней были два раввина: один, так называемый «казенный раввин», регистрировавший браки, разводы, родившихся, умерших, являющийся официальным у властей представителем еврейского общества; другой, по прозвищу «духовный раввин», «разъяснял необходимость тех или иных религиозных треб, главенствовал в синагоге и разбирал, судил, рядил мелкие личные недоразумения между теми, кто к нему обращался». Казенный раввин избирался общиной, утверждался губернскими

властями (получал свидетельство), должен был владеть русским языком и иметь признанное государством среднее или высшее образование.

В начале XX века в город Балту прибывает сын хасида, раввина местной общины белорусского штейтла Улла Цви Шейнкина (1840-1875), Менахем с женой Мириям Коэн и дочерью Диной. К этому времени тридцатилетний Менахем Шейнкин имел за своими плечами богатый опыт общественной деятельности. Учил Тору, в юности зарабатывал на жизнь тем, что обучал детей ивриту и еврейской традиции, руководил различными сионистскими организациями в Одессе, представлял эти организации на сионистских конгрессах, а окончив историко-филологический факультет Новороссийского университета, стал профессиональным сионистом. В 1900 г. Шейнкин посетил Эрец-Исраэль для изучения страны.

Менахем Шейнкин в 1901 году избирается казенным раввином Балты и продолжает активную общественную деятельность. Он принимает участие во многих сионистских конгрессах; на VI Конгрессе в Базеле в 1903 г. был избран членом исполнительного комитета сионистской организации, руководил деятельностью сионистской организации в Подольской, Волынской и Бессарабской губерниях. Шейнкин был членом Демократической фракции, оппозиционной Т. Герцлю, возникшей в среде молодых российских сионистов в 1901 году.

Шейнкин был активным противником Угандийского плана (план по созданию автономного еврейского поселения в Британской Восточной Африке (ныне – часть территории Кении), предложенный британским правительством в 1903 г.) и участвовал в деятельности Ционей Цион.

Групповая фотография на фоне здания, где проходил конгресс группы делегатов из числа российских сионистов, участников VII Конгресса сионистов в Базеле в 1905 г., среди прочих делегатов запечатлела и Менахема Шейнкина.

В 1906 г. он был вновь переизбран казенным раввином Балты, но губернские власти отказались утвердить избрание Шейнкина на этот пост из-за его сионистской деятельности. В фондах Национальной библиотеки Израиля сохранилась фотография

М. Шейнкина, сделанная в Балте у фотографа Янкель-Пейсаха Иосифовича Дорфа в доме Миркиса на Б. Купеческой улице, а в Государственном архиве Одесской области хранятся книги раввината города Балты с его автографом.

Менахем Шейнкин. Фото из фондов Национальной библиотеки Израиля

В 1906 г. Менахем Шейнкин с семьей переезжает в Эрец-Исраэль и селится в Яффо. Здесь он возглавил Палестинское бюро – исполнительный комитет Ховевей Цион Эрец-Исраэль, фактически представительство российских сионистов, которое занималось алией и информированием российского еврейства о положении в стране.

В 1908 году Шейнкин создает первое объединение еврейских ремесленников, а в 1909 – первую еврейскую гимназию (нам она известна как гимназия «Герцлия»).

Книга раввината по г. Балте. Подпись Менахема Шейнкина. Фото из фондов ГАОО

Когда в 1909 году на дюнах к северу от Яффо было образовано еврейское поселение Ахузат-Байт («Домашняя усадьба»), Менахем Шейнкин с семьей поселяется в поселке. Это было около 60 земельных участков общей площадью около 11 гектаров.

21 мая 1910 года на собрании общины Менахем Шейнкин предложил переименовать район Ахузат-Байт в Тель-Авив: «У меня есть предложение, которое, на мой взгляд, может удов-

Администрация гимназии. 1910 г. Фото из фондов Национальной библиотеки Израиля

летворить всех: назовем поселение Тель-Авив – «Холм весны». Это название упоминается в Танахе, в книге Иехезкеля, и оно связано с именем Беньямина Зеева Герцля, потому что его книга «Альтнойланд» переведена на иврит Нахумом Соколовым под названием «Тель Авив». За предложение назвать будущий город Тель-Авивом проголосовало большинство из 800 жителей Ахузат-Байта.

Менахем часто посещает Россию, где занимается сбором денег для развития Эрец-Исраэль, пропагандой идей сионизма. В ноябре 1911 года посетил остров Хиос в Греции. После начала Первой мировой войны Шейнкин был выслан турецкими властями из Эрец-Исраэль как подданный России и уехал в США. В Америке он принимал участие в создании Еврейского легиона, а также был одним из инициаторов создания американских сионистских благотворительных фондов. В 1919 г. Шейнкин возвращается в Эрец-Исраэль и возглавляет департамент алии при правлении сионистской организации. В 1924 г. во время миссии

Еврейское поселение Ахузат-Байт. Фото из Интернета

сионистов в США для сбора средств он погибает в дорожной аварии в Чикаго.

Менахем Шейнкин был похоронен на кладбище Трумпельдор в Тель-Авиве, городе, где одна из улиц названа его именем. После его смерти часть его работ была издана его вдовой Мириам Шейнкин. Две его дочери, Кейла и Дина, были замужем: Кейла за доктором Моше Харбаном, а Дина за доктором Джозефом Кармином.

Шейнкин опубликовал на русском языке и иврите ряд статей, посвященных сионистскому движению и развитию Эрец-Исраэль, в которых доказывал необходимость поощрения частной инициативы в деле развития страны.

Менахем Шейнкин писал, что «эта иммиграция негативно представляет нас в глазах правительства и местного населения. Они видят бедных, оборванных, несчастных людей с рваными пучками, отбросами общества, которые вряд ли сделают страну доброй… Если никогда не будет богатых, респектабельных, хорошо одетых привлекательных людей, выходящих на берег, слово «еврей» станет синонимом слабого, низшего и низкого класса».

Именно этот человек, видный сионистский деятель Менахем Шейнкин, бывший казенный раввин Балты и один из основателей Тель-Авива, исторически связывает эти два прекрасных города.

Менахем Шейнкин. Фото из фондов Национальной библиотеки Израиля

Судьба Главной синагоги Балты оказалась такой же трагичной, как и судьба Менахема. Пострадав в годы Второй мировой войны, она была разрушена и в 1945 г. полностью снесена. Чугунные столбы, ранее подпиравшие в центре галерею, были использованы при восстановлении мельницы.

В 1990-х годах бывший узник Балтского гетто Суня Вайсерман, работавший многие годы на мельнице, рассказал об этой истории председателю еврейской общины города Вадиму Винярскому, который выкупил эти столбы у новых собственников.

С Б-жьей помощью эти старые чугунные столбы с надписями на иврите будут установлены в здании Савранской синагоги. Они будут символизировать связь Главной синагоги Балты, где в начале XX века казенным раввином служил Менахем Шейнкин, и восстанавливаемой Савранской синагогой.

Могила М. Шейнкина. Фото из фондов Национальной библиотеки Израиля

На фасаде отреставрированной синагоги мы планируем установить мемориальную доску в его память.

Источники и литература

1. Национальная библиотека Израиля.

2. Государственный архив Одесской области, фонд 920 – Балтский городской раввинат.

3. Менахем Шейнкин. Электронная еврейская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eleven.co.il/zionism/precursors-emergence/14793/.

Аркадий Рыбак

Аккерманский мальчик

Нынешним летом легендарному одесскому фотожурналисту Михаилу Рыбаку исполнилось бы 90 лет. Члены редколлегии альманаха, многие наши авторы дружили с ним, знали и знают его публикации. Сын Михаила Борисовича Аркадий, редактор газеты «Порто-франко», написал книгу об отце, одну из глав из которой мы публикуем.

Ф. К.

После смерти отца разбирал многочисленные папки с черно-белыми фотографиями и набросками текстов. Наткнулся на страничку, где было напечатано только: «Аккерманский мальчик. Непридуманная повесть. 30-50-е». И все. Отец говорил мне о том, что хотел бы написать о своей жизни. Но, очевидно, не смог. Не успел. И я подумал: а не попробовать ли сделать это мне?

1

…Сквозь сон я слышал тихий шелест. Казалось, что в осеннем парке опадает разноцветная листва, и ты поддеваешь ногами шуршащие кучки. Они чуть приподнимаются над землей и снова ложатся красочным ковром. Так бывает в конце октября или теплым ноябрем.

Я приоткрыл один глаз и увидел на подоконнике горку снега. Какие там опавшие листья среди зимы? Глянул в узкий проем между балконной дверью и моим разложенным на ночь кресломкроватью. Там друг на дружке лежали чуть съежившиеся листы. Ну конечно! Как я мог забыть? Это же фотографии, которые папа печатал вчера до поздней ночи в общей ванной комнате нашей коммунальной квартиры.

Даже не знаю, с чего начать. С этой квартиры или с фотографий? Квартира-то появилась раньше. С нее и начну. Во-первых, я здесь родился. На тот момент это было мое первое и единственное жилище. Мне очень нравилась наша светлая комната с окном и балконом, выходящими во дворик дома на самом углу улиц Ольгиевской (тогда ее именовали Академика Павлова) и Пастера. Прямо напротив медицинского института. Между прочим, после Второй мировой при медине функционировал родильный дом, где я появился на свет. Очень удобно. Все рядом.

Наш двор был, по сути, общим для нескольких небольших домов. Они плотно примыкали друг к другу, образуя замкнутое пространство. Через кованые железные ворота был вход с Ольгиевской. Наш дом имел торжественный парадный подъезд с Пастера. Но почему-то он вечно был заперт, и все ходили через двор. Дома справа и слева от нашего имели традиционные для Одессы длинные галереи и скрипучие лестницы, по которым мы гоняли, играя в казаков-разбойников. Посреди двора находил-

ся старинный кран, откуда набирали воду для стирки и уборки, и неказистое приземистое сооружение без окон. Оно примостилось у глухой тыльной стены другого, некогда доходного дома и было разделено на узкие кельи, служившие жильцам сараями. Там хранили дрова и уголь, ибо повсюду еще топили печки.

В нашей 15-метровой комнатке старинная печь, выложенная матово-блестящим кафелем, была украшением интерьера. Топка выходила в коридор, и потому чистоту жилища ничто не омрачало. Вот только представить себе, как вся мебель и люди помещались на этом пятачке, мне сегодня сложновато. Родители вспоминали, что они въехали в эти хоромы почти без ничего. У папы из шикарного гардероба был только парадный мундир и купленный у складского старшины перед демобилизацией кожаный реглан на меху. Мама почти все шила себе сама. По картинкам из журналов и выкройкам, которые крепились на вставках. Вся эта красота легко умещалась на вбитых в стену гвоздях. Но в моей памяти все было покруче. Для себя родители приобрели диван-кровать, для меня – кресло-кровать. Все это раскладывалось на ночь, перекрывая свободные зоны. Приходилось даже обеденный стол (тоже, кстати, раскладной) двигать вплотную к шкафу. Были еще у нас шкаф книжный и даже небольшой письменный стол. В самом углу у двери стоял тяжеленный холодильник с железной ручкой. Над ним – крючки для верхней одежды и выключатели, которыми можно было включать свет на кухне, в коридоре и туалете. Напомню, что в коммуне у каждого были свои лампочки в местах общего пользования, а значит, свои выключатели. Чтобы соседи не палили ваш свет, выключатели выводили в жилые комнаты.

Коммуна у нас была небольшая и относительно спокойная. Две комнаты слева от входной двери занимало одно семейство, две самые просторные – другое. Их окна и балконы выходили на фасад, и соседи могли наблюдать за стайками студентов-медиков и за каретами скорой помощи, весь день метавшимися на свою базу в Валиховском переулке, а оттуда по всему городу. В самых просторных комнатах жили Аркадий Яковлевич с Люсей Яковлевной, в тех, что поменьше, – Сара Яковлевна с Саулом Борисовичем. В раннем детстве меня очень удивляло, почему все Яковлевичи, а этот самый Саул – нет. Никакие объяснения принять не мог. Впрочем, все они были довольно милыми людьми. Но главное, что у них были

внуки моего возраста. Майя вообще оказалась на несколько дней старше меня, а рыжий Гарик с немыслимой гривой кудрявых волос был несколькими месяцами младше. Мы часто играли вместе. В основном на их территории. У нас в комнате мы разве что сражались в настольные игры, помещавшиеся на табурете.

О том, что некогда вся квартира принадлежала морскому капитану Аркадию Озерянскому, я узнал, когда стал постарше. Но в послевоенной Одессе жилья не хватало, и власти вынуждали потесниться даже очень уважаемых людей. Так у Аркадия Яковлевича остались только две из пяти комнат и удовольствие иметь соседей. Отцу дали комнату в середине 1954 года, за несколько месяцев до моего рождения. Он тогда только демобилизовался из армии и имел какие-то приоритетные права. Дело в том, что, приехав в Одессу с женой, молодой офицер вынужден был ютиться с ее семьей в одной большой комнате на той же улице Пастера. На тот момент там жила моя бабушка и трое ее взрослых детей. К тому же, мамина сестра успела выйти замуж и родить сына. Можете себе представить это общежитие?

Комната в коммуне показалась просто райским уголком. Да и все мы в ту пору особыми комплексами не страдали. Но о своем детстве, возможно, расскажу в другой раз. Сейчас пришло время вернуться в морозную ночь конца 50-х. Итак, между моей постелью и дверью балкона горка чуть покореженных фотографий. Почему они там и как оказались? Понятно, что отпечатал их отец. Он увлекся этим делом совсем недавно. После дембеля его охотно взяли преподавателем военного дела, и он вел уроки в нескольких школах в центре города. Одновременно устроился на станцию юных натуралистов, которая находилась в глубине двора рядом с ювелирной фабрикой. Там отец вел краеведческий кружок и часто ходил с подростками в походы по городу и окрестностям. Тогда и начал фотографировать, чтобы оформить стенды и альбомы. Именно тогда он обзавелся первыми собственными фотографическими принадлежностями. Кроме аппарата ФЭД это были еще фотоувеличитель и бачки из прочного черного пластика, в которых разводили проявитель и фиксаж. Каждый фотолюбитель весь процесс проявки пленки и печати фотографий производил самостоятельно. Это занимало много времени. Проблемой было и отсутствие места. Отец сумел убедить соседей хотя бы час-полтора поздним вечером не поль-

зоваться ванной комнатой. Там он устанавливал на толстой доске свой допотопный увеличитель, расставлял посудины с химрастворами, подвешивал красный фонарь и начинал колдовать. Я любил наблюдать за процессом, а при случае и помочь. Мне нравилось видеть, как на чистом листе бумаги постепенно вырисовывались контуры фигур и зданий, возникали глаза и лица незнакомых мне людей.

Вы наверняка знаете, что печать и проявка фотографий – дело мокрое. При нынешней автоматической печати сушка тоже происходит в автоматическом режиме. Раньше это был отдельный процесс. Имелись такие приспособления – глянцеватели, на блестящие металлические пластины которых специальными резиновыми валиками накатывали фотобумагу, отжимая по ходу дела максимум воды. Прибор включали в розетку. Бумага подсыхала и отлипала от пластины с легким потрескиванием. Дальше вы накатывали следующий лист… Но для всего этого тоже нужны были специальное место плюс сам прибор да и время. Словом, за неимением всего этого отец в ту пору накатывал отпечатанные снимки на обычное оконное стекло. Высыхание длилось дольше, но к утру все уже само лежало

у ваших ног. Оставалось собрать и бережно выровнять отпечатки. Мы с отцом использовали для этого край обеденного стола.

Такая технология применялась у нас дома до того момента, пока отцу не предложили репортерскую работу и не предоставили небольшую служебную комнатку под лабораторию.

Тогда папе исполнилось 30 лет. Все было впереди. Но за плечами остались три непростых десятилетия, о которых стоит рассказать подробней.

2

Передо мной фотография 1929 года, сделанная в фотоателье Аккермана. На ней мой прадед с прабабушкой и четверо их детей. Самый старший из них – мой дед Беня, который вот-вот женится и станет жить самостоятельно со своей Блюмой. В июле 1930 года у них родится сын, мой отец, которого они в детстве ласково называли Мусей и по привычке продолжали так называть, даже когда к ним приезжал я, их внук. Дед Бенцион был человеком строгим и веселым одновременно. При этом очень деятельным и отчаянным. В отличие от глубоко верующего отца, Беня общался с богом довольно формально. Какие-то традиции и обряды соблюдал, но в целом жил жизнью свободной. Насколько это было возможно в то время.

Беня родился в самом начале XX века в бессарабских землях тогдашней Российской империи. Для людей его происхождения обозначили так называемую черту оседлости. Пока в Аккермане постоянно находился Лифляндский пехотный полк, в округе царило относительное спокойствие. Но пехотинцев отправили на русско-японскую войну, и повсюду активизировались черносотенцы. Старожилы вспоминали, что и в маленьком Аккермане началась смута, и в 1905-м произошел кровавый еврейский погром. Беня подробностей почти не помнил, ибо был слишком мал. Припоминал только, что прятался с родителями в глубоком старом винном погребе где-то в районе базара. Лучше запомнились события революции 1917 года, когда город пестрел красными флагами, бурлил митингами. Длилось это недолго. Уже в начале следующего года Бессара-

бию прибрали к рукам румыны, и первое время многим было вообще непонятно, что делать дальше.

Бенциона через несколько лет призвали в армию. Разумеется, в румынскую. Слава богу, воевать ни с кем не пришлось. Смышленый солдат обучился стрелять из винтовки, побыл ездовым, ловко управляясь с лошадьми. В обиду себя не давал. Домой приехал возмужавшим и жаждущим новых приключений. О службе говорить не любил. То есть ни хорошо, ни плохо. Армия есть армия. Что от нее особого ждать? Отец Бени вел небольшую коммерцию, получал товары из самого Бухареста, а то и из Парижа. Бенцион взялся не просто помогать. Он стал коммивояжером. Разъезжал по окрестным городкам и селениям на бричке, возил с собой образцы товара. Вскоре его уже повсюду знали, встречали как доброго знакомого. Беня сиживал со своими покупателями за обедом. Пропускал по стаканчику вина, которое в тех краях люди чуть ли не в каждом доме делали для себя и друзей. Иной раз засиживался за картами. Играли в реми на мелкие деньги. Он знал толк в игре. Часто вместе с выручкой за товар увозил еще и скромный выигрыш.

За этого работящего, общительного и азартного парня вышла замуж моя бабушка Блюма. Спокойная до флегматизма и уж точно не азартная. Но так судьба часто парует людей. Мой отец характером пошел в деда. Непоседливый, пытливый, по-своему азартный и при этом сохранивший почти детскую наивность до конца своих дней.

Две Бенины сестры и брат были намного моложе его. Муся был единственным племянником на всю троицу. Они любили его и иногда баловали. Покупали ему леденцы и конфеты, водили гулять в парк и брали иногда с собой в кино. Когда мальчик пошел в школу, вся семья была уверена, что он будет среди лучших учеников.

У Миши было много друзей. Они ходили друг к другу в гости, гуляли по тенистым улочкам древнего городка, купались в лимане и при любой возможности лазили на стены и башни крепости. Мальчишки обожали это место с его загадочной историей и множеством укромных уголков, где можно было прятаться от посторонних глаз. Со стен крепости в ясную погоду был виден другой берег лимана, на котором – другая страна. Все знали, что на дальних холмах – Овидиополь, а за ним и огромная Одесса. Многие из взрослых бывали там до революции и рассказывали, какой это

роскошный город. Правда, сейчас там красные. Но разве могли они испортить место?

У красных в Аккермане были единомышленники. Больше того, доходили слухи о том, что молодые люди совершали попытки перебраться на советский берег. Некоторых ловили, по другим стреляли пограничники, но были случаи, когда парням удавалось переплыть лиман. От чего бежали? В Румынии тогда установилась диктатура при живом короле. Казни стали обычным делом. Для устрашения населения по городам разъезжали машины с установленными на них виселицами и болтавшимися в петлях казненными. Набирала силу «Железная гвардия» – румынская политическая партия, спекулировавшая на религиозном фанатизме с фашистским уклоном. Ее члены называли себя легионерами и постоянно провоцировали стычки в крупных городах. Они не скрывали своих связей с немецкими нацистами и были настроены на погромы. Приверженцы «Железной гвардии» появлялись в ту пору и в небольших городах. Интернациональный Аккерман не обошла эта напасть.

В древности кто только не владел здешними землями! Так вышло, что после распада армянского государства с Кавказа на Днестровский лиман переселилась большая община из города Ани. Было это почти тысячу лет назад, но к началу XIX века армян в Аккермане было большинство (почти сорок процентов населения). Много было греков и болгар, бежавших от турок. Жили тут издавна украинцы, евреи, молдаване, поляки, цыгане. И в школе почти все ученики по привычке общались между собой на русском, хотя дома большинство разговаривало на родных языках. В конце 30-х правила ужесточили. Мальчишек заставляли говорить только на румынском. На уроках и на переменах. За нарушение правил карали.

Впрочем, учителя были разные. Коренные аккерманцы относились к языковой повинности с прохладцей и детей не наказывали. За всех свирепствовал преподаватель румынского Ион Батэу. Здоровенный детина с пудовыми кулаками только и ждал повода устроить скандал. Даже не ждал, а сам выискивал повод. Однажды на уроке вызвал к доске Мишиных одноклассников Яцека и Ашота. Сначала долго орал на них, потом взял со стола толстую деревянную метровую линейку, какими в лавках отмеряют сукно, и стал лупить мальчишек по рукам. Те корчились от боли и разревелись. Батэу

не унимался. Для Миши он придумал другое наказание: закрыл его после уроков в огромном стеклянном шкафу вместе со скелетом. Когда сын вовремя не вернулся из школы, мама спросила у соседских ребят, не знают ли, где он. Яцек сказал, что Мишу оставили в школе. Батэу на перемене подкрался к беспечно болтавшим мальчуганам и не услышал румынской речи. В его воспаленном мозгу возник план наказания. Вызволить Мишу из шкафа удалось поздно вечером, когда разыскали ключи от импровизированного карцера.

«Скула примаре» находилась в самом центре города в просторном здании, окруженном опрятной территорией с цветником и раскидистыми деревьями. Миша любил этот уголок Аккермана. Ему нравилось учиться. У него были друзья. Может быть, поэтому выходки учителя-фашиста старался поскорее забыть. Заканчивался третий класс. Впереди было лето. Походы на лиман и в крепость, игры на пустырях, лазание по деревьям и сочные фрукты. Кто ж знал, что тем летом все они окажутся в другой стране?

3

В доме Мишиного деда на улице Измаильской часто собирались бородатые мужчины в сюртуках и широкополых шляпах. Приходили за советом и просто поговорить за жизнь. Дед считался не только знатоком священных текстов, но и мудрым человеком. Тем летом тихий прилиманский городок гудел, как улей, и шуршал слухами. Еще прошлой осенью в Европе снова начали воевать. Из польских местечек на восток просачивались группки беженцев. Они рассказывали страшное. Кто-то им верил, кто-то нет. Но всем было понятно, что с насиженных мест просто так люди не бегут. Оставляли на произвол судьбы дома и неподъемное имущество. Румыны еврейских беженцев старались не пускать. Румыны дружили с немцами. Но и Советы вроде бы тоже с немцами дружили. Все это с трудом укладывалось в головах обывателей Аккермана. И разговоры о том, что Бессарабию вот-вот снова заберут русские, вводили всех в замешательство. Тут и румын, присвоивших себе не так давно эти земли, мало кто любил, а о Советах вообще толком не знали. Мишин дед эту проблему для себя решил так: лучше красные, чем откровенные нацисты. Такой поворот мыслей семейного патриарха предопределил дальнейший ход событий.

В июне сорокового пошел гулять слух, что, мол, Советы дали румынам трое суток на то, чтобы убраться из Бессарабии. Слух слухом, а на деле жители городка наблюдали ускоренные сборы расквартированных здесь военных и тихое их исчезновение. Без любимых ими бравурных маршей и строевых песен. Некоторые офицеры под шумок смылись, не заплатив квартирным хозяйкам за постой. Вслед за военными сорвались с мест здешние чинуши и те, кто посчитал, что в Румынии им будет лучше. То были очень разные люди. От владельцев магазинов до обычных работяг. На принятие решения действительно оставались считаные дни. Семейство Рыбаков никуда бежать не собиралось…

…Некоторые особо разъяренные румынские офицеры и железногвардейцы, заскакивая в последний вагон, успевали проорать: «Мы еще вернемся!» (и, кстати, не соврали).

…Отрезок пути на въезде в Аккерман, по которому в город входили советские войска, позже назвали улицей 28 Июня. Румын здесь уже не было. Колонна техники с красными звездами неторопливо двигалась со стороны сел Салганы и Шабо к самому центру. Без преувеличения весь город высыпал смотреть на это зрелище. Светило солнце. Цвели сады. Кое-кто из питавших большие симпатии к красным успел вывесить над своими домами алые стяги. Они трепетали на легком ветру над головами зрителей на Софиевской и Георгиевской, на Староармянской и Мещанской улицах, на Шабской и на Будакской дорогах. Молодые парни в военной форме радостно улыбались и махали руками. В них не стреляли. Их приветствовали по-русски. В тот миг всем казалось, что все это очень хорошо и надолго.

Миша весь день носился по городу с друзьями. Мальчишек охватило то самое тотальное возбуждение, которое накрыло город. Будущие четвероклассники проводили колонну машин до центрального бульвара Регеле Кароля II, который при Советах будет носить имя Ленина, и с чувством исполненного долга решили, что пора бы уже бежать на лиман купаться. Так и сделали.

В июле того бурного года Миша отпраздновал свой первый юбилей. В их доме собралась вся семья: дед с бабушкой, родители, мамины сестры – совсем молоденькая Шлима и Поля с мужем да с сынишкой Петей, который должен был осенью пойти в первый

класс. Самый младший брат Бени был всего на десять лет старше Миши. С этим юным дядей Миша часто проводил время. Яша был парень спокойный, очень любил всю свою родню и готов был помочь в любую минуту. Силы он был удивительной. Миша видел, как Яша помогал разгружать товар на отцовском складе. Пятипудовые мешки вмиг взлетали к нему на плечо и, покачиваясь в такт его походке, плыли в нужном направлении. И так – часами, без видимой усталости. Яша в тот день принес в подарок игрушку. Всегда серьезная и задумчивая тетя Эстер одарила книжкой с картинками, а хохотушка тетя Суя прибыла на праздник с кавалером. С затянутым в портупею капитаном Бухнером она познакомилась совсем недавно и на семейном торжестве решила познакомить родню с будущим мужем. Они действительно вскоре поженились. Капитан был откомандирован вглубь необъятной России, куда взял жену. Важная деталь семейной хроники, о которой я еще упомяну.

Итак, 21 июля 1940 года. Отмечают Мишин день рождения. Говорят приятные слова, как водится, желают много хорошего имениннику и всем его близким, дарят подарки, немножко пьют за здоровье и счастье, за божье благословение и за мир. Дед торжественно вынимает из маленького кармашка золотую монету царских времен и серебряную румынской чеканки.

– Это тебе на почин, – говорит дед, – остальное соберешь сам!

Миша смущенно принимает кругляши, целует деда. Его обнимают любвеобильные тети. И никто из членов этой большой семьи, сидящей за праздничным столом, не мог предположить, что таким составом они не соберутся уже никогда в жизни…

4

Советы, конечно, планировали возврат Бессарабии, но на разработку деталей явно не хватило времени. Военный гарнизон разместился в Аккермане прочно. А вот с гражданскими властями случилась легкая неразбериха. 7 августа была образована Аккерманская область в составе Украинской ССР, но уже через четыре месяца центром области стал Измаил. Всю Бессарабию разбили на несколько районов. Каким-то удивительным образом старинный город, только что

бывший областным центром, вдруг был перемещен в подчинение… соседнего села Шабо. На самом деле на жизни обывателей отразились не эти организационные выкрутасы, а быстрая смена привычных правил. Вчерашняя частная собственность вдруг стала общей. Вчерашние владельцы магазинов, лавок, ресторанов, винных погребков и складов могли теперь надеяться разве что на работу по найму в своих собственных заведениях. Некоторые оказывались и вовсе с пустыми руками. Такое нравилось не всем. Впрочем, бороться с красными никто не рвался. Между собой аккерманцы продолжали обсуждать, стоило ли оставаться, или нужно было драпать вместе с румынами. Мишин дед стоически перенес национализацию его магазина вместе с закупленным на солидные суммы товаром. Семье позволили продолжать работать на привычном месте, спустили штатное расписание и назначили каждому некую зарплату. Довольно смешную для коммерсантов, привыкших вести дела на свое усмотрение. Ясно, что о закупке товаров во всяких там Парижах и Бухарестах речь уже не шла. Впрочем, и в Париже уже тоже были немцы…

Сборища в доме деда стали ежевечерними, многолюдными и очень шумными. По мере того как фашисты подминали под себя Европу и даже бомбили острова за Ла-Маншем, возникало все больше вопросов. О том, что Гитлер объявил желание полностью уничтожить европейское еврейство, знали уже давно. Аккерманские мудрецы пришли к выводу, что их семьи могут спастись только на просторах Страны Советов или где-то очень далеко за океаном. Но туда попасть шансов не было. Оставались Советы. Среди аккерманцев было немало людей, успевших повоевать в рядах русской армии в годы Первой мировой. Многие относительно молодые мужчины прошли службу в армии румынской. Все понимали, что столкновение с немцами неизбежно, и большинство было готово воевать с ними.

…Провокации на границе бывали и раньше. Но когда из черных тарелок репродукторов, развешанных на высоких столбах, вылетели скрипучие слова, и вещи были названы своими именами, людей охватила паника. Знали, что зло неизбежно, но не хотели верить, что оно уже пришло. Снова были каникулы. Опять июнь. Миша с отцом и дедом были в тот момент на базаре, наполненном ароматами спелых плодов и запахами брынзы, рыбы, специй. Вокруг

все гомонили и привычно торговались, здоровались с приятелями и перебрасывались незначительными фразами. Рядом со взрослыми бегали дети. И вдруг все замерло. Мише показалось, что он в огромном павильоне, где невидимый фотограф сказал всем этим людям: «Замрите, я снимаю!». Скрипучие фразы из репродуктора заставили всех замолкнуть и замереть. Только с последними словами люди стали твердить себе и окружающим: «Война! Война! Война!». Некоторые тут же брели к выходу, словно забыв, зачем сюда пришли. Бойкие торговцы перестали выкрикивать, зазывая покупателей и нахваливая свой товар. Новость одним махом прибила всех.

Беня с Яшей на следующий день пошли в военкомат. Там уже собралась огромная толпа. На порог вышел весь издерганный военный в сдвинутой на затылок фуражке и промокшей от пота гимнастерке. Он зычно гаркнул в толпу:

– Остаются только те, кто имеет опыт службы в армии. Остальные – по домам!

Яша еще потолкался среди добровольцев, поговорил с Беней и отправился к родителям сообщить новость. Беня в тот день своей очереди так и не дождался, но следующим утром ему вручили повестку, приказали быть готовым через двое суток для отправки на сборный пункт и отпустили домой. Вскоре стало ясно, что батальоны бессарабских добровольцев будут формировать в Одессе. Ясно было и то, что румыны уже готовы вместе с немцами опять прибрать к рукам этот край. Времени на раздумья не было. Дед принял решение за всех – срочно перебираться в Одессу, где есть родственники, и откуда, если что, можно двигаться дальше. Такое решение принял в те дни не только Мишин дед. Тысячи людей собирали скарб и любыми способами переправлялись через Днестровский лиман…

5

Вся эта суета с подготовкой к отъезду прошла мимо Миши. Он проводил отца только до военкомата и вернулся с мамой домой. Приготовлениями руководил дед, а главным его помощником стал Яша. Начало июля было жарким. Мальчишки носились по городу, лазили по стенам древней крепости и по полдня проводили

на лимане. Плавали, иногда ловили рыбу. Выходить на лодках можно было только по специальным разрешениям, которых у пацанов, естественно, не было. Взрослым стало не до них. Но один за другим уезжали Мишины друзья. Город пустел с каждым днем. Отбыла и семья Рыбаков.

Не скажешь, что Миша никогда не выезжал за пределы Аккермана. Нет, бывало, брал его отец в свои деловые вылазки. Они важно катили на бричке в окрестные богатые села. Но до больших городов было далеко. Трудно даже передать, какой восторг вызвал у мальчика приезд в Одессу. Дед, который бывал здесь до революции, известил всех: «Приехали!». Хотя они были на окраине. Потом еще долго ехали до нужного места. Немножко сбились с пути, но еще дотемна добрались до дома, где жил двоюродный брат деда.

То был обычный одесский дом постройки прошлого века, сложенный из ракушняка в три этажа. По аккерманским меркам дом был огромным. Внутри двора были разбиты палисаднички с цветами и деревьями, лестницы-галереи опутаны побегами дикого винограда. Во дворе всегда было полно народа. Бегали с воплями дети. Женщины стирали белье возле массивной колонки с водой и громко между собой перекрикивались на смеси языков, включавших русско-украинский суржик, слова на идиш, на молдавском и болгарском. И все друг друга понимали.

Блюма первым делом бросилась в военкомат узнать о судьбе мужа. Ей коротко ответили: жив-здоров, проходит переподготовку. Вести с фронтов были менее приятными. Фашисты уже прошли Белоруссию и двигались дальше на восток. С юга враг шел вместе с румынами, которым была обещана вся территория под названием Транснистрия. Уже 28 июля 1941 года противник вошел в Аккерман. Срочный отъезд из города оказался правильным шагом.

За неделю до этого Мише исполнилось одиннадцать. Событие прошло настолько незамеченным, что сам парнишка вспомнил о нем только на следующий день. В Одессе была совсем другая жизнь. Да и вообще, в те месяцы жизнь стала совсем другой. На следующий день после дня рождения Миши город впервые бомбили. Главными целями стали порт, железная дорога, склады и промышленные объекты. По скупым сводкам с фронтов было понятно, что немцев остановить не удается, и они стреми-

тельно движутся вглубь страны, разрушая города и села, уничтожая мирных людей.

Миша хоть и был пареньком озорным и непоседливым, но с началом войны словно вмиг повзрослел. Он беспокоился за отца, уже отправленного на передовую в составе стрелковых частей только что сформированной Приморской армии. Он искал повод пообщаться с дедом и хоть чем-то помочь маме. С Яшей виделся редко. Тот уходил рано утром и возвращался ближе к ночи. Валился с ног от усталости. Целый день Яша работал в порту. Его сила нашла применение. Миша полюбил бродить по городу. От Базарной и Александровского проспекта, в районе которых они обитали, было рукой подать до Греческой площади и Дерибасовской в одну сторону, до Привоза – в другую, а в третью – до большого парка над морем. Дней через десять парнишка отлично ориентировался Одессе, казавшейся ему огромной. При этом мама просила его не бегать на Молдаванку, о которой шла дурная слава, и не болтаться допоздна.

Не моя цель подробно описывать оборону Одессы 1941 года. Об этом сняты фильмы, написаны стихи, песни, мемуары и романы. В тех воспоминаниях немало противоречий. Как, впрочем, не может быть истины, единой для всех. Я в разные годы много общался с людьми, помнившими то время. Спрашивал о тех днях у отца и деда. Сложилась мозаика. Бенцион хоть и был в рядах оборонявших Одессу с первых же дней, но особо на эту тему говорить не любил. Да, он знал, что фашисты берут город в кольцо. Да, он отступал вместе с товарищами в первых числах августа на рубежи в районе Раздельной – Кучурганов. Конечно, замполит им объявил о том, что 8 августа Одесса на осадном положении и фашисты вышли к Днестровскому лиману. Дед помнил, что для поднятия духа им сообщили, что немцы сбросили десант, переодетый в форму красноармейцев в район Аджалыкского лимана, но вся группа была уничтожена. Бойцы знали, что население города помогает строить оборонительные рубежи, что предприятия пытаются выпускать продукцию военного назначения. А вот о том, что последний поезд на восток ушел 13 августа, в войсках разговора не было. Дело в том, что кольцо сжималось. Немцам удалось перекрыть железную дорогу и выйти к Черному морю восточнее оборонявшегося города. Единственным путем сообщения стал морской.

Кто был в Одессе летом, знает, какое в это время здесь изобилие любых продуктов. Все окрестные села стремились выгодно продать горожанам свой урожай. Тем летом было не так. Из прифронтовой полосы запросто не приедешь. Кое-что выращивали в пригородах. Но больше рассчитывали на складские запасы и на то, что подвозили морем. В конце лета ввели карточную систему. К примеру, работник оборонного предприятия стал получать 800 граммов хлеба в день, прочие работающие – по 500 граммов, члены семей – по 400. Еще было положено работающим по три килограмма крупы в месяц, по килограмму сахара и жира. Членам семей выдавали в разы меньше. В большой семье распределять дефицитные продукты было проще. Но возникали проблемы с водой и керосином. В ряде районов города воды не видели сутками. Приходилось таскать в ведрах, бидонах и прочих сосудах, а потом бережно расходовать.

Во дворах с утра жужжали примусы и керогазы. Эти приспособления были незаменимы. На них готовили еду, кипятили воду. Керосином пахло еще похлеще, чем жареной рыбой. В каждой квартире хранился бу́тыль с этой ароматной жидкостью, плотно закупоренный пробкой или бумажной затычкой. В городе была целая сеть невзрачных будок, где отпускали керосин. Очереди к ним выстраивались километровые. Ожидание порой растягивалось на часы. Одна такая будка стояла вблизи Кировского сквера. В очереди к ней застряла порядком подуставшая Блюма, не получавшая в последние дни никаких весточек от мужа. Было начало сентября, но солнце палило по-летнему. Уже третий час Блюма вела житейские беседы с такими же, как она, измотанными и озабоченными женщинами. Сюда долетали обрывки слухов о фронтовых делах. Кто-то говорил, что наши скоро погонят немцев обратно. Кто-то якобы знал, что Одессе дадут серьезное подкрепление. Кто-то, напротив, слышал, что враг вот-вот зайдет в город. Обсуждали последние бомбежки и то, как можно уехать на восток. Говорили, что порт забит людьми и грузами, которые пока некуда грузить. Упоминали названия пароходов, пришедших из Крыма или ушедших в море. За такими разговорами коротали время и отвлекались от тяжелых мыслей. Ведь у многих в окопах на передовой находились мужья, братья, сыновья, отцы.

Сентябрь уже начался, но Миша в школу не пошел. Хотя власти велели начать учебный год и открыли большинство учебных заведений. Работали даже кинотеатры в центре города. Но Миша только что прибежал из дома, куда доставили сообщение из госпиталя. Мальчишка пулей метнулся к бесконечной очереди, нашел мать и закричал:

– Бежим быстрее! Папу ранили!

Блюма растерянно обернулась и тут же закрыла лицо руками. А сын уже тянул ее за руку. Она глянула на него, потом на очередь за керосином. Сказала:

– Я стою тут уже третий час, еще немного осталось…

Но Миша и слушать не хотел.

– Бежим в госпиталь! Ну его, этот керосин!

Блюма на всякий случай сказала, что, может, успеет вернуться, и пошла за сыном. Они двинули по Базарной в сторону моря. Отошли квартала на два, когда в небе появились самолеты со свастикой на крыльях. Рев моторов нарастал. Потом раздались характерные звуки рассекающего воздух металла. Бомбы. Куда от них спрячешься посреди улицы? Потом прозвучали взрывы. В том конце улицы, откуда они с мамой только что убежали, Миша увидел взметнувшееся вверх красно-черное пламя. Оно пожирало ветки деревьев и сильно воняло керосином. Бомба попала в лавку, возле которой стояла очередь усталых женщин…

Миша подумал: «Как хорошо, что мы с мамой остались живы!».

Анатолий Горбатюк

Ужин с видом на Дарданеллы, или «А скумбрию подать забыли?!»

Мы с женой решили провести часть отпуска в море. «Реформа», связанная с уничтожением самой крупной в мире судоходной компании ЧМП, еще не была завершена, а потому я без особого труда зарезервировал два билета на «Литву», которая должна была в июне совершить средиземноморской круиз с советскими туристами.

Побывав в середине апреля на стадионе, где «Черноморец» мерился силами, кажется, с «Араратом», я встретил в перерыве Виталия Николаевича Тынынику, симпатичного моложавого человека лет сорока с хвостиком, известного (ллойдовского) капитана дальнего плавания, который в описываемое время работал в Стамбуле полномочным представителем ЧМП. Поговорили, обменялись новостями… Знакомы мы были давно, близкими друзьями не были, но обоюдную симпатию испытывали. Когда я сказал Виталию о предстоящем круизе, он отреагировал мгновенно:

– Когда, говоришь? В июне на «Литве»? Встречу в Стамбуле, если буду на месте.

…Время в круизе пролетело, как всегда, незаметно. Когда на обратном пути судно пришвартовалось в Стамбуле, чтобы на следующее утро взять курс на Одессу, мы сначала и не поняли, зачем нас приглашают к пассажирскому бюро. И, конечно, подивились такой обязательности моего приятеля: нас встречал Виталий, еще более красивый, чем всегда, в парадной капитанской форме…

Взяв в пассажирском бюро паспорта, мы вслед за Тынынькой спустились по трапу, где нас ожидала машина.

– Ребята, говорите сразу: экскурсия по Стамбулу вас интересует, или поедем сразу обедать?

Ну какая экскурсия в городе, в котором я бывал несколько десятков раз, да и Людмила бывала неоднократно?..

– В таком случае я повезу вас в лучший рыбный ресторан в Европе. Он находится за городом, ближе к Дарданеллам.

Я имел уже достаточный опыт посещения «лучшего рыбного ресторана Европы» в Неаполе, Лондоне, Марселе и где-то еще, но промолчал, оставив это разоблачение, так сказать, на десерт.

Признаюсь: ресторан, раскинувшийся на плато с видом на Дарданеллы, впечатлял своими габаритами, оригинальной архитектурой и количеством огромных аквариумов, кишащих рыбой, в гигантском холле.

– Мы сейчас выберем в зале столик, – предложил Виталий, – а потом вернемся сюда с официантом и с его помощью составим меню.

Но нас уже заметили: только мы разместились у окна с впечатляющей панорамой пролива, к нам подошел элегантный, в безукоризненно сидящем на нем костюме седовласый джентльмен, явно не турок. Он оказался хозяином ресторана и, судя по всему, относился к нашему капитану с явной симпатией. Он сразу же предложил свой план, с которым нельзя было не согласиться.

– Я постараюсь сделать так, – сказал он, – чтобы вы попробовали все наше обширное меню, а потому не удивляйтесь совсем небольшим порциям подаваемых вам блюд. И имейте в виду: вам предстоит довольно утомительная работа.

Он тут же дал указание оказавшемуся рядом официанту, молодому турку лет тридцати с толщенной золотой цепью на открытой шее, пожелал нам приятного аппетита и откланялся.

В ожидании обещанной еды я полез в карман за сигаретами. Тут же раздался легкий щелчок, и возле сигареты оказалась зажженная зажигалка. Так вот он какой – «ненавязчивый» сервис!.. Я почувствовал себя весьма неуютно: за мной следили и угадывали каждое мое желание. Правда, к концу обеда, плавно перешедшего в ужин, я к этим ухаживаниям привык, как привыкаешь ко всему хорошему…

И начался нескончаемый, как показалось, парад подаваемых практически без пауз блюд из меню лучшего в Европе (заметьте, ни малейшей иронии!) рыбного ресторана. Забегая вперед, отмечу:

восемнадцать раз нам меняли тарелки, вилки и ложки, потому что именно столько сортов рыбы мы перепробовали – ровно восемнадцать! Мы и предположить не могли, что рядом с нами обитает такое множество нежнейшей рыбной массы!..

Заканчивался наш ужин традиционным ароматнейшим кофе, который был подан, когда уже смеркалось. В течение всего приема пищи меня, любознательного, мучил вопрос, на который официанты ответа не имели, а хозяин заведения исчез, как нам думалось, навсегда. И вдруг – о радость! – он появился, когда мы допивали кофе, а Виталий производил расчеты с официантом.

– И как вам понравилось в моем заведении? Вкусная ли была еда? Внимательно ли относилась обслуга? – он задавал вопросы как человек, хорошо знающий, какие последуют ответы, и вот здесь возник я со своим коварным, как мне казалось, вопросом.

– Конечно, так вкусно мы, наверное, никогда не ели. Но вот меня крайне удивил тот факт, что среди такого количества рыбных блюд не нашлось места для столь любимой одесситами разных поколений скумбрии. Можно у вас спросить, почему?

Наш гостеприимный хозяин улыбнулся в ответ и произнес:

– Потому что скумбрия исчезла, и исчезла, видимо, навсегда.

– А вот позвольте с вами не согласиться! – запальчиво произнес я. – У меня есть все основания считать, что по каким-то причинам вы – извините за прямоту! – специально лишаете нас возможности отведать уже забытую на вкус черноморскую скумбрию.

– И какие же это основания, если не секрет?

– Никакого секрета нет! Каждый день с раннего утра до позднего вечера у пассажирского причала стамбульского порта стоят шаланды, с которых турецкие рыбаки продают туристам на их глазах зажаренную скумбрию и…

– Так вот вы о чем! – перебил меня со смехом хозяин. – Я готов разнести в пух и прах ваши доводы, только наберитесь терпения и выслушайте меня, не перебивая.

Его рассказ мы выслушали с огромным интересом.

…Когда в середине 1960-х начала катастрофически быстро исчезать черноморская скумбрия, местных рыбаков охватила паника, которая продолжалась до тех пор, пока в Стамбуле не появился норвежский оптовый рыботорговец. Он и предло-

жил поистине дьявольский план, которым с радостью воспользовались местные торговцы рыбой. Он заключался в следующем. В Норвегии закупались контейнеры с замороженной атлантической скумбрией, которая по вкусовым качествам, безусловно, уступает скумбрии черноморской.

…Перед рассветом из холодильных камер стамбульский рыбак вынимал килограммов 200 замороженной еще в Норвегии скумбрии и загружал ею лодку, в которой удалялся от берега на несколько сот метров и встречал восход солнца. Под лучами солнца рыба в лодке быстро оттаивала. Между восемью и девятью часами утра, когда на причал сходят первые туристы, лодки «с только что выловленной рыбой» подходят к причалу и предлагают прямо с лодки зажаренную (вернее, обугленную) на портативной жаровне на глазах туриста скумбрию, которую вкладывают в разрезанную хрустящую свежую булку. Вкусно – язык проглотишь!.. Но в этот раз вся рыба не продалась, килограммов сорок осталось. Эту оставшуюся рыбу вынимают из лодки и доставляют в холодильную камеру, откуда перед рассветом опять извлекут и положат в лодку. Может случиться, что одна и та же рыба может несколько раз подвергнуться заморозке и оттаиванию. Приятного аппетита! Вот такая простейшая схема надувательства доверчивого туриста.

Мне оставалось только поблагодарить хозяина ресторана за рассказ и извиниться за невыдержанность…

Тема эта продолжала беспокоить меня, и я обратился к безусловно умному журналу «Химия и жизнь», который издается с 1965 года. В нем я нашел *возможные*, по мнению ведущих европейских ихтиологов, причины исчезновения из Черного моря скумбрии:

«1. Увеличение численности в конце 60-х годов прошлого века в Мраморном и Черном морях луфаря, тунца и пеламиды, которые являются активными потребителями молоди скумбрии и активно подрывают популяцию.

2. Перелов в 1959-1975 годы всех активных возрастных групп скумбрии, в том числе и нерестовой популяции, произошедший по вине стран черноморского бассейна (Турции, СССР, Болгарии и Румынии), ведущих активную промысловую добычу рыб.

Вследствие этого в условиях антропогенной деструкции окружающей среды постепенное восстановление численности самовоспроизводящейся популяции скумбрии в Мраморном море не произошло.

Немаловажным фактором, нарушившим пищевую цепочку в Черном море и сыгравшим негативную роль в исчезновении скумбрии, стало хищническое истребление планктоноядных рыб – хамсы и шпрота».

Несколько лет назад мне как «главному в узких кругах исследователю причин исчезновения черноморской скумбрии» подарили вырезку из какого-то толстого, судя по глянцу бумаги, журнала, в которой известный болгарский ученый ихтиолог утверждает: если бы мировой науке позарез понадобился хоть один экземпляр черноморской скумбрии, наука бы его не получила – даже вычерпав с помощью мощнейшего насоса всю воду из Черного моря…

К огромному сожалению, давно уже нет среди нас славного ллойдовского капитана Тынынки. С его вдовой Наталией Михайловной, очень энергичной, симпатичной моложавой женщиной, «капитанской дочкой» (ее отцом был прославленный капитан-наставник Михаил Михайлович Вайсман), общаюсь во Всемирном клубе одесситов, членами которого мы являемся.

Почему рано уходят из жизни эти истинные флотские души – капитаны? Часто с грустью вспоминаю Кима Никифоровича Голубенко, Вадима Никитина, Льва Кравцова… К счастью, долгожителями оказались друг детства Александр Назаренко (проживает в США) и переехавший в Германию Феликс Михайлович Дашков. Пусть они поживут подольше – как в известной песне, «…и за того парня»!..

Одесский календарь

Старопортофранковская улица

90 **Евгений Голубовский**
Дом Бориневичей

Евгений Голубовский

Дом Бориневичей

Культурные гнезда Одессы

Дома, которые были на слуху, где собиралась интеллигенция.

До революции к таким «культурным гнездам» относился дом художника Буковецкого. Писал я о доме Добролюбских, о доме Олега Соколова, где возрождены были открытые двери для всех – по средам…

Сегодня захотел назвать еще одну фамилию, когда-то в Одессе очень известную, еще одно «культурное гнездо», связавшее несколько поколений.

Это Бориневичи.

Мне повезло – я часто бывал в гостях у Зои Антоновны Бориневич-Бабайцевой. В «Вечерней Одессе» публиковал очерк о погибшем на фронте Игоре Бориневиче.

Но начну все же с основателя династии ученых – Антона Самуиловича Бориневича, городского статистика, экономиста, демографа.

Открываю справочник «Вся Одесса» за 1908 год. Бориневич проживает на Старопортофранковской, 25.

Бывают же незыблемые адреса – в этот дом в шестидесятых годах, спустя шестьдесят лет, приходил и я к Зое Антоновне.

Антон Самуилович был из крестьян. Его отец поселился в Одессе, здесь в 1855 году родился Антон. Всего добился сам. С десяти лет зарабатывал деньги, чтоб учиться. Поступил на физмат Новороссийского университета в двадцать два года, но за участие в народовольческом кружке был отправлен в Восточную Сибирь.

К этому времени у него была верная подруга, тоже математик, Генриетта Савельевна Финкельштейн. Девушка из богатой еврейской семьи. И еженедельно ссыльнопоселенцу она отправляла книги для занятий.

Как только освободили, Антон и Генриетта обвенчались. Для этого ей пришлось креститься, стать Евгенией Савельевной.

С 1887 года они вновь в Одессе, где Антон Самуилович начинает работать городским статистиком. Это он организовывал в Одессе беспримерные однодневные переписи населения в 1892, в 1897, в 1915, в 1917 годах.

Его статистические работы высоко оценил ученый мир. Но Бориневичу повезло, что на его работы ссылается Ленин в первой же своей книге.

И когда победили большевики, они оставили Бориневичу его собственный дом в полное пользование. Один из немногих частных домов Одессы – Старопортофранковская, 25.

Кто только не бывал в этом доме!

Конечно же, Лев Бронштейн, тогда еще он не стал Троцким, родственник жены Бориневича. Конечно же, Вера Инбер, вновь-таки родственница Евгении Савельевны… Здесь бывали Александр Дерибас и Василий Навроцкий, здесь бывала профессура одесских институтов.

Антон Самуилович стал одним из основателей Одесского института народного хозяйства, доцентом, а потом и профессором. Уехать в эвакуацию он уже по возрасту не смог, но когда Одессу освободили, принял участие в создании книги, посвященной 150-летию Одессы, которое отмечалось 2 сентября 1944 года. Он был редактором этого сборника. И это была его завершающая работа. Он умер в 1946 году на девяносто втором году жизни.

Все четверо детей – Зоя, Людмила, Анатолий, Владимир – стали учеными.

Мне довелось много общаться с Зоей Антоновной Бориневич-Бабайцевой, пушкинисткой, филологом, образованнейшим и мудрым человеком.

Зоя Антоновна была первенцем в семье, родилась в 1886 году. Вторую женскую гимназию окончила с золотой медалью. Затем историко-филологический факультет Высших женских курсов. И всю жизнь преподавала русскую литературу.

У нее были два главных писателя, которым она посвятила свою жизнь. Пушкин и Чехов.

С восхищением я читал ее работу о Чехове, где она доказывала, что чеховский единственный роман – «Драма на охоте» – пародия на бульварные романы. Помню, что мы часами спорили, мне казалось, что в такой форме Антон Павлович зашифровал свои любовные драмы, что это исповедальный роман. Зое Антоновне было семьдесят, мне двадцать, но дискуссии мы вели без поправок на возраст.

Кто только ни приходил в этот дом… Здесь бывал в приезды в Одессу замечательный чтец Дмитрий Николаевич Журавлев, писатель Всеволод Азаров, актеры одесских театров…

Юрий Дынов, когда писал свои «Всего тринадцать месяцев», отдавал на рецензию каждую сцену…

У меня в собрании десяток поэтических книг, в разные годы подаренные мне Зоей Антоновной. Это и Гумилев, и Бунин, и коллективный сборник ленинградцев со стихами Вагинова. И на каждом доброжелательный, теплый автограф первой владелицы книги, чтоб хранились как память.

В годы оккупации Бабайцева работала, преподавала. Ходила, как на иголках. Мать – еврейка. Это могло стоить жизни. Была на связи с подпольем, чтоб в минуту опасности уйти… Не пришлось.

У Зои Антоновны детей не было. Брак с биологом Барановым распался перед революцией. Всю нежность она отдала племяннику Игорю, сыну Владимира Антоновича. Игорь был поэтом, в нем с юных лет угадывался литературовед. Как-то Зоя Антоновна показала мне старинный ботанический атлас с прекрасными рисунками, обратив мое внимание на дарственную надпись: «Будущему ученому – от ученого». Эту книгу Антон Самуилович Бориневич подарил своему юному внуку, почувствовав в нем тягу к систематике.

Тогда, помню, я обещал Зое Антоновне поискать материалы об Игоре и написать о нем очерк. Просидел несколько дней в публичке, встречался с профессором Недзведским, который руководил его работой, списывался с Краснодарским краем, где в 1943 году погиб лейтенант Игорь Бориневич… Тогда-то и вышла в «Вечерке» статья «Когда приходит почта полевая»…

Писал бы сегодня – вспомнил бы другую строку о военных почтальонах – «И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас…». Игорь Бориневич на фронте был военным почтальоном.

Он родился в Одессе в 1918 году. Отец известный селекционер, мама – библиотекарь.

А у парня были два любимых поэта – Маяковский и Багрицкий. И это определило выбор – литературный факультет педина.

Как Зоя Антновна ни уговаривала заняться Чеховым, не согласился. «Не мое». И просиживал часами в библиотеке, составляя первую библиографию одесских публикаций Багрицкого. Когда я писал очерк об Игоре, эта библиография хранилась у профессора Недзведского. Где она сейчас – не знаю.

За два года до начала войны Игоря призвали в армию. Уже готовился возвращаться домой, вернуться к науке, но началась Великая Отечественная…

Письма с фронта, что писал Игорь, малоинформативны. Жив, здоров, воюем… Я держал в руках эти военные треугольнички.

Но куда больше узнал об Игоре, прочитав книгу «Письмо» – рассказы о военных почтальонах, вышедшую в 1946 году. Один так и назывался – «Бориневич воюет».

Оказалось, что о нем в дивизии выпустили специальный боевой листок – «Воевать так, как воюет Бориневич».

Почтальон воюет?

Да, оказалось, что Игорь с его систематикой добрался до комиссара связи, генерал-лейтенанта Пересыпкина, который по рапортам лейтенанта Бориневича внес изменения в инструкцию военному почтальону. Действительно, найти солдата бывало сложно, особенно после ранения. Нужно было создать систему, чтоб письмо находило бойца, – и Игорь это сделал.

Он вел дневник, хоть это было запрещено. Но литератор оставался литератором. Мне прислали из Краснодарского края копию странички, чудом уцелевшей и хранящейся в музее:

«Уставший от боев и бессонных ночей, батальон, отведенный в ближний тыл на отдых, сразу уснул. Превозмогая усталость, я удерживал себя от искуса сразу лечь спать и отправился в штаб полка за почтой. Я тихо будил товарищей и вручал им письма.

Федя Навка получил от семьи долгожданное письмо. Он мгновенно исчез, но тут же появился с баяном через плечо. И люди, полчаса тому мечтавшие о постели, пошли в пляс, забыв о тяжелых бессонных ночах.

И в эту минуту показалось мне, что именно почтальону посвящены великие строки поэта:

Я знаю силу слов, я знаю слов набат.
Они не те, которым рукоплещут ложи.
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых ножек…»

Это вся страничка из блокнота Игоря. И на фронте с ним был Маяковский.

10 апреля 1943 года, за год до освобождения Одессы, батальон попал под тяжелую бомбардировку. Среди раненых был Бориневич. Спустя несколько дней он умер в госпитале.

Долгие годы после войны в этот дом приходили боевые товарищи Игоря Бориневича. И им всегда были рады.

Странноприимный дом.

Какие-то квартиры в нем Зоя Антоновна предоставила своим друзьям. Так, там жил писатель Владимир Михайлович Гридин, вернувшийся из ГУЛАГа, жила семья Новаков, с которыми моя мама дружила с довоенных времен. Я как-то писал, что первые стихи, которые запомнил, были стихи Симонова, что Мура Новак читала мне в эвакуации.

Если бы установить мемориальные доски всем домочадцам, именитым гостям Бориневичей, стены бы не хватило. Может, поэтому дом молчит, лишь вздрагивая, когда проходит 28-й трамвай.

Когда-то художник Геннадий Гармидер нарисовал серию пейзажей Одессы, где над каждым домам летали ангелы с лицами тех, кто жил в этих домах.

Какое бы пиршество ангелов собралось сегодня над домом по Старопортофранковской, 25!

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Проза

96 **Владимир Каткевич**
Фауст

104 **Андрей Потапов**
Нечаянный круиз

116 **Рада Полищук**
Одесские рассказы

127 **Леонид Лейдерман**
Старокрымский синдром

142 **Евгений Деменок**
Калейдоскоп

Владимир Каткевич

Фауст

Рассказ

1.

По «голосу» передали, в Монтего-Бее с НИСа «Рахманинов» убежал лаборант. Попросил политического убежища. Или жвачки. От Мартиники, где стоял «Борей», до Монтего-Бея на Ямайке два суточных перехода – все в пределах архипелага, даже не за околицей околотка.

– Будет в рыгаловках посуду мыть, – отреагировал второй механик «Борея» Бурмила. Как учили.

Машина особенно не заморачивалась: убежал и убежал. Правда, спросили:

– А что такое НИС?

– Научно-исследовательско-разведывательное судно, – расшифровал третий электромеханик Николайчик.

Через трое суток у них самих на «Борее» пропал рефмашинист Фауст Де-Рибас. Из разботившейся династии адмирала Хосе Де-Рибаса. На вахту потомок не вышел.

– Фаустпатрон перехезал, что намылят фэйс, – предположил сменщик Матюк.

За неряшливо сданную вахту. На пароходе не станут кого-то обрабатывать, у всех забот выше марсовой площадки. Но салагу в каюте не нашли.

Юноша с необычным именем Фауст окончил семнадцатое училище и к технике относился нельзя сказать наплевательски, снисходительно. Несмотря на зелень, к другим придирался без скидки на возраст и заслуги, самооценка у салаги была явно завышена. Приступами романтики потомок адмирала не страдал,

как, кстати, и однокашники, их штук десять прислали на пароход по распределению.

Рундук Фауста украшала репродукция лошади с влажными грустными глазами. Неживым укором для людей доброй воли. Фауст нацелился в воронежский сельхоз, единственный вуз, где еще не разогнали факультет коневодства. Кстати, к копытным Де-Рибас тоже относился снисходительно, но с дальним прицелом, надеялся сорвать банк на бегах. Матюк пошукал, юркнул в дизельное и сказал:

– Во вспомогаловке оленевод не водится!

– Я Фаустпатрона снял, чтобы пылюку вытирал в главной машине, – буркнул второй механик Бурмейстер унд Вайн. – Хватит груши околачивать!

Самум из Сахары поднял тонны мелкой пыли, циклон перенес ее за тысячи миль и припудрил пароход аж в Бермудском треугольнике (!), надстройка из ослепительно белой стала сдержанно бежевой. В машине две вахты чихали с протестными криками «апчх…й», драили силовую установку. Вахтенный механик Бурмила мобилизовал салагу протирать ветошью все что видит. Если эту работу выполнять подробно, то не хватит и трех месяцев.

– Драить, чтоб все блестело, как абрикосы у того коняги! – обозначил задачу Бурмила, он имел в виду «Медного всадника», которому выпускники морских заведений после защиты дипломных работ якобы драят литые абрикосы. Глупая традиция устарела, даже девушки не прыскают, и будоражит исключительно маринистов со стажем, отставших от жизни.

Часа через два Бурмейстер унд Вайн пошел проверить результат, но Фауста не обнаружил. Совсем. Бурмила одышечно вскарабкался на верхние решетки, это примерно высота костела на Карла Маркса, добрался до капов, световых люков, и увидел женские варикозные ноги. На променад-дек. Немка поправила прокладку. Чтобы не смущать, Бурмила повернулся к даме сутулой спиной. Пассажирка, однако, успела заметить на лопатках матерого кочегара цветное изображение галеона в полном парусном вооружении. Самое забавное, что наколка делалась в ее родном Гамбурге в сорок шестом, когда одесситы получали по репарации и лотерее (!) немецкий рудовоз «Бохум» («Генерал Черняховский»).

В третьем трюме обосновался немецкий художник-татуировщик. Немец под Сталинградом потерял руку, клиенты трафарет придерживали, работа продвигалась медленно, но живая очередь из кочегаров инвалида не торопила.

Наконец галеон доплыл до ЦПУ, центрального пульта управления, где снятую с крючковатых рычагов-захватов трубку держал пожилой моторист Жижа. Жижа передал Бурмиле трубку, как раскаленную головешку.

– Тыщ капитан, нема его в машине! – авторитетно доложил Бурмейстер унд Вайн.

Но даже пропажа человека не смогла нарушить кульминационное мероприятие по определению в полдень долготы. На осточертевшую кульминацию явились, зевая, все свободные от вахт и работ штурманы. Кульминацией на этот раз стал визит на мостик главного механика Мао с котельщиком Бинидюком. Мао нервно вытащил из кармана вечно ремонтируемый будильник, тыкнул отверткой размером со спичку в зубчатое колесико и процедил Бинидюку:

– Пойдешь под суд. Запишем в акте № 1 «*стрыбок за борт*».

То, что стрыбок случился, было очевидно. Мао приказал Бинидюку повторить добровольное признание для товарища капитана. Выяснилось, что накануне событий начинающий мотормен Де-Рибас, заметил, что Бинидюк прихватил из машинного отделения бухту капронового фала.

– Кого на буксир берешь? – исхитрился Фауст.

– Ночью скупаемся, – буркнул Бинидюк. – Жарко… – будто купаться ему обрыдло. Но он привык.

– Как скупаетесь? – опешил Фаустпатрон. – На переходе?

– Одеваешь монтажный пояс, привязываешься до фала и вылазишь в люминатор, – обкатывал салагу Бинидюк. – Глиссируешь на пятках, поза судном, наперегонки с летучими рыбками. Двое травят кончик. Потом сменяются. А в бассейне с мочой пусть квасятся фронцы!

– А мне можно? – Фаустик представил, как выходит на редан, глаза его загорелись. Он был падок до авантюр, как и пращур.

– Не, не можно, скорость восемнадцать узлов, – приосадил Бинидюг. – На траверзе Вирджинских островов сбавим обороты, можно будет спробовать.

– С «Рахманинова» лаборант убежал, – напомнил помполит Тупиков, хотя об этом все знали. – В Кюрасао. Попросил убежища.

– Не в Кюрасао, а Монтего-Бее на Ямайке, – поправил старпом Ложный-Сложный.

– Тем более, – сказал Тупиков.

Почему «тем более»?

А что если Фаустпатрон вдохновился побегом? Может, уже разнюхал, что в Пенсильвании есть факультет коневодства. Напялил лайф-джекет – и прощайте, красотки! Сиганул назло Тупикову. Везде острова понатырканы, можно доплыть. Если экономбрассом. Правда, можно и не доплыть.

В том числе не исключено, Де-Рибаска рассчитывал, что Матюка накажут. Шутка ли – поставить на циркуляцию пароход с пассажирами. Завышенная планка Фауста позволяла надеяться.

Капитан кинулся с Мао в каюту машинистов и увидел капроновый фал, протянутый в иллюминатор. Один конец фала привязали двойным шкотовым к трубе углекислотного пожаротушения. Боцман Катеринка выудил свободный конец фала.

– Конец размохлен! – доложил.

Хоть конец и лохматился, пряди торчали на одном уровне, значит, фал не перетерся, не оборвался, а был одним махом обрезан.

Выяснили причину. На стоянке в Бриджтауне котельный машинист Бинидюк заманил к борту местного пирожника (на пироге с балансиром). Чтоб разжиться у негра пальмовой щетиной. Зачем? Бинидюк, конечно, с причудами, но у него была зыбкая кручина. Бинидюку почему-то снилась не сельская пастораль, а больше сельская чернуха, колхозное убожество, тракторная бригада, культиваторы, уборка гороха… И он решил изменить репертуар, вломить, как говорится, богу морфию по самые абрикосы. А как? Очень запросто, набить экологически чистой волосней наволочку подушки. Чтоб снились южные страны. Или бурлеск. Барбадосец подплыл к борту, и Бинидюк по концу смайнал для ченджа кулек с плавлеными сырками «Весела коривка». Островитянин ответно привязал копну колючей трухи. Но копры оказалось с гулькин хрен, да еще она зашибала рыбой. Тогда не пальцем деланный Бинидюк подтянул менялу на три метра к иллюминатору и сообщил: «Ты меня, курва, кинул, теперь моя очередь!». После оглашения

приговора Бинидюк иезуитски, глядя жертве в расширенные зрачки, обрезал кончик. И даже успел плюнуть. Меняла рухнул в пирогу, спустил шорты, демонстрировал гениталии, выражался по-русски, пассажиры снимали дармовой стриптиз на камеры.

Бинидюку, спровоцировавшему к стрыбку Фауста, обещали завернуть уголовное дело.

– Есть такое дево, чтобы сердце пево, – съехидничал Жижа.

Он «эл» не выговаривал.

У Мао все-таки был сумрачный нюх, и он развернул поиски Фауста в машине. По следам…

Когда поднялись к капам, услышали ослабевший голос:

– Я здесь!

К переборке на крепежных скобах были прикручены запасные цилиндры главного двигателя, из втулки торчала тощая нога Фауста. Оказалось, салага решил примерить свою фигуру к цилиндру, такие опыты занимательны в безоблачном возрасте.

– У нас в школе хулиган Литвак надел на «свисток» гайку, – вспомнил Николайчик. – И возбудился. Учитель труда Наум Абрамыч зажал гайку в тиски вместе с органом и распилял ножовкой.

Слушатели морщились, когда представляли, как трудовик ювелирно пилял.

Фауст продел воробьиную фигуру в стальную втулку цилиндра легко, но зеркальная поверхность не позволила выкарабкаться из зеркально полированной трубы высотой с Йети. Салага звал на помощь и, пардон, оправлялся вниз. Из-за басовитого гула дизелей его не услышали, а вот кучка под цилиндрами оказалась маячком. После того как Фаустпатрона выковыряли из втулки, Бурмейстер унд Вайн изрек:

– На хитрую жопу знаешь что есть? Ты кричать должен как оглашенный, голосно. А ты как работаешь, курва, так и кричишь. Тьфу! – он воспринимал потомка адмирала как растение.

О счастливом конце нелепой истории с заблудившимся во втулке цилиндра пацаном со странным именем Фауст пассажирам сообщила Бася Марковна, совладелец парижской туркомпании «Трансконт», чиф-менеджер стаффа. Доложились и по радиосвязи в Одессу. Родственники Де-Рибаса уже бомбили министерство морского флота.

– Браво, Фауст! – скандировали пассажиры.

На променад-дек аплодировали. Просили не наказывать салагу. Мао обещал дурака не списывать в Дакаре, но для острастки все-таки вручил Фаустпатрону обходной лист. Фауст наябедничал Басе, и Мао в ее присутствии обходняк порвал. Правда, второй экземпляр ушлый Мао запер в сейф и многозначительно заметил:

– Чтобы байстрюк был в пределах *достигаемости*.

Получил «папир счастья» и Бинидюк.

– А меня за что? – спросил Бинидюк, он разыграл Фауста.

– Ты нарушил правила поведения советского моряка за границей! – сказал менторским тоном Мао. – На тебя завернули уголовное дело. Ты, конечно, можешь пойти на сделку со следствием, но покушение на убийство налицо.

Бинидюк в отчаянии пытался искать покровительства у Баси.

– У меня сегодня неуверенное сэрдцэ! – бортонула его Бася. – Я же не ваш старший кочегар! Что вы из-под меня хочете? Ну в самом деле!

У парижанки Баси были одесские корни.

2.

Судно стало в якорной точке на рейде. Пассажиров возили на берег мотоботами. Команды мотоботов мусолили эпизоды выдергивания скитальцев морей из привычной среды обитания.

– У нас Вика Майстренко закинула ведро на кончике, – вспоминал дикость подшкипер Шерстюк. – В ходу. Чтоб набрать воды, ведро ее и утащило…

– Что-то я не слышал, – въедливо уточнял боцман Катеринка. – Где?

– Ты простой, как та раштовка. Как ты мог слышать, если траулер «атлантик-тропик» не одесской, а севастопольской приписки? Подобрали болгары. Через шесть часов…

– Она неживая была?

– Дрейфовала курсом к Борнео. На перевернутом ведре. Ведро, правда, было большим, на двенадцать литров. Болгары передали по УКВ: «Примите девойку».

«Она жива?» – спросили с траулера. «Адыхает в ленкомнате».

Штормило, и болгары передали Вику в корзине-клетке. Как попугая. Смайнали грузовой стрелой. Вместе с ведром.

– Ну и что дальше? Списали?

– Почем я знаю? Другары передали на прощание: «Полные семь футов вам и полные 300 грамм!».

– А Дима Троян смайнался за борт на «Нищем»… – включается Жижа. – Помнишь, Николайчик?

Моториста Трояна уволокло в Индийский океан в процессе стирки с кормы сухогруза «Демьян Бедный». Моряки-«шестидесятники» еще не были избалованы барством, стиральную машину заменял тугой бурун за кормой. Робу в ходу бросали на конце за борт, а через сутки вынимали то, что от нее осталось. Троян нанизал на конец, как на кукан, два комбинезона и еще рукава привязал. Конструкция образовала водяной якорь, и на траверзе острова Сокотра кокон выдернул незадачливого моториста.

«Демьян Нищий» лег на обратный курс, и через восемь часов отставшего подобрали. По счастливой бульбометной легенде, от акул Трояна спасали дельфины, хотя ни акул, ни дельфинов у плавголовы никто не видел. После переживаний моторист стирал робу исключительно в тазике.

– Трояндыч, не пора ли гнидник освежить? – заводили утопленника.

Подначки задевали, и Троян злобно протыкал капроновый конец толщиной с дерево пальцем, как свайкой. Он был железным человеком.

* * *

Пассажиры ошиваются на берегу Шарлотты-Амалии, экипажи мотоботов до возвращения фронцев «гуляют» в карты. Тихо, вода в лагуне, как разбитое зеркало, на поверхности какой-то здешний тростник плавает. На тростинках балансируют голенастые птахи, похожие на Басю.

– Вашего Фаустпатро-он-а-а, кажется, нашли-и! – кричат в матюкальник с мотобота № 5, в двух кабельтовых.

– Он живой?

– Не знаю-у! – отвечают с мотобота № 8.

– Где нашли?

– Его не нашли-и-и. А кто он?

Апофеоз. Принц Драже не танцует па-де-де! Кордебалет лузгает семечки.

– Кто он-н-н? – донимают. Матюкальник фонит, сиротливо, но бездушно.

На борту 312 морских душ. Только экипажа. Цифра плавающая, в прямом и переносном смысле, больных, устойчиво дурных, беременных, социально и профессионально опасных заменяют самолетами: в Венесуэле, Барбадосе, Пуэрто-Рико. Или благословляют на советские суда.

У всех вахты, подвахты, ненормированный рабочий день, учебные тревоги, золушки из пассажирской службы по ночам стирают вручную фронцам бельишко, бамбинам на молочишко… Потом ходят, как сонные мухи. Можно на третий месяц рейса обнаружить в столовой новое лицо. А можно и вообще не заметить. Прибьется на пароход беглый лаборант с «Рахманинова», хотя это и размашистый гротеск, но случись такое, его сердешного подхарчат на дармовщинку, тропического шмурдячка из чайника щедро плеснут… Но этот рогатый вообще не знает, что человек пропал, растворился в мареве. Сегодня кто-то за борт сыграл, а завтра он…

А в принципе, принц Драже готов уступить место в мотоботе и круг. Так что не будем дуть губки!

Андрей Потапов

Нечаянный круиз

12 июня 2020

– Здравствуйте! – послышалось в трубке у главврача Санкт-петербургской инфекционной больницы. – Я слышал, у вас полно свободных мест.

– Да, – не без гордости ответил профессор. – Есть деловое предложение?

– Скорее дипломатическое, – осторожно ответили на том конце.

– А кто спрашивает? – напрягся главврач.

– Министр.

– Какой такой министр?

4 января 2020

Ромочка, это пишет твой папа Израиль Сигизмундович. Мама, как всегда, в своем репертуаре. Толкает меня в бок и приговаривает, что ты в курсе, как зовут отца. Но правила хорошего тона никто не отменял, Сарочка, поэтому я не ничего не сотру.

Мы прилетели в Пекин, уже поселились в отеле. Конечно, без приключений не обошлось. Прямые билеты из Тель-Авива встали бы нам слишком дорого, и, посовещавшись, мы выбрали маршрут с пересадкой через Франкфурт, который пока еще на Майне. Окно между самолетами оказалось слишком коротким, и мы еле успели к закрытию ворот. Пока ехали к другому терминалу, мама вся извелась, пила капли. Хорошо, что мы проскочили, иначе бы капли пил уже я.

Стоя возле багажной ленты, Сарочка снова хваталась за сердце. Толпа китайцев, спешно рассасываясь, разбирала сумки, как

на базаре, а наших все не было. Позже выяснилось, что поклажу не успели перекинуть на следующий рейс, и нам пришлось писать заявление об утере багажа, консультируясь с какой-то глухонемой, по ощущениям, девушкой.

Уже в номере я даже сказал твоей маме спасибо за то, что заставила меня положить запасное белье в ручную кладь. Как бы я ни отмахивался со словами «Не надо, чтоб они там себе в рентгене видели мои трусы», Сарочка была права.

Очень неудобно тыкать мышкой в виртуальные клавиши. Мало того, что я ни черта не вижу, так у китайцев, еще и ко всему, нет русских буковок, и я вынужден изощряться. Скоро привезут багаж, уже звонили. А завтра мы поедем смотреть город и окрестности. Разогреваемся перед Великой Китайской стеной.

Так что до связи, сынок. Мы тебя любим.

11 января 2020

Представляешь, всю неделю мотались по Пекину, как ошпаренные, сил не оставалось написать. Сегодня мы вернулись пораньше, и портье снова любезно одолжил мне компьютер.

Чего мы уже только не навидались! Больше всего запомнился Запретный город. Смешно загнутые азиатские крыши смотрят в небо, пестрея цветами, как из старых мультиков. Когда мама услышала, что в комплексе около десяти тысяч комнат, первым делом она спросила, у кого хватит сил их убирать.

А вообще, китайцы странные, конечно. Носятся по улицам, облепляют тротуары, что мошкара по весне. Ты бы видел, что они едят! Не хочу об этом думать, иначе пропущу ужин.

Завтра наконец поедем смотреть стену, а потом нас ждет Шанхай.

21 января 2020

Я тебе скажу, Ромочка, что их Китайская стена не такая уж и великая. Если даже наш Давид смог ее пройти насквозь, то грош цена такой постройке. Правда, всю дорогу пришлось успокаивать маму. Не знал я, что она боится высоты. Сорок лет вместе живем, и тут такие новости!

Как мы добирались до Шанхая, это отдельная история. Нас никто не понимал, и мы никого, конечно. Пришлось покупать карты и учиться находить одинаковые иероглифы, чтобы сопоставлять маршруты автобусов с названиями их деревенек. Один раз мы все-таки сели не в ту сторону. Зато прокатились дважды по мосту через речку Янцзы, а в Наньтунском автовокзале меня чуть не заставили принять буддизм.

24 января 2020

Что-то не нравятся мне последние новости. Когда мы поднимались на обзорную площадку «Жемчужины Востока», узкоглазые приятели смотрели в телефоны и обеспокоенно перешептывались. Сначала мы не обратили внимания, но вскоре народ стал расходиться, ускоряя шаг, и Сарочка потащила меня в номер. Судя по их телевизору, та непонятная пневмония довольно заразная и даже успела до Шанхая добраться, несмотря на добрых восемьсот километров от источника. Похоже, вечером объявят карантин не только в Ухани. Мама предлагает лететь обратно, а я не хочу прерывать отпуск из-за того, что какой-то шлимазл съел заразную летучую мышь.

Будем держать тебя в курсе. Только не волнуйся, все будет хорошо.

25 января 2020

Ромочка, планы меняются. Карантин таки ввели, да еще и шанхайский аэропорт закрыли. Мы думаем над вариантами. Скорее всего, поедем в круиз. Так получится аккуратно вынуть себя из Китая и поместить в нормальное место, где самолеты ходят. То есть летают, Сарочка. Конечно, летают.

28 января 2020

Можешь нас поздравить! Мы попали на лайнер. Сарочка, конечно, была против, чтобы мы столько разом потратили, но я твердо настоял на своем. А вдруг конец света, говорю.

Выглядит оно все ну совсем как космический корабль, только плавает не среди звезд, а по воде. Корма – большой балкон, вся в стекле, выдающаяся. Оттуда хорошо смотреть, как удаляется берег, и вода окружает тебя со всех сторон.

Тут все удобства. Можно, например, поплавать в бассейне с волнами или прыгнуть с парашюта, почти как в жизни. Может, займусь на старости лет всякой виртуальной ерундой, на которую в реальности здоровья уже нет. А маму твою оставлю сидеть с роботом-барменом. Пусть он слушает, что ей сегодня приснилось.

P. S. После этой фразы шея еще не прошла.

1 февраля 2020

Что называется, приплыли. Мы сейчас стоим у причала Йокогамы. Пустить судно пустили, а на берег сходить нельзя. Японцы, зная, откуда мы, решили не рисковать. Сарочка очень расстроилась. Все теребила меня за плечо и показывала шпиль обзорной башни, который видно даже из порта. Сколько я ни твердил, что шанхайская елочная верхушка превосходит ее по высоте, мама упорно хвасталась своим врожденным глазомером. Я уж не стал напоминать ей, как она повесила недавно картину в прихожей. Пусть походит довольная.

Пока с капитаном что-то там решают, мы пошли прогуляться по верхней палубе и наткнулись на соседей по каюте, семью немцев. Детишки очаровательные, а вот их отец, некто Ганс Штуденбекер, мне сразу не понравился. Он прямо сказал, что его дед служил в гестапо, и заранее просил прощения за возможные трудности в общении. Хотя ноутбук одолжил. Интересно, догадывается ли он, что́ я пишу на его собственной клавиатуре?

2 февраля 2020

Ромочка, ты не поверишь, но мы плывем обратно в Китай! Вроде бы в порядке исключения нас смогут отправить домой. Капитан сказал, что ради экономии топлива, которого уже мало, мы сильно сбросим скорость, и дорога будет в два раза дольше. Я, в общем-то, не огорчен. Здесь намного интереснее, чем дома. Я уже пару раз сходил в бассейн, а завтра хочу прокрасться на прыжки с парашютом, пока Сарочка будет занята на камбузе.

На все твои возможные вопросы отвечу сразу: да, маме не понравилась здешняя еда, и она решила показать профессиональным поварам, как надо готовить. Самое смешное, что менеджер ресторана оставил попытки спорить с ней, когда увидел, что

Сарочка схватилась за нож и принялась демонстративно резать лук, а потом расплакалась. Бедный итальянец бросился ее утешать, мило приговаривая на своем языке: «Скузи, сеньора!».

Я уже полчаса набираю это письмо, и Ганс нехорошо на меня поглядывает. Думаю, стоит вернуть ему ноутбук.

3 февраля 2020

Я просто обязан поделиться с тобой впечатлениями!

Симулятор оказался настолько популярным, что я час ждал своей очереди. Даже с учетом нереальности прыжка сердце билось, как умалишенное. Хорошо, давление чудом не подскочило, а то я пошел бы красными пятнами, а Сарочка это сразу замечает.

Кстати, насчет твоей мамы. Ее кулинарные изыски кончились тем, что мне пришлось кучу времени держать противень, пока наша хозяюшка очищала его от подгоревшего теста. Зачем, зачем она решила добавить столько сахара? Наверное, современная молодежь показалась ей какой-то недокормленной.

5 февраля 2020

Так вышло, Ромочка, что пишу я тебе прямо из номера Штуденбекеров в одном халате на голое тело.

Занесло меня опять в бассейн. Никого вокруг не было: в большом кинотеатре сегодня крутили свежий сериал по «Звездным войнам» с неприличным названием. Озвучивать не буду, ты и так поймешь.

Устав от размашистых движений руками, я просто упал на воздушный матрац, наслаждаясь покачиванием на мелких волнах. Кто ж знал, что в момент легкий бриз обернется штормом, и меня окатит серьезным напором воды. Захлебываясь, я услышал приглушенное «Шайзе!» и ухватился за поролоновую колбасу, которую мне протянул Ганс.

Представляешь, так он хотел проучить меня за то, что мешаю ему работать, пока пишу тебе. Только с режимом он переборщил. Ну ничего, зато теперь мне позволено сидеть за ноутбуком столько, сколько я посчитаю нужным.

Сарочка ничего не знает, и это греет душу.

11 февраля 2020

Здравствуй, Ромочка!

Пишет тебе мама, потому что у папы нет мозгов. Говорила я ему не купаться так часто. Вот, слег теперь с температурой. Дошло до того, что Изю отправили в отдельную палату. А то вдруг у него коронавирус. Так эта зараза называется вроде.

Сейчас у всех пассажиров забирают кровь на анализ. И все из-за твоего отца: он один умудрился заболеть по пути в Шанхай. Из четырех тысяч человек!

Как ты уже догадался, никто не сможет сойти на берег, пока китайцы не удостоверятся, что мы здоровы. Теперь бог знает сколько простоим у причала.

Береги себя и жди новостей. Целую.

21 февраля 2020

Изя просто невозможный. И за что мне только этот гембель на голову свалился…

Как только температура спала, твой папа начал требовать, чтобы его сняли с карантина. Сто раз же говорили: пока результатов не будет, не выпустим. Так знаешь, что сделал наш красавец?

Он разбил телевизор и затребовал разговора с капитаном. Хотел взять его на хап-геволт, да только промахнулся, и теперь нам оплачивать ущерб. В том числе моральный.

Из палаты сразу убрали все, до чего он еще мог дотянуться, а меня приставили следить, чтобы он не сильно буянил.

Зато я теперь буду рассказывать ему о снах, а то робот-бармен забанил меня.

1 марта 2020

Ромочка, ты только не волнуйся. Пришли результаты анализов. Оказалось, что Изя подхватил коронавирус.

Странно то, что чувствует он себя хорошо, и температура больше не поднималась.

У остальных пассажиров инфекцию не обнаружили, так что папу продолжают держать в изоляции одного. Конечно, с такой красотой под боком китайцы даже не думают кого-то пускать

на берег. Придется нам плыть до Африки, где пока нет таких жестких мер. Глядишь, там и повезет улететь домой.

Папа просил передать, чтобы ты был молодцом и сам не заболел. Мы очень переживаем за тебя.

19 марта 2020

Сынок, ты будешь смеяться, но мы не сможем улететь!

После нескольких упертых стран в Южной Африке разрешили сойти, и надо же было Нетаньяху именно сегодня объявить карантин. Да и видел бы ты, как все покидали лайнер. Пассажиры так испугались Изи, что полезли на трап всей гурьбой, пока отважный матросик тормозил их, приговаривая: «Он проломится!». Мы прождали несколько часов, пока борт опустеет, чтобы сойти в отдельном порядке. Изю запаковали в набор юного космонавта, а мне просто дали маску как потенциальному носителю. Не знаю, что они там себе думают, но я бы и сама не пустила нас на берег. Хорошо, что они – не я.

Оставаться здесь дольше, чем на день, все равно запретили, поэтому придется искать другое судно, чтобы добраться поближе к дому. Там, глядишь, и карантин снимут.

20 марта 2020

Это путешествие пустит нас по миру. Единственное, чего мы добились, и то за непомерную цену, – разместиться на небольшом торговом суденышке, пока не достигнем Северной Европы. Нас уже предупредили, что связи в море не будет, поэтому писать получится крайне редко.

Изе строго наказали жить в госпитале. Конечно, папа сражался как лев за место в каюте, бил себя в грудь и говорил, что «тесты ваши бракованные», но его никто не слушал. И вообще, экипаж косо на нас поглядывает. Принесли на борт коронавирус, гады. Но ничего, я им приготовлю свой фирменный леках, и они нас сразу полюбят. Во всяком случае меня.

15 апреля 2020

Ромочка, это папа. Почему ты не ответил на предыдущее письмо? Надеемся, у тебя все в порядке.

Сарочка падала в обморок, и ее вынужденно поместили в госпиталь. Теперь мы на карантине вместе. А знаешь, почему?

Когда судно проплывало у берегов Нигерии, за нами увязалась лодочка. Все говорили, что это пираты. Только не такие веселые, как в Карибском море. Какой-то юморист предложил мне заразить их короной. Вообще не смешная шутка.

Капитану пришлось петлять и отрываться от лодки. Вот мама и разволновалась.

И хотя я сплю теперь на матраце (койка всего одна), даже радостно слушать бормотание Сарочки обо всем на свете. Милостью одного индусского офицера я целыми днями следил за судьбой Ананди и Жагдиша в каком-то странном сериале, но теперь могу отвлечься.

Ромочка, ответь, не расстраивай маму.

10 мая 2020

Когда мы вернемся, Ромочка, ты получишь. Мог бы отвечать родителям!

Твой папа решил, что он крутой моряк, и хапнул в Ирландии пива. Раз не пускают в порт, сказал он, это не повод отказываться от «Гиннесса». Стоит ли говорить, что в числе продуктов баржа привезла много-много ящиков с этой дрянью? Правда, в экипаже все такие шутники. Изе принесли пару бутылок «Короны» и долго стояли под дверью, чтобы насладиться реакцией.

А еще на борт не везут экспресс-тесты на вирус. Говорят, их уже перестают выпускать. Папа выглядит здоровым, но проверить мы это не можем.

12 июня 2020

«Нам только что передали информацию. Пока все страны отмечают снижение уровня заболеваемости, в Северном море болтается грузовое судно с подтвержденным случаем коронавируса. Не удостоверившись, что на борту все здоровы, страны Европы отказываются пускать «Indian Summer» в порты. Однако у них нет тестов, и команда не в состоянии предоставить достоверные данные. Мы будем следить за развитием ситуации.

И к другим новостям. Больницы Санкт-Петербурга сообщили, что выписали последнего выздоровевшего…»

Экран потух от нажатия кнопки. Человек в отражении решительно куда-то направился. Из угла комнаты послышалось:

– Здравствуйте! Я слышал, у вас полно свободных мест.

13 июня 2020

– Вы в своем уме? – громко произнес Израиль Сигизмундович, расхаживая по каюте капитана. – Не для того я в юности учился рвать зубы, чтобы вернуться в Россию с позором.

– При всем уважении, – отвечал капитан через маску. – Это единственное место, где нам разрешат сойти. Сейчас мы все повязаны. А я домой хочу. Дочка уже, наверное, совсем выросла.

– Я бы так не радовался на вашем месте, – парировал Изя. – Взрослея, они перестают даже отвечать на письма.

– Я уверен, с почтой какой-то сбой. Вряд ли бы сын забыл про вас.

– Хорошо, и как вы это видите? – еврейский стоматолог сел на диван. – Они же явно что-то недоговаривают. Не может такого быть, чтобы с их медициной выздоровело больше людей, чем в Европе.

– Может, не может, – передразнил Израиля капитан. – Сойдем, проверимся и поглядим, что дальше.

– Я просто не понимаю, почему они согласны нас пустить, когда весь мир шарахается.

– А вдруг не все так плохо, как вам кажется?

– Вы же с Украины, – осуждающе сказал Изя. – Откуда эти надежды?

– Так, – отрезал статный мужчина в форме. – Капитан я, или где? Сказал, причалим, значит, причалим!

17 июня 2020

Иллюминатор был совсем небольшой, но даже его хватало, чтобы узнать поросшие камышом берега Питера.

Город детства.

Израиль Сигизмундович не сводил глаз с приближавшейся надписи, уведомлявшей, что судно, если хотело попасть именно

сюда, не промахнулось. Где-то вдалеке прямоугольником виднелся Кировский завод. В школьные годы станция метро казалась такой далекой, а там всего два квартала идти. Перед глазами встали знакомые улочки, полнящиеся теплыми воспоминаниями. Вряд ли они изменились до неузнаваемости…

– Переживаешь? – спросила подсевшая к мужу Сара.

– Да, – коротко ответил он и снова погрузился в свои мысли.

– Кто-то нам очень помогает.

– Если бы помогал, мы бы давно были дома, – отрезал Изя.

– Думала, ты такой нетерпеливый по молодости, – мягко сказала Сара. – Надеялась, что пройдет, а оно только усугубилось.

– Уж как вышло, – виновато ответил Изя.

– Не надо, – остановила его жена. – Я бы не хотела иначе.

Немолодая пара продолжала сидеть в обнимку, наблюдая за стремительно растущей линией причала, пока судно не остановилось, а в динамике не зазвучал капитанский голос:

– Внимание всему экипажу! Пройдите каждый в свою каюту, оставьте двери открытыми и ждите.

– Это и нас касается? – растерянно спросила Сара.

– Да, – коротко ответил Изя и открыл дверь наружу.

Через минут пятнадцать в проеме показалась длинная мордочка служебной собаки, вслед за которой зашла полноватая совдеповского вида женщина в форме.

– Оружие, наркотики везете? – безучастно спросила она.

– Нет, один коронавирус, – заметил доморощенный остряк и тут же получил тычок от Сары.

– Почему не в маске? – так же безучастно спросила барышня в теле. – Я не хочу из-за вас снова платить за профилактику.

– Да шутит он, шутит, – приторно ответила Сара. – Он давно здоров, просто мы не можем это подтвердить.

– Наслышана я о вас. Думала, будете сознательнее, – почти засыпая, сказала дама в форме. – Ладно, на первый раз прощаю.

Собака, закончив обнюхивать шкафы, довольно хмыкнула и утащила хозяйку за собой. Изя посмотрел на Сару, и оба пожали плечами.

Неужели тут, и правда, победили болезнь?

18 июня 2020

– И что ты скажешь за этот шухер? Сара, я ему теперь устрою аусвайс-контроль.

– Ну пап…

– Ромочка, папа прав. Мы все извелись, от тебя ни ответа, ни привета!

– Ну мам…

– Думаешь, стал замминистра, и можно игнорировать родителей?

– Вокруг столько прессы, я потом объясню.

– Конечно, объяснишь, куда же ты денешься!

За дверью больницы стояли полчища журналистов, готовых накинуться в любой момент. Сейчас начнутся расспросы: «А как? А почему?». Но чего только ни сделаешь, чтобы вытащить родителей с корабля… Так и до геополитики дойти можно.

Целый час Изя, Сара и Ромочка отвечали на град одинаковых вопросов, улыбались и рассказывали, как все удачно сложилось, спасибо российской медицине. В их словах не было ни капли вранья, но полную картину знал один Роман Израилевич (все же он официальное лицо). Когда семейке наконец удалось прорваться к машине, начался серьезный разговор:

– Ну? – коротко спросил Изя.

– Вы писали с подозрительных адресов и часто употребляли слово «коронавирус», – сконфуженно объяснял Ромочка. – Айтишники получат свое за то, что сделали мою почту слишком самостоятельной. Письма даже не доходили!

– А как? – с нажимом уточнила Сара.

– Я написал какому-то Гансу. Кажется, вы его ноутбуком пользовались на лайнере.

– Так, – одобрительно кивнули родители.

– Он очень извинялся за то, что был сердит на папу и чуть его не утопил.

Сара выразительно посмотрела на Изю. Отец семейства съежился и переменил тему:

– Почему именно Россия?

– Больше никто не брал вас без страховки, – ответил Ромочка. – Да и начальник за умеренную рекламу выбил скидку

на местное лекарство. Санкции санкциями, а лечить еврейский народ надо. Теперь и другие страны последуют нашему примеру.

19 июня 2020

«Перейдем к итогам недели. Вчера на брифинге министр здравоохранения Израиля объявил о начале большой дружбы с медиками России. Только благодаря усилиям наших специалистов экипаж торгового судна «Indian Summer» смог попасть домой. Действенность российского лекарства восприняли всерьез, и ВОЗ ожидает полной победы над коронавирусом в течение ближайших недель.

Также нам передают, что единственный случай болезни на борту не подтвердился: проведенный в Китае тест оказался ложноположительным…»

Рада Полищук

Одесские рассказы

Котлеты в компоте

По всему городу были развешаны рекламы: «Котлеты в Компоте! Котлеты в Компоте!». Одесские штучки. На Дерибасовской в ресторане «Компот» – акция: в меню пятьдесят видов котлет.

Где вы такое видели – котлеты в компоте?

Вы не видели, я видела.

Ах, боже мой, когда это было!

Тети Мàлины котлеты в компоте. За каждые полкотлеты – кружка душистого сладкого компота из инжира, алычи, абрикоса, груши, айвы, дыни, с одуряющим запахом корицы. Ради этого компота мы иногда съедали по две котлеты. Мама глазам не верила, а тетя Маля говорила, довольная собой:

– Девочки, Идочка, должны быть пухленькие, мягонькие, круглые, как шанежки, чтоб их скушать хотелось. Вот как я, например. Изюня от меня уж скоро двадцать лет по кусочку откусывает, а я целехонька, еще полвека с голода не помрет.

Смеется, широко открыв рот, обнажив белые зубы, один к одному, как на плакате в кабинете дантиста. Так Изюня дантист и есть, он от нее не только откусывает, но и за зубами ее пристрастно приглядывает как лицо заинтересованное в первую очередь. Ее зубы – предмет его профессиональной гордости. Свои запустил, уже не поправить – до остолбенения боится бормашины и всяких других манипуляций в полости рта.

– Малюня, малышка моя, девочка моя маленькая, со мной не пропадешь, – бахвалится Изюня и головой ей в подмышку тыкается, выше не достает.

А ничего смешного нет. С войны вернулся с двумя боевыми медалями, «За отвагу» и «За боевые заслуги», другие медали получал, как все выжившие, по месту жительства – к круглым датам войны, уже в мирное время, когда на дантиста учился не по своей воле. Отец завещал перед смертью: дед дантистом был, я – дантист, и ты дантистом будешь. Никаких возражений не принял, да не хватило у Изюни сил с умирающим спорить. И не исполнить волю отца не смог, и мать умоляюще посматривала, подгоняла молча – давай, сынок, читал он в ее глазах, давай, люди ждут, кресло отца простаивать не должно, и я без жужжания бормашины долго не протяну, привыкла, от тишины погибаю. Так и решилась его судьба. А видел он себя портным женского платья, такую мечту с детства имел. Представлял, как будет из красивых тканей вырезать платья причудливого фасона и, надев на руку подушечку с булавками, накалывать на манекен наряд за нарядом.

Отчасти мечта сбылась, Малюню свою он обшивает по полной программе – от нижних сорочек до зимнего пальто, отороченного мехом. Дантист он хороший, справный, очереди в его кабинет не переводятся, но душа молчит, будто отлетает на время по своим неотложным надобностям. А стоит лишь портновскую иглу в руки взять, душа возвращается, и ладная такая песня на два голоса складывается у них, не прерывать бы ее никогда. И что примечательно – зубы лечит правой рукой, как все, а шьет и кроит – левой, никто так не учил, само по себе вышло, иначе и быть не могло. Левая рука ближе к сердцу.

Кроме Малюни, он никому не шьет, сколько бы ни просили, какие бы деньги ни предлагали. Она и ходит по Одессе такая обособленная, со своими басками, рюшами и гофрированными крылышками Изюниного кроя – для нее специально, для нее одной. А он сам обычно то сзади, то сбоку идет неприметно, с гордостью осматривая творение рук своих, себя не выпячивает. И так все знают: впереди – Маля, поодаль – Изюня. Единое целое. Такая о них молва ходит. Может, и завидует кто, наверняка даже, как без этого проживешь, но они дурного глаза не чувствуют и сами никому зла не желают.

Они друг в дружке души не чаяли, от самой первой встречи и каждый прожитый вместе день. Не понаслышке знали, что такое любовь.

А первая встреча была – умора что такое, слезами обольешься. Изюня шел по городу от вокзала к Привозу, горько смотреть на него – в чем только жизнь теплилась: худюсенький, солдатские брюки, поддернутые ремнем, болтались на тоненьких ножках, подметая тротуар, как матросские клеши, только без того нарочитого шика, что царил до войны на Приморском бульваре. В правой руке неловко волочил большой, не по росту ему, вещмешок, потертый, перевязанный сверху толстой крученой веревкой. Шел, оглядывался по сторонам, будто потерял кого-то или сам потерялся, и глаза навыкате под черными густыми бровями вот-вот заплачут. А ведь радость какая – с войны живой домой вернулся.

Таким его Маля увидела, неся домой с Привоза кошелку с продуктами, не бог весть что, а все же и рыба появилась, бычки и скумбрия, синеньких не было, а вот картошка, огурчики, лук поспели. Жить можно. И война закончилась, проклятая. Кто не от горя, тот от радости плачет. И Маля плачет со всеми вместе. Мама умерла давно, она еще девчонкой бегала по двору, в дочки-матери играла, а мамы не было. Папа умер перед самой войной, дома, в своей постели от прободения язвы желудка. Аккурат успел – в мае сорок первого она его похоронила, еще все родственники на местах были. По обряду, как положено, похоронили на старом еврейском кладбище, над могилой постояли недолго, помолились, погоревали, поговорили о том о сем и разошлись, обнялись на прощание, руки пожали или просто кивком головы. Не все так гладко в семье было. А у кого все гладко? Бывало, только смерть на кладбище и сводила от случая к случаю, обычай предков соблюдали – для чтения кадиша над покойным миньян нужен – десять взрослых мужчин, смерть не тот случай, когда отлынуть можно, все приходили, подвести нельзя. Кто ж знал в тот раз, что многие больше и не свидятся на этом свете – кто по Старопортофранковской, по «дороге смерти», в вечность ушел, только боль в сердце и имена в памяти остались, кто на полях войны погиб или пропал без вести, таких много было. Из эвакуации только-только возвращаться стали понемногу, постаревшие, уставшие от разлук

и тревоги, с опаской жилье свое не найти, пусть будет плохонькое, молились, какое сохранилось – да свое, с мыслями – как жить дальше после всего, что случилось. Как жить?

А жить надо.

Они буквально столкнулись на мощенной булыжником мостовой, Изюня ткнулся головой Мале в спину. Маля вскрикнула от неожиданности, а оглянувшись, увидела черные угольные глаза навыкате с застывшей в них тоской и недоверчивую улыбку в уголках губ. Заныло, загорелось внизу живота и потекло обжигающей волной вверх к горлу. Она коротко вскрикнула и вдруг, сама не понимая, что делает, прижала его к своей груди, вмяла в себя, как в большую пуховую подушку, он доверчиво влип в нее и затих. От жалости к нему ее зазнобило, отлетели куда-то все уличные шумы – громкие голоса прохожих, звон трамваев, гудки клаксонов, крики кондукторов… Тишина накрыла их, надолго ли – не помнят ни он, ни она.

Так началась любовь.

А вскорости и совместная жизнь в Изюниной двухкомнатной квартире на Чичерина угол Пушкинской, где одна комната была по всей науке оборудованным кабинетом дантиста, вторая – спальней, столовой и кухней одновременно. Маля, по странному стечению обстоятельств, жила тоже на Чичерина, на другом конце улицы близко от трамвайного круга, рядом с Ланжероном. Жила на птичьих правах, баба Наташа, старая дворничиха, теперь тоже одинокая, как Маля, выделила ей угол в дворницком домишке в глубине двора. Пожалела, потому что их квартиру из одной комнаты с темным чуланчиком и небольшим палисадником, всегда утопающим в цветах – от весны до глубокой осени, заняли пришлые люди и отдавать никакого намерения не имели. Баба Наташа помнила, как весело жили они здесь всей семьей, как мама пела и водила хороводы с детьми, читала вслух книжки, смеялась звонко, заразительно счастливым смехом и угасла постепенно, как лучина, – мелом выбелило щеки, нос заострился, губы посинели. Скоротечная чахотка. Только глаза, синие, как васильки в поле, до последнего сияли ясным светом. Помнила, как к папе приходили за советом и утешением из окрестных домов и дворов, и даже неевреи называли его уважительно «ребе». И как устроили посреди

двора в виноградной беседке поминки по «ребе», хоть и не положено по еврейским строгим правилам, – тоже помнила.

Ах, что бы Маля делала, если б не баба Наташа, – ума не приложить. Она так рвалась домой в Одессу из казахского поселка Джусалы, где прожила три с половиной года в пустыне Кызылкум! Маля, морская душа, пловчиха, одесситка до мозга костей. «Морячка Маля как-то в мае…» – это про нее пели ребята из соседних дворов. И самая толстая из всех девчонок в школе – жиртрестпромсосиска, плавать она могла часами, как дельфин. Без моря нет ей жизни. В Одессу, в Одессу! На Ланжерон! Скорее – в Одессу!

А ее там никто не ждал, и дома у нее не было. Только могилы на старом еврейском кладбище. Она из первых вернулась в родной опустевший город, и лишь одна родная душа приветила ее – баба Наташа, суровая, неразговорчивая, с тяжелым взглядом из-под насупленных бровей. Беседы никакие не вели, изредка перекидывались словом-другим, а жили душа в душу, ни о чем заранее не сговаривались, никакие правила общежития не прописывали. В одном баба Наташа была непреклонна – не давала Мале взять в руки метлу, чтобы помочь ей двор мести. «Не лезь, – сказала как отрезала. – Не твоего ума дело. Книжки читай, детей во дворе учи, как мать учила. Или еще что надумаешь. Сама справлюсь, недолго уж». А и правда, недолго оказалось. Как-то вечером помылась в большом эмалированном тазу, волосы тщательно причесала, гребешком пригладила, юбку и кофту в мелкий голубой по синему цветочек надела, зажгла лампадку в углу под иконой, легла на свою узкую кровать, натруженные руки на груди сложила, как-то неестественно выпрямилась, будто в росте прибавила, и подбородок горделиво вскинула, а то все под ноги себе смотрела, все под ноги. Такой и нашла ее рано утром Маля.

Хоронили уже вместе с Изюней. Вдвоем со свечками в церкви стояли, неловкость перед батюшкой с трудом пересиливали, да поодаль трое мужчин со двора, чтобы помочь гроб поднять и вынести. Тихо и легко закончилась долгая трудная жизнь бабы Наташи. Надорвалась, все силы истратила, потому и лицо на белой подушечке выглядело помолодевшим, спокойным, удовлетворенным. И то сказать – заслужила покой баба Наташа, видно, и там, на небесах, ее хорошо встретили, благословили за все земные добродетели.

А Маля к Изюне переехала, хоть и побаивалась недобрых взглядов свекрови. Не одобряла ее Изюнина мама, нет, не одобряла, и скрывать это не собиралась, совсем даже наоборот – всячески подчеркивала свое недовольство невесткой. В своем доме полноправной хозяйкой была и к безоговорочному сыновнему повиновению привыкла. Не в ее возрасте менять привычки, да и характер имела не из уступчивых. Пока свекровь жила, Изюня ужом крутился между ними, худел, несмотря на Малины выдающиеся кулинарные способности, по большей части молчал и с той, и с другой, стараясь никого не выделить и сохранить внешнее равновесие, только темные круги под глазами выдавали наивысшую степень его беспокойства.

А ночью в постели, под одеялом прижимался к Мале, как дитя безгрешное и пылкий любовник в одно время. Наверное, свекровь виновата, что ребеночек у них не получился, о чем мечтали они оба. Маля бы деток котлетами в компоте потчевала и другими деликатесами домашнего производства, а Изюня шил бы платьица-костюмчики всем на радость, а кому-то, может, и на зависть, тоже не беда. О большой и дружной семье мечтали – и в этом полностью совпали их интересы.

Только по ночам, когда крылатый бог любви и плодородия Эрос просыпался и звал в свои объятия всех влюбленных, жили они сторожко, к звукам извне невольно прислушивались – то ложечка о чашку за перегородкой звякнет, то Изюню вдруг мать позовет требовательно, неотложно – сию же минуту, как приспичило, без промедления, то храп внезапно оборвется и послышатся шаркающие шаги. А они себе в кухне спальный уголок оборудовали, проходная получилась спаленка. По этой причине не отпускали они свою страсть на волю никогда. Маля женщина целомудренная, но от природы страстная, все время неудовлетворенность чувствовала и об одном мечтала – остаться с Изюней наедине, без неусыпного свидетеля за тонкой стенкой-времянкой.

Под одеялом ласкали друг друга, задыхаясь от нежности, желания и духоты. Вынырнут ненадолго, воздуха глотнут и обратно – с головой, как дети, вроде так их никто не увидит. Изюня медленно целовал ее от кончиков пальцев на ногах до жестких

локонов на лбу, она едва дышала, всем своим женским существом отзываясь на каждый его поцелуй. Теплые влажные прикосновения будили в ней такую исступленную чувственность, что ей делалось страшно. Одной рукой она зажимала себе рот, чтобы не закричать во все горло, разбудив не только свекровь, но и всех соседей во дворе, а другой – отталкивала Изюню от себя да от греха подальше. И так каждый раз. Днем свекровь всегда была дома, и оставить ее одну нельзя было ни при каких обстоятельствах даже на короткое время, на день-другой.

Когда свекровь умерла, оба были уже не в детородном возрасте, и мечта о ребенке отлетела светлым облачком, может, кому другому удачей обернется. А любовь крепла, не могли они жить друг без друга. Ни дышать, ни есть, ни спать. Маля была и домохозяйкой, и помощницей, пациентов записывала, талончики выдавала, инструменты кипятила, потому, даже когда Изюня вел прием в своем кабинете, она каждое мгновение чувствовала его присутствие и мысленно помогала, безошибочно угадывая, когда трудный зуб, когда удаление, когда операция на надкостнице.

Так шло время, день за днем в неостановимом своем течении.

А потом Маля заболела. Болезнь подкралась исподтишка, Изюня не сразу ее распознал. Маля рассеянная сделалась, то потеряет что-то, то перепутает, идеальный порядок в доме постепенно превращался в бедлам. Он не запретил ей готовить инструменты к приему, чтобы не обидеть, только после сам кипятил снова и все укладывал в нужном порядке. Больных тоже стал сам записывать под предлогом усиленного контроля со стороны налоговых органов, у него ведь ни по каким бумагам помощница не числилась. Да в конце концов, и так жить можно, он подстраивался под эти перемены, не зная, что ждет их впереди.

Беда летела на них снежным комом. То Маля цветы горячей водой из чайника полила, то вместо сахарной пудры солью посыпала коржи своего фирменного торта, то газ включила, а выключить забыла, пока он в булочную ходил, чуть не отравилась, то соседей перестала узнавать, а то вдруг пропала, он чуть с ума не сошел, пока с милицией отыскал ее на Ланжероне поздним вечером одну в лифчике и трусах в холодное время поздней осени.

Она как будто ничего не понимала, только смотрела на него, словно спросить о чем-то хотела, да не решалась.

А как-то ночью, когда лежали, как всегда, тесно обнявшись, вдруг прошептала в самое ухо: «Изюня, со мной что-то происходит?». Он растерялся, спрятал лицо у нее на груди, прильнул губами к нежной коже: «Спи, Малюня, малышка моя, девочка моя маленькая, я всегда с тобой».

Больше она ни о чем не спрашивала, а вскоре перестала его узнавать.

Он закрыл свой кабинет и не отходил от нее ни на шаг, все время разговаривал с ней, научился варить и печь по ее рецептам, все в точности делал, как она.

Везде и всюду водил ее за руку. Шел впереди, а сзади плелась дородная пышная Маля, мелкими шажками, как девочка маленькая. Одна такая пара в городе – ни с кем не спутаешь. Сострадательно оглядывались им вслед те, кто помнил другую диспозицию: впереди царственно шагала Маля, поодаль, чуть сбоку – Изюня. Единое целое. Теперь тоже так говорят, и кое-кто по-прежнему завидует им.

Он даже на море ее повез, на Ланжерон, чтобы она искупалась. Искупалась! – это для таких, как он, кто и на резиновом круге плавать не может. Он договорился со спасателем, что тот поплывет на своей шлюпке рядом с ней, чтобы, боже упаси, чего не случилось. И Маля поплыла… Он стоял по пояс в воде и глаз с нее не сводил – вот она нырнула, вот вынырнула, вот снова нырнула… На берегу глаза ее светились счастьем.

Вечером, уже лежа в постели, посмотрела на него долго, внимательно и сказала: «Я тебя не знаю, но ты меня не бросай, пожалуйста», – и доверчиво, как ребенок, вложила свою ладонь в его руку. Он долго сидел так, потом прилег рядом, не выпуская ее руку, и уснул.

А утром, когда проснулся, Мали уже не было.

Смерть, конечно, не безвременная по житейским меркам. Мале семьдесят шесть было. Но Изюня старше на семь лет. Он должен был умереть первым. Он упрямо повторял это каждому встречному, будто что-то можно было изменить.

А изменить уже ничего нельзя.

Несбывшийся гений бабушкиной мечты

Кладбище и знойное нещадное солнце. Палит безжалостно, и спрятаться негде – ни деревца, ни кустика, чтобы прилечь, укрыться, передохнуть. Ни березки, ни лопухов, ни крапивы, ни одной незабудки или ромашки, только песок медленно-медленно волнами пересыпается, и в воздухе взвесь колышется, колется, глаза запорошила. В сумке альбуцид должен быть, точно знаю, я его всегда с собой ношу, от городского смога глаза воспаляются до слез в любую погоду. Только где моя сумка? Зеленая с коричневыми ремешками, в Венеции купила на последние почти деньги, не задумываясь, увидела в витрине и не смогла пройти мимо, все в нее переложила, что с собой ношу, вылетела из магазина и чуть не упала в канал: там на углу ограждения не было. Уже вечерело, все как в тумане – в мглистой дымке, нереальный пейзаж. Я уже падала, на миг показалось – взлетаю, как вдруг чьи-то сильные руки схватили за плечи, притянули к себе, почти вплотную, внезапная близость, остро пронзило давно позабытое. И не повернуться, так стиснуты плечи, а голова затылком плотно прижата к твердой мускулистой груди. Кто-то вдруг захлопал, выкрикнули «браво!», повернулась на одной ноге, оглянулась, чуть снова не упала. Кто-то взял за руку и отвел от края. Но это не та рука, нет, не та… А никого больше нет, несколько человек полукругом стоят поодаль и на меня смотрят с интересом, будто я фокусы показываю, уличный артист, у них это принято. Могли бы и деньги к ногам положить, сумка моя, должно быть, отпугнула – из дорогого магазина, и в сумерках разглядели.

С тех пор с венецианской сумкой не расстаюсь.

А сейчас по песку руками шарю, обжигающе теплый, шелковистый, нежный, сквозь пальцы протекает, щекотно, смеюсь невпопад – ни сумки, ни альбуцида, чужое кладбище с невысокими могильными камнями, ровными рядами вправо, влево, как воины на плацу, замершие воины. Желто-голубое безмолвие. Родное до боли. И фотография, от которой не могу оторвать взгляд. Здесь ее нет, здесь вообще нет фотографий на надгробных плитах, только причудливые буквы, я их не знаю, и через тире – даты, они ни о чем не говорят мне. А я отчетливо вижу и узна*ю*. Этот мальчик похож на…

Не на папу, не на деда-прадеда моего, они все светлоглазые и рыжеволосые, а у этого глаза темные, как угольки, и волосы темные, непослушно вихрастые. Да не в этом дело! Он похож на еврейского юношу, прошагавшего 5780 лет сквозь бури, погромы, победы и беды. Он выстоял.

Я помню его в послевоенной Одессе. Я вспомнила! Он играл на скрипке, учился в школе Столярского, его все хвалили и прочили ему светлое будущее. А дома были мама, рехнувшаяся после гибели на фронте любимого мужа, и парализованная на правую сторону бабушка, первой прочитавшая похоронку. Бабушка всегда была главной силой в семье, полководцем, это признавали все. Она до последнего дня не сдавалась, взяла на себя заботу о невестке и чем могла помогала внуку. Главный совет: «Не бросай скрипку, мальчик мой! Никому в нашем роду не довелось учиться музыке, никому!» – она повторила на последнем уже вздохе и попросила тихо и глухо, будто издалека донеслось: «Пообещай мне!». Он не успел, бабушка перестала дышать. И хорошо, что не успел, обманул бы бабушку. Музыкальную школу пришлось бросить, поступил в ПТУ на чертежника: пусть не смычок, но карандаш в руках, на обрезках ватмана или миллиметровки рисовал музыкальные картинки из нотных знаков, заглушая тоску по музыке. Жизнь катилась по ухабам вперед, ничто не предвещало того, что случится.

Почти полвека отлетело, начало девяностых. Евреи снова сидят на чемоданах, новая волна отхлынула – едут на историческую родину, кто от чего, кто за чем, кто за детьми, кто ради детей, кто просто в общую воронку попал, не осознает, что делает. Поехали-поехали! И сын-скрипач уехал. Тяжким было короткое прощание, отец не одобрял отъезд, замкнулся каждый в себе, слов примирения не нашли, отводили глаза в сторону, чтобы не выдать боль свою, чтобы не утонуть в горести прощания.

Навсегда, думал отец. Не увижу сына, думал, не узнаю внуков своих, они родятся на Святой земле, так надо, так правильно. Только без меня, я маму не оставлю, пусть не узнаёт меня, но ждет и радуется, когда прихожу, с этой радостью и уйдет в мир иной, я не обижу ее. Мамина рука у него на плече, он крепко держит ее за талию, она легка и изящна, как в молодости… Ах, как она

любит танцевать! Ах! Не довелось, не пришлось. Не дотанцевала, не допела! Теперь они тихонечко поют вдвоем на идише любимые мамины песни, бабушка научила, он тоже все слова помнит, для них старался. Поют на два голоса, хорошо получается. «Наш уголок я убрала цветами…» – это мама одна пела, когда не стало папы, и сейчас поет при каждой их встрече, чистым высоким нежным голосом, глаза прикрыты, лицо молодое и мокрое от слез. Нет, он не оставит ее! И петь будет для них на могиле, пока жив. А потом наступит тишина…

Навсегда, думал сын. Отец не оставит бабушку в сумасшедшем доме, хоть она никого не узнаёт, путает, улыбается и поет… Танцует и поет… Но как поет! Нет, отец не оставит ее, нет.

Скрипку принес ему приятель сына. В футляре лежала записка: «Пусть живет у тебя, могут не выпустить, отнять. Я решу *там* этот вопрос. А тебе пригодится. Прощай, папа».

Как в воду смотрел.

Погиб в самом начале пути. Первый скрипач в семье – погиб, ничего не успел решить, а скрипка осталась в Одессе у него, несбывшегося гения бабушкиной мечты. Теперь он играет на скрипке сына на могилах погибших воинов в глубине старого еврейского кладбища и, если кто попросит, никому не отказывает.

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая!» – это про всех воинов, павших в боях. Отец погиб на Второй мировой, защищая родину, сын тоже за родину – в Израиле. Может, встретились где-то на тропинках иных миров, может, нет.

Так внешние обстоятельства ломают жизни, ни с чем не считаясь – ни с любовью, ни с верой, ни с исторической справедливостью.

Москва

Леонид Лейдерман

Старокрымский синдром

Санаторий

Шурочка, Шурик – мы с ней знакомы уже тыщу лет.

Молоденькой девушкой Шурик попала в санаторий в Старом Крыму, и ее соседкой по комнате была москвичка Таня. Таня тайно встречалась с неким Эрвандом, а Шурик стала у них доверенным связным. Знакомство Тани с Эрвандом, конечно, можно считать случайностью, но в санаторий их привела одна и та же причина – туберкулез. Который в Советском Союзе после Отечественной войны был на редкость популярен, а опасен – смертельно.

Говорят, что туберкулез – болезнь бедняков. Мол, бедняк плохо питается, оттого у него слабый иммунитет. В войну все стали бедняками. Почти все. И туберкулезные диспансеры, больницы и санатории были на слуху у всех, а в первую очередь – у товарищей по несчастью. Эрванд и Таня были не просто знакомые, а товарищи по несчастью. Так будет правильнее.

Таня была замужем, а Эрванд не был женат. То есть был женат – раньше, но они с женой разошлись. Разошлись дороги.

Среднюю школу Эрванд оканчивал в Одессе, но дальше учиться поехал в Киев, в тамошний университет. В Одессе тоже есть университет, но в нем не было факультета журналистики. Такие факультеты на всю Украину были тогда только в Киеве и Львове. А Эрванд хотел именно на журналистику, и поэтому поехал в Киев.

В Одессе Эрванд, видимо, слыл незаурядным школьником, поскольку свой десятый класс он окончил с золотой медалью,

а медали тогда были полновесными. Незаурядным он должен был слыть и в своем «красном», как его еще называют, Киевском университете – окончил его с красным дипломом. Так или не так, только на выходе из университета Эрванд был обладателем не только диплома и университетского значка, но и – свидетельства о браке.

Он получил назначение в одну из районных газет Черкасской области, отработал там, сколько было положено, а из старокрымского санатория должен был направляться в Одессу. Получается, что жена Эрванда потерялась где-то между Киевом и Старым Крымом.

Нужно сказать, что разводы тогда были не столь часты, как сегодня. И не в том дело, что раньше и солнце светило ярче, а просто свобода разводов хоть и была, но как-то не в моде. Мол, если не успел повзрослеть – не женись, а женился – так чего ж разводиться?

Но – разошлись они. Может, это Эрванд что-то не рассчитал. А может, она. Может, не захотела ехать с ним в какой-то райцентр, в глушь? Маловероятно. В те годы ехать на работу по разнарядке было делом обязательным, она должна была быть готова. Испугалась его туберкулеза? Представила, что будет завтра. Сначала заботливая сиделка, потом сама чахоточная – форма-то открытая, долго ли заразиться?.. И тогда если замужем – лучше без близости, если близость – лучше не беременеть, если беременеть – лучше не рожать, а если рожать – так уж точно не кормить, чтоб не передать ребенку через молоко… Так, кажется, наставляли тогдашние фтизиатры. Может, и испугалась.

А может, и иначе все было.

В одесской газете, в которой после черкасского райцентра работал Эрванд Захарянц, был напечатан его рассказ. Газета была молодежная, Эрванд был молод, и герои его рассказа были парень и девушка. Парень и девушка – обыкновенные влюбленные с необыкновенными, как и положено, чувствами. Но… Прогуливаясь по безлюдным живописным окрестностям, они набредают на следы прокатившейся здесь войны. И оказывается, что они очень разные люди, эти парень и девушка, они

по-разному видят эти следы войны, они не только разные – они просто чужие! И необыкновенные чувства куда-то отступают, отступают, и – как надо полагать из рассказа – растаивают вовсе…

Это было время, когда война на каждом поставила и оставила свою отметину. И на тех, чья жизнь прервалась – хоть на фронте, хоть в оккупации, хоть в эвакуации. И на тех, кто остался жить. Война была той лакмусовой бумажкой, по которой сразу можно было распознать, кто свой, а кто не свой, кто удостоился твоего восхищения, кто ненависти, а кто – презрения. И этот рассказ Захарянца, не знаю когда написанный, вполне мог быть неким преломлением конфликта между взглядами и принципами молоденького журналиста Эрванда и его столь же молоденькой жены. А время тогда было такое, что взгляды и принципы были как бы на первом плане, а письма могли заканчиваться словами «С комсомольским приветом», а не, скажем, «Целую». И в ходу было слово «мещанка», каким сознательная мужская молодежь клеймила девочек, которые общественной пользе предпочли мелкое (мелкое!) бытовое благополучие.

Хотя вполне возможно, что рассказ этот не имел к жене Эрванда никакого отношения. Версий может быть много. Это только кажется, что причина на поверхности… Я как-то попал на слушание дела о разводе одной пары. Он любит музыку, артист, гастрольные поездки. Она же, напротив, любит литературу, тишину и вообще покой. Ну как же им не разойтись! Суд счел причину уважительной и пошел навстречу…

Суд мудрый. Суд, может, и слышал об идеальных супружеских парах, только узкоспецифическая бракоразводная практика подсовывала судьям одни лишь неидеальные варианты. Множество неидеальных вариантов. А народная надежда – «стерпится – слюбится» – не всегда сбывается. Не стерпелось, а там и не слюбилось. А значит, и расходиться надо, да поскорей, пока без детей.

Эрванд и его жена разошлись, и в Старом Крыму был Захарянц свободным мужчиной. А Таня-Татьяна хоть и была, как говорится, за мужниной спиной, только мужа на тот момент

рядом не было, и оказалась она незащищенной один на один и лицом к лицу с Эрвандом, перед нескромным обаянием которого не устояла. Но показывать это никому нельзя. Вот тогда и вышла на сцену жизни соседка Тани по комнате Шурочка, Шурик.

Шурочка-Шурик была от Эрванда в восторге. Ей крупно повезло – когда ни у кого из троицы не было лечебных процедур, Эрванд и Таня для конспирации прогуливались исключительно в присутствии Шурика, а когда на процедурах была только Таня – такое тоже случалось, – Шурик с Эрвандом для поддержания конспирации гуляли вдвоем. Так что Шурик могла наслаждаться общением с Эрвандом, считай, вдвойне. Общение же состояло в том, что Эрванд говорил, а Шурик слушала. Говорить ему было о чем, а слушать его было одно удовольствие. Одно, и два, и столько, сколько получится. Так что прикрытие у Тани было надежное – Эрванд вроде с Шуриком прогуливается (их даже дразнили – мол, Абрам и Сарочка), а Таня так, по-соседски, сбоку бантик.

Абрам и Сарочка – это из-за Шурика. Она Шурик в миру, а в паспорте – Шлима, и национальность – еврейка. Еврейка! Значит, Абрам и Сарочка.

Конечно, если ты в туберкулезном санатории, то это вовсе не значит, что нужно думать только о своих кавернах или поддуваниях, хотя от этого не уйдешь. Но чтоб было в голове место разбираться, кто какой национальности? Когда у каждого на глазах: из больничной палаты два пути – или в морг, или, если повезет, в санаторий, жить дальше. Ты попал в санаторий – подкрепись, чтоб болезнь, не дай бог, не вернулась. Порадуйся за себя и за соседа, неважно какой нации. О чем твои мысли? Хотя… Болезнь болезнью, а чем до нее жили, о том и сегодня мысли. Но это так, к слову. К тому, что Эрванд в таких случаях не лез в драку заступаться за интернационализм. Он просто миролюбиво предлагал Шурику не обращать внимания. Может, потому что пацифист? Верит, что незлобивостью можно зло перешибить? Или потому, что при операции и кусок легкого оттяпали, и ребро укоротили? И не рекомендуется подставляться под кулачные разборки? Не знаю. Только потасовок

не было. А может, чувствовалось, что и сам не русский? Или было все равно? Хотя через много лет о нем напишут: «Армянин одесского разлива». Все-таки армянин.

…А пока что – прощались с Таней-Татьяной. Ей через два дня в столицу возвращаться, а им сегодня уезжать, и – в другую сторонў. В этот день Шурочка-Шурик долго гуляла в неинтересном одиночестве. О чем она тогда думала, можно только гадать, но наверняка мысли ее нет-нет а касались ее санаторных знакомых и их отношений, таких естественных и одновременно неизбежно тайных… Тогда никто из них, ни Таня, ни сам Эрванд, ни тем более Шурочка, не предполагали, что придет день, когда москвичом станет и Эрванд.

А пока что… Вечером на теплоходе, который держал курс на Одессу, устраивались три пассажира – Шурик с билетом в каюту второго класса и Эрванд с еще одной попутчицей – с билетами на просторную палубу. Были такие палубные билеты тоже – для малоимущих и плохо экономящих. Спали путешественники по очереди во втором классе, так что основное время проводилось среди морского простора. И под рассказы Эрванда.

Александра Грина-Гриневского в то время в советских типографиях не печатали и в школе не учили. А Эрванд читал. Из-под полы. И знал, что Грин похоронен в Старом Крыму. А когда сам там оказался, то предложил Тане с Шуриком поискать его могилу. И нашли. И положили на могилу цветы.

На теплоходе Эрванд пересказывал Грина. И не только.

А в Одессе Шурик познакомила Эрванда с младшей и старшей сестричками, с родителями, с Тёхой – дальней родственницей, прибившейся к этой семье. Тёха всегда радушно встречала всех мужчин, не исключая, конечно, и Эрванда, которого она, видимо, по тугоухости упрямо называла Сервантом. Эрванд шутливо поправлял ее: «Сервантес». В то время Захарянц жил на квартире то ли у сводной сестры, то ли у двоюродной, то есть вроде и не с чужими, но и не совсем в семье. Так, по крайней мере, я тогда думал. Потому что в подвал на Успенской, где жила Шурик, он заходил с какой-то тихой радостью, как заходят к родным людям, где ты всегда кстати, и при этом

ничего от тебя не хотят. Просто рады тебя видеть. И слышать. Иногда Эрванд соглашался чего-нибудь рассказать для младшей сестренки Шурика, так та на радостях звала к себе подружек – большой праздник!

Здесь Эрванда всегда пытались чем-то покормить, но тщетно. Зачем? Вот он сейчас выйдет, купит в магазине на углу граммов двести колбасы, «Любительской» или «Чайной», хлеб дома есть, вот и ужин. Нет-нет, спасибо… Уж как на него ни обижались, а уговорить не могли. Это если складчина – тогда другое дело. Тут можно и выпить, и поесть вкусненького, а под последний тост по-студенчески выжать из как будто пустой бутылки шампанского еще драгоценные тридцать три капли…

Старшую сестру Шурика звали Линой. Может, он увлекся ею, почти сверстницей – всего на два года его младше? Да нет, не Лина нужна была ему и не Шурик, и не младшая, совсем девочка еще, а все они вместе – вся их семья. Я думаю, семьи не хватало Эрванду.

Там, у Шурика, познакомился с Эрвандом и я.

Какой он, Эрванд? Высокий, но не скажешь, что стройный, не для строя он, не военная косточка, нет. Как будто не сутулился тогда, но мягкость была во всей его фигуре.

Позже мы будем встречаться в редакции комсомольской газеты, еще позже завотделом Галя Потапова поручит мне подготовить очерк о секретаре райкома комсомола, и мы вдвоем принесем этот очерк на подпись Эрванду, уже редактору газеты… Эрванд с вполне мирным недоумением говорит что-то вроде «Ну разве можно в объеме газетного очерка дать портрет живого человека?». Мы переглядываемся и даже не пытаемся рассказывать Захарянцу, что портретный очерк считается нормальным газетным жанром. Знает он это раньше нас, но разве это аргумент… Ну а то, что я два месяца хвостиком ходил за неутомимой секретарем райкома? А теперь сообщить ей, что очерк пошел в редакционную корзину? Ну а то, что мы с Эрвандом давно знакомы или что Галя его жена, так это и не в счет вовсе. При чем тут?

Какой он, Эрванд? Как написать портрет словами?

…И вот он выговаривает мне:

– Один приехал? Шурика не взял?

Для него Шурик была символом далеких-далеких лет, когда всё было другим, всё. И солнце светило ярче. И солнце это светило не в Москве, а в Одессе…

«Вторая тетрадка»

Фамилия у Эрванда была не Захарян, мне всегда казавшаяся более армянской, а Захарянц. Почему на конце была буква «цэ», или почему у Захарянов эта буква потерялась, наверняка знают в Армении. Я же знаю, что Эрванд с буквой «цэ» на конце своей фамилии родился не в Армении, а в Одессе, но не знаю, какая была у него семья. Отец, мать, братья, сестры. До войны, в войну, после войны, да и был ли кто после войны. Ничего не знаю. Знаю, что жил на Малой Арнаутской угол Книжного переулка, что из жизни ушел не в Одессе, а в подмосковном Переделкино, а еще что похоронен не в Москве и не в Одессе, а таки в Армении. На ереванском кладбище.

Последнее место работы Эрванда – «Литературная газета», та, что в Москве. Та самая, что в шестидесятые годы была самой читаемой в Союзе. Самый большой тираж был у газеты «Правда», а самой читаемой была «Литературка». Читали в основном «вторую тетрадку» – от девятой страницы до шестнадцатой. Здесь, как говорится, бурлила жизнь и бушевали страсти, здесь обсуждались жгучие проблемы, здесь смело резали правду-матку – настолько смело, насколько это было можно в СССР. А прикрытием была «первая тетрадка», первые восемь страниц, где царствовал официальный хозяин газеты – Союз писателей. Они были вроде главные, эти первые восемь страниц, – о событиях в литературной жизни, о вопросах творчества, то есть специальные такие страницы, которые и важны, и нужны – писателям, критикам, литературоведам, любителям литературы тоже. А вот вторые восемь страниц – они же не первые! А значит, и не главные. Такая вот маленькая хитрость. Такая вот игра.

От кого хитрость-то? Все ведь знали, что к чему и почему. И что вторая тетрадка на самом деле не вторая, а первая, и что читать ее будут не только те, кто побаивается, но и те, кого побаиваются. Еще не чувствовались перемены, но отчетливо чувствовалось, что повсеместно хотят перемен. А что именно хотят переменить, про то читали во второй тетрадке «Литературки», в строках, а еще больше между строк.

«Литературная газета» была тогда газетой интеллигентных людей. Не в смысле интеллигенции как сословия (профессор – да, а шофер – нет), а в смысле интеллигентности как гармонии души и разума. Доброй души и ироничного разума. И именно в этом подчеркнуто ироничном смысле самую большую популярность имела шестнадцатая страница с названием «Двенадцать стульев», страница юмора, сатиры, сарказма, тонкого интеллигентного издевательства над разным невежеством и всякой гадостью. Страница с претензией на славу легендарных авторов романа «Двенадцать стульев», которые (авторы), как известно и в Москве, были чистокровными одесситами.

В редакции на каждую «тетрадку» был отдельный ответственный секретарь – человек, к кому сходятся все ниточки, из них и свивается-верстается газетный номер. Так вот, Эрванда поставили ответственным секретарем на эту самую – самую читаемую – вторую тетрадку. Но! Без шестнадцатой полосы. За газетные двенадцать стульев отвечал некто Веселовский, который это свое «отвечание» ни с кем делить не хотел и не делил. Равно как и славу. Так что Эрванд делал не восемь полос, а только семь.

Все оставалось бы, как было, если бы не одно обстоятельство – Эрванд помнил, что он тоже чистокровный одессит, как и знаменитые авторы «Двенадцати стульев». И ему не давала покоя простая мысль – почему он, одессит Захарянц, вот так просто, безо всякого сопротивления, уступает такую одесскую полосу неодесситу Веселовскому? И в самом деле – почему?

Тут надо бы вспомнить слово «одеколон», которое ни о чем не говорит не только рядовому москвичу, но и рядовому одесситу тоже. А вот в некоторых кругах, в частности в журналистских,

знают, что в Москве «одеколон» – это еще и «одесская колония». То есть Эрванд не первый журналист, прибывший из провинциальной Одессы. Не то чтобы покорять Москву, а просто найти достойное приложение своему перу. При этом, конечно, не надо думать, что скромники из «одеколона» отказывались попробовать через Москву покорить весь читающий Советский Союз. Конечно, нет. Потому что какая же это провинция – Одесса? И знатоки Одессы литературной назовут вам не одно и не два громких имени из московских одесситов…

В редакции «Литературной газеты», как и в других редакциях, проходили так называемые пятиминутки – совещания при редакторе. Видимо, название пошло от заводов, где долго заседать некогда, каждая минута на счету. Но газета не завод, не пароход, и за пять минут тут никогда не управлялись, да и задачи такой не было – уложиться в пятиминутку. А была задача обсудить разные вопросы, среди которых всегда был вопрос, каким вышел последний номер газеты. Обычный дежурный разбор полетов.

И на этот раз разбор полетов шел в обычном режиме, когда дошла очередь до последней, шестнадцатой страницы, которая обычно и не обсуждалась – что там обсуждать? Анатомировать юмор – бессмысленная затея… Но на этот раз слова попросил новый ответственный секретарь второй тетрадки (без, как мы помним, шестнадцатой полосы). Пяти минут ему точно не хватило, он развернул картину «Двенадцати стульев» со стороны ее слабых мест, и их оказалось не так уж мало, и это было так очевидно, что… После окончания пятиминутки попросили Эрванда заниматься второй тетрадкой целиком, то есть включая последнюю полосу тоже. Между прочим, к чести ответственного Веселовского, тот не стал в позу и не стал возражать. И, кстати, получил нового автора: Эрванд иногда публиковал на его странице свои миниатюрки – чтобы самолюбию польстить, да и 5-7 рублей никогда не лишние к зарплате. А в те годы билет в кино стоил 25 копеек.

Но главное, конечно, не в этом. Когда Эрванд мне все это рассказывал… Неважно даже, какими словами он при этом пользовался. Честь Одессы была задета. Попал когда-то из Одессы

в Москву Евгений Петров. Попал когда-то из Одессы в Москву Илья Ильф. Написали вдвоем замечательную книжку «Двенадцать стульев» – еще до того, как Захарянц на свет народился. А потом ее запретили. И Захарянц читал ее в киевское свое студенчество, вкушая, так сказать, запретный плод. «Утром деньги – вечером стулья!» – это навеяно Одессой. Он, Захарянц, земляк этих всех придумок, земляк самогò этого замысла, самогò духа этого легкомысленного произведения. Он, как и Ильф и Петров, уроженец столь же легкомысленного города, верящего, что глупости, в том числе и страшные, – преходящи, а Одесса, умная и ироничная, – вечна. Так как же может одессит Эрванд Захарянц, тоже попав в Москву, как может он смириться с тем, что на его рабочий стол ложатся на подпись все семь полос второй тетради газеты, кроме полосы, которая…

Если бы Одесса-мама следила за тем, как ведут себя за ее пределами вскормленные ею дети, она Эрвандом была бы довольна. Не забыл, не забыл, откуда родом, не отрекается от тех, кем Одесса гордится, и вот вам, пожалуйста, даже ревнует, ревнует шестнадцатую полосу «Литературки» к неодесситу Веселовскому. Молодец…

Однако все-таки уехал из Одессы, уехал, как и другие. Уехал в столицу, как и другие. Уехал, как уезжали до него и еще будут уезжать после. В Одессе им тесно, в Одессе они как неродные, а вот там, где-то…

Мы сидим с Эрвандом в большом и практически пустом пивном зале при какой-то новой гостинице. Весь этот район новый, сюда от центра ехать и ехать. Домà, домà… Большие магазины… Столица. Масштабы.

Когда подходили ко входу, Эрванд показал на с кем-то беседующую женщину:

– Здешняя проститутка.

Я удивился – очень уж невзрачна местная достопримечательность. Он не объяснил. Просто проходил мимо и сказал – кому еще показать свою осведомленность, как не приезжему?

Мы поднялись на второй этаж. Захарянц заказал по бокалу пива и соленые орешки. Потом уже, смакуя пиво, проговорил:

– Вот это был мой дневной рацион.

И добавил:

– Достаточно долго.

…Он уже давно договаривался о переходе из «Комсомольской правды», где тогда работал, в «Литературку». Долго не получалось, пока наконец не дали добро. Не в «Комсомолке», нет. Там к тому времени все настолько обострилось, что заявление об уходе подписали мгновенно. Добро должна была дать и наконец-то дала «Литературная газета», и он вздохнул с облегчением. Наконец-то. На его заявлении «Прошу принять…» начертали долгожданное «В отдел кадров», оставалось только представить трудовую книжку.

Трудовую книжку с записью «Уволен по собственному…» из «Комсомольской правды» он принес, а вот сделать запись «Принят… на должность…» в отделе кадров «Литературки» почему-то не поспешили. Что-то застопорило ход бюрократических процедур. Не спешили, не объяснялись и не обещались. Но ведь дали добро! Что тут делать? Не подавать же в суд на редактора!.. Насчет суда это не Захарянц, это я – так, для красного словца. Какой суд?!

Что-то там у них, в «Литературке», случилось. Может, Захарянц и догадывался, что за причина такая вдруг появилась, от которой всем неловко стало ему в глаза смотреть… Может, и догадывался.

И потянулись месяцы ожидания. Денег нет. Занимать? В расчете на что? Просить? Просить – это зависимость. Он один в большой Москве… Говорят, одиноким можно быть и в толпе. А я скажу, что толпа – это множество одиноких…

А в какой-то момент проявилось, что Эрванд-то армянин! И что у него в Армении есть родня. И что его рады там видеть… И он уехал гостить в Армению.

Я не спросил, кто кого нашел – он родственников или родственники его, да это и неважно. Важно, что не один, что есть родня, и родня ему рада. (Кстати, мы с Эрвандом потому и сидели в казенном пивном зале, что дома у него, в однокомнатной квартире, обосновались ереванские гости Москвы.)

Я понял, что в Армении он отдохнул душой, попутешествовал и даже написал сценарий, по которому – даже! – сняли фильм. Я потом вспомнил, что видел этот фильм – случайно и не с самого начала – с фамилией Захарянц в титрах. Тогда подумал, что однофамильцы, а оказывается… Да, раздумчивый, лиричный такой телерассказ об Армении, и запомнилось чувство отрешенности от всего-всего, только горы, небо…

Пока гостил в Армении, дождался, что в Москве решился вопрос с работой, и вот он в «Литературке». На второй тетрадке. Все хорошо.

Вот готовил доклад редактора. Не лишь бы куда – на съезд писателей.

Ну да, на съезд писателей. Не шутка. Понятно, что не речь на съезде в числе других речей, а доклад редактора писательской газеты. Тут и панорама страны должна быть, и на этом фоне писательская жизнь с проблемами (какая же жизнь без проблем?), и собственно газета – вчерашняя, сегодняшняя и, конечно, на перспективу. Я эту объемность чувствую, но он о ней не говорит. А говорит – как интересно делать свежими уже будто затертые выражения. Стòит только в устоявшемся сочетании слов поменять хотя бы одно, как срабатывает принцип неожиданности: ждешь привычного – ан нет, оно не то. И внимание зала уже не усыпляется словесным штампом, а наоборот, это самое внимание как будто подзаряжается все время.

Доклад понравился и редактору, и слушали хорошо.

Я потом подумал… Как-то привычным стало это – пишет один, а аплодисменты снимает другой. Да, это правда, что не мы одни такие, и слово «спичрайтер» по миру не от нас пошло, но как-то пòшло это, и стыдно должно бы быть. Однако нет, не стыдно. Как будто само собой разумеется, что стоящий на трибуне сам писать не должен. Конечно, всякое может случиться. Однако если не композитор, например, исполняет свое сочинение, а это обычно так и бывает, то его имя обязательно же называют, а как иначе?..

Но тогда я не думал об этом, да и Эрванд наверняка не думал. А было ему просто приятно, что дело сделалось хорошо, и ему приятно было этим похвастать. Хотя слово «похвастать»

вроде бы и не к нему, но вот не умолчал же ни про шестнадцатую полосу, ни про удачный доклад. Хотелось все же, чтобы кто-то оценил, а вокруг, видать, мало кто хотел это сделать. И он и от меня не ждал похвалы, нет, он сам себя похвалил, но вслух, чтобы я услышал.

И еще чтоб я услышал про туберкулез. И в легких, и еще, и еще…

Туберкулез. Значит, вернулся? И даже пошел вширь…

Когда сам здоров, то и не знаешь, как отнестись к чужой болезни. Жаль, конечно, ну а дальше что? Ну, можно спросить, в чем проявляется. Но это всё праздные вопросы. Помочь-то чем? Жить в ожидании смерти – это как? И нечем помочь. Просто жаль, вот и всё.

Некролог

…Почему Шурика не взял. Будто она вещь – упаковал и привез. Поехал бы сам в Одессу! Нет, поехать в Одессу пока в планах нет… У него в планах нет, у нее в планах нет, так больше и не встретились.

А вот сестра Шурика Лина… Как-то, вернувшись из поездки в Москву, она показала Шурику снимки с Эрвандом в черном конверте из-под фотобумаги. Должна была с ним поделиться, но его телефон не отвечал, так все снимки остались у нее.

Когда попадали в Москву, останавливались у Фанечки – это у сестер двоюродная тетка по отцу. От Фанечки Лина тогда позвонила Эрванду, сказала, что в Москве и что собирается к тетке на дачу, так что если хочет повидаться, пусть приезжает к ним на 5-ю Тверскую-Ямскую, Фанечкин муж отвезет. На даче Фанечкин муж их и фотографировал. Лина на фотографиях с готовностью улыбается, а Эрванд по обыкновению спокойно сосредоточен и по обыкновению в берете. Это его, как сейчас говорят, имидж. Не кепочка, не шапка зимой. Берет.

Для москвичей дачное Подмосковье – большая отрада. Хоть Переделкино, хоть в любую сторону. Да и сама Москва москвичу совсем не то, что проезжему-приезжему командированному.

Мы видим только вокзал, метро да столовую где-нибудь на Варшавском шоссе. А москвич может забрести зимой в какие-нибудь заснеженные Сокольники и полюбоваться пустынной аллеей с как будто примерзшей друг к другу парочкой. Или в хороший летний день заглянуть ненароком в сад Мандельштама, где на крашеной скамейке, врытой в землю рядом с лопухами, греется на солнышке старомодная старушка в вязаной шапочке. Шапочка похожа и на шляпку гриба, и на шарик одуванчика. Теплынь, ни ветерка, и на пруду ни рябинки – гладь.

Конечно, Захарянц знал Москву не только парадную, но наверняка не мог он знать ее такою, какою знают ее выросшие в ней москвичи. Как знают Одессу выросшие в ней одесситы. Потому что только в свободном от взрослых забот детстве есть время и неутомимые ноги, чтобы сунуть свой нос в еще неизведанную щель. А этих щелей – тьма… Всем удобна для жизни Москва, только вот…

– Опять без Шурика приехал…

Подмосковные фотографии Захарянца лежат в Одессе, а сам он в Одессу уже не вернулся. Не знаю, гадали ли ему гадалки, или нет, а если гадали, то что там нагадали в графе «Чем сердце успокоится». Только умер он не в постели и, как надо бы сказать, по своей воле.

Может, именно из-за этого его своеволия дисциплинированная газета «Комсомольская правда», заметным сотрудником которой он еще недавно был, «Комсомолка», к своим всегда чуткая, в случае с Захарянцем на некролог не сподобилась, и это в Одессе заметили. А «Литературка» некролог дала, уважительный и с печальной горечью. В Москву собрались товарищи Захарянца по молодежной газете, говорили потом, что искали меня (считали близким ему человеком), но не нашли. Поехали, чтоб попрощаться от Одессы.

И первое, о чем тогда подумалось, это именно туберкулез. Не я один знал о переживаниях Захарянца. И каждый как-то мог себе представить, каково это – жить в непрестанном ожидании начала конца. Зная в подробностях, как это будет происходить – вначале, потом…

Но как-то опять была в Москве Лина. Остановилась, как обычно, у Фанечки, позвонила уже не Эрванду, а его жене, уже давно бывшей жене, с которой была знакома еще с Одессы, когда все у них было безоблачно. И не просто была знакома, но и дружна, и достаточно доверительно, и даже теперь доверительно, потому что не одобряла никогда их неожиданного развода. Даже язык не поворачивался сказать – «бывшая».

У людей сомневающихся в ходу поговорка «вскрытие покажет»… Жена Эрванда Захарянца рассказала Лине, что по результатам вскрытия, то есть, как следует из заключения патологоанатома, никаких новых очагов туберкулеза в организме не обнаружено. Не было новых очагов. Ни в легких, нигде. Вот так.

А о Тане-Татьяне из старокрымского санатория я узнал уже после смерти Захарянца. Конечно, в Москве они могли и встретиться, случайно увидеть друг друга в толчее универмага где-нибудь на Колхозной площади. Он вполне мог и захотеть разыскать ее, по крайней мере когда остался один. Спросить его об этом могла только Шурочка, но, как мы знаем, после его отъезда из Одессы они больше не виделись.

Евгений Деменок

Калейдоскоп

Sub rosa

21 декабря 2014 года потомственный главный бухгалтер Константин Сергеевич Долгоруков пришел с работы домой и сел за обеденный стол. Он был дома один, супруга с работы задерживалась, и, собственно говоря, он мог бы усесться на диван или даже в кресло, ведь стол был пустым. Тем не менее он сел именно за него, повинуясь неясному еще внутреннему порыву. Захотелось думать о чем-то прекрасном и даже записывать свои мысли. Константин Сергеевич попробовал было встать и пойти в соседнюю комнату за листом бумаги и карандашом, но внезапно это показалось совсем неважным.

Он закрыл глаза, и поток невнятных образов увлек его. Ему словно начали показывать кино, и он был настолько этим фильмом очарован, что собственные мысли оказались вовсе и ненужными, куда-то отступили, никак не мешая той звенящей тишине, в которой он вдруг оказался.

Он находился то в центре, то сбоку огромного цветка, у которого вместо отмирающих старых вырастали все новые и новые лепестки. Цветок был огромным, рос из воды и казался ему то лотосом, то розой. По сравнению с этим цветком сам он был просто крошечным, но это его никак не беспокоило. Иногда ему казалось, что сам он – один из этих лепестков. Иногда – что просто сторонний наблюдатель.

Вдруг Константин Сергеевич ощутил рядом с собой некое присутствие кого-то величественного и вместе с тем прекрасного. И эта величественность его тоже совсем не пугала.

Без всякого интеллектуального напряжения и сомнений он вдруг осознал, что это Бог. Осмыслить его он даже не пытался, но попытался почувствовать.

И ему это удалось.

Легко и естественно он понял, что два главных чувства, которые испытывает, – это чувства любви и абсолютной защищенности. Ничего плохого больше никогда не могло произойти.

Слезы сами собой покатились из его закрытых глаз. Он был абсолютно счастлив.

Так же, с закрытыми глазами, он услышал, как открылась дверь. Жена позвала его с порога и, не дождавшись ответа, вошла в гостиную. Постояла возле него молча, с некоторой тревогой спросила, все ли в порядке, погладила по голове и ушла на кухню.

Роза продолжала распускаться, но как-то поблекла – если вначале она была то красной, то золотой, то теперь становилась то сдержанно бежевой, то голубоватой. Чувство божественного присутствия стало слабее. Ощутимо слабее. Появились мысли. Он вспомнил вдруг, что состояние полного отсутствия мыслей испытывал перед этим лишь однажды, сидя ранним утром на галечном пляже в Гурзуфе, когда волны, накатываясь и убегая, переворачивали камни. Мысль эта была ему сейчас совершенно не нужна, но отогнать ее, как и последующие, он уже не мог.

Постепенно он начал приходить в себя. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Осторожно открыл глаза. Взглянув на часы, удивился – он просидел так почти полтора часа.

Того, что с ним случилось, жене он объяснить не смог. Не хватало слов, а те, что были, казались по сравнению с пережитым ничтожно пустыми.

Если бы он увлекался мистикой, глубже разбирался в философии или в истории религий, то непременно бы вспомнил, что уже в Упанишадах лотос, растущий в океане бесконечных рождений и смертей, представлял собой проявленную вселенную. Возможно, вспомнил бы, что Брахма, бог творения в индуизме, создатель вселенной, родился именно из цветка лотоса, выросшего из пупка Вишну.

Занимайся он йогой, наверняка бы вспомнил, что падмасана названа именно в честь лотоса, а каждая из семи чакр имеет форму лотоса разного цвета и с разным количеством лепестков.

И, без сомнения, вспомнил бы и то, что в западной культуре место лотоса как центра мироздания и символа вечно обновляющегося мира занимает именно роза.

Может быть, он вспомнил бы средневековую легенду о чуде с розами и символ розенкрейцеров. Начал бы припоминать богов и святых, атрибутами которых является этот цветок.

И уж точно, стопроцентно решил бы прочесть наконец «Розу мира» Даниила Андреева.

Но все эти далекие от прикладной, практической пользы и не имеющие экономической составляющей знания Константина Сергеевича никогда не интересовали. Были ему совершенно чужды. Поэтому никакие такие мысли и ассоциации в его голову не приходили.

Но, возможно, в тот момент они бы ему даже помешали.

Часть вторая

Никто, конечно, мне не верит. Все думают, что это – ловко сделанная фальшивка. Никого не убеждает то, что я жил с ним в одном дворе. Никто не верит в то, что мы могли с ним подружиться. Действительно, мне было одиннадцать, а ему почти пятьдесят. Но подружиться в таком случае даже легче. Хотя мы были очень разными. Мне страшно нравились все эти вооруженные солдаты, выстрелы по вечерам, валяющиеся на улицах гильзы. Красные флаги. Его все это ужасало. Наверное, потому он и уехал. Я долго не знал, куда. Потом уже узнал о Париже.

Больше я никогда его не видел и писем от него, разумеется, не получал. Да и как вы представляете себе письмо из Парижа в почтовом ящике коммунальной квартиры на Баранова, 27?

Перед отъездом он принес мне рукопись, завернутую в плотную коричневую бумагу. Принес и попросил надежно спрятать, лучше – закопать.

– Ты мальчишка, тебя никто не заподозрит. Запомни только место. Я обязательно вернусь за ней. Не раскрывай ее и не читай. Обещаешь?

Я пообещал.

Он крепко пожал мне руку.

Я сделал все, как он просил.

Много лет спустя я узнал о том, что он умер.

Рукопись сейчас у меня дома. Теперь, когда можно все, я пытаюсь ее опубликовать. Но издатели лишь смеются, увидев заголовок:

«Иван Бунин. Окаянные дни. Часть вторая».

Борхес и Он (литературный *ready made*)

Я написал о Нем. Я – это, как и вы, вольный гражданин мира. Он – Единственный Великий Поэт, крыловейный Мудрец. Футурист-Песнебоец. Живой Памятник на глыбе Своего Творчества.

Это он, Борхес, причастен к суетной жизни. Я же тихо брожу по Буэнос-Айресу и, быть может, уже неосознанно замедляю шаги перед аркой портала или вязью чугунной решетки.

Я и Он. Два лица, два существа, два друга, две дороги рядом, два бога, два дьявола. Я – это когда вкусно и плотно обедаю, пью вино, черный кофе, курю дорогую сигару. Он – это когда в полетах птиц, в движенье ветра, в изгибе радуги, в травоцветенье или в ритме прибойных волн моря видит мудрый смысл песни: И где-нибудь в шатре на Каме Я буду сам варить картошку и, засыпая с рыбаками, вертеть махорочную ножку. Он – всегда в творческом созерцанье. Он – бесплотен и легок, как ангел. Я же – весь в суете человеческих дел и непрестанных событий. Я всегда – со всеми в куче муравейника. Он – одинок, высок и оснежен вечностью – будто вершина Казбека. Я коммерсант или кавалер, пассажир или рабочий, квартирант или слежу за чисткой штиблет и зубов. Я – главное – издатель Его сочинений, антрепренер Его лекций – гастролей, устроитель Его выступлений – триумфов.

О Борхесе я получаю известия по почте и вижу его фамилию то в списке на замещение профессорской должности, то в словаре персоналий. Мне нравятся географические карты, шрифт восемнадцатого века, этимологии, песочные часы, вкус кофе и проза Стивенсона. Другой имеет те же пристрастия, но он их слегка афиширует и тем превращает в аксессуары актера.

Он – трепетно – гордо любит Книгу, а я занимаюсь распространеньем. Он – любит подарить Книгу Свою, а я предпочитаю продать и получить деньги. Он – сгорая в увлеченье – читает лекцию и следит за красотою стройности речи, а я думаю о кассе. Его часто приглашают выступить с речью или со стихами, и Он никогда не подумает о гонораре – меня же гонорар интересует нервно, и я жду высокой заработной платы, как этого ждет каждый мастер у своего станка. Ведь я знаю – Ему необходима вольная, широкая, многогранная, яркая, феерическая жизнь. Жизнь – Поэта Жизни. Жизнь – путешествующего бога с подарками. Жизнь – открывателя апельсиновых рощ.

Неверно думать, будто мы питаем вражду друг к другу. Я живу, я стараюсь жить, чтобы Борхес мог сочинять свои книги, а эти книги меня оправдывают. Без ложной скромности можно сказать, что ему удались кое-какие страницы, но мне от этого мало проку, ибо удача, я думаю, уже не личная собственность – даже того, другого, – а достояние речи и литературной традиции. В конечном счете мне предназначен уход из жизни, раз и навеки, и лишь на одно мгновение я смогу себя пережить в другом. Мало-помалу я отдаю ему все, хотя вижу в нем пагубную наклонность к вымыслам и преувеличениям.

Я строго автономен в жизненной борьбе, как Он в своем Творчестве. Часто мы не мешаем друг другу, а иногда расходимся во взглядах и начинаем состязаться в истинности положенья. Побеждает тот из двух, кто в данный момент окрасится ярче, острее, звучальнее.

Спиноза мыслил, что сущее хочет всегда оставаться самим собою: камень хочет остаться камнем, тигр – тигром. Мне же надо быть Борхесом, а не собой (если вообще я был кем-то), но в его книгах я теперь себя вижу реже, чем во многих других или в искусном звучании гитары. Я и раньше пытался с ним распрощаться – от мифов о наших предместьях перешел к играм на темы времени и бесконечности, но эти игры тешат нынешнего Борхеса, и мне пора придумывать новые штуки. А это значит, что жизнь моя – сплошное бегство, и я утрачиваю все, и обращаю все в забвение или в того, другого.

Я много работаю и очень устаю, но никогда никому не жалуюсь: ведь знаю, что всем, по существу, наплевать и на меня, и на Него (с особым удовольствием), и на все божественное Искусство. Тупой эгоизм близких, друзей, врагов – одинаково преимуществует. И никому нет дела до меня и Поэта. И если завтра сгинет Поэт с голоду или от гнета нужды – никто может не узнать об этой великой печали: потому что никто не заботился о Нем.

Не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.

Два Папы

Теперь все сошлось.

Удивительно, как я не заметил этого раньше.

Хорошо, что понял сейчас. Ведь все так очевидно.

Они были такими разными – и в то же время похожими. Родились в один и тот же день. Первый, художник, был старше на семнадцать лет, но пережил второго почти на шесть.

У обоих был поврежден левый глаз. Одному даже пришлось его удалить, и всю жизнь он носил искусственный. Не представляю себе этого. Не представляю, какие именно искусственные глаза делали сто лет назад. Наверняка они были тяжелыми и твердыми. Потому и приходилось напрягать все время мышцы лица. Потому недоброжелатели и называли его «кривомордым». А как с таким глазом спать? Нужно ли было класть его в стаканчик, в специальный раствор, как вставную челюсть? Вопросов много.

Плюс во всем этом был один – не пришлось идти на войну, погибать за родину. Говорят, он даже вынул на спор где-то на Дальнем Востоке свой глаз, чтобы доказать офицеру, что непригоден к военной службе. Доказал. Выжил – единственный из братьев. Войну и насилие всю жизнь ненавидел. Вспоминал с ужасом, как отец брал его с собой на охоту, и пришлось однажды добивать перочинным ножом зайца.

Другому повезло больше. Глазной дефект был врожденным, достался ему от матери, но внешне не был заметен, потому популярностью у женщин он пользовался гораздо большей, чем первый. Но на войну все равно не взяли. А он хотел. Очень хотел.

И поехал на нее, обрадовавшись кадровому набору Красного Креста. Отцовские уроки охоты и рыбной ловли воспринял с восторгом – и не мыслил свою жизнь без них. Как и без войны – после первой, спустя девятнадцать лет, принял участие во второй, а затем и в третьей.

Оба страстно любили море и не мыслили свою жизнь без яхт. Первого в это втянули сыновья, и он написал сотни холстов с палубы небольших семейных парусных лодок – только такие они могли себе позволить. Он даже завещал развеять свой прах с борта любимой яхты, что сыновья с внуками и сделали.

Яхта второго была моторной, он владел ею целых двадцать семь лет, и название ее стало именем нарицательным. Правда, и тут он не мог обойтись без войны – охотился на своей моторке за немецкими подлодками. И ловил, бесконечно ловил рыбу – всех этих марлинов и акул. Чего первый терпеть не мог. Интересно, что в своем предпоследнем романе, полностью посвященном жизни в море, он представил сам себя в образе художника.

Оба прожили большую часть жизни на островах. Оба любили Флориду. Первый устроил выставку на Кубе год спустя после того, как второй, живший как раз там, получил Нобелевскую премию. Второй, конечно, об этом не знал, да и вряд ли вообще догадывался о существовании первого. Первый же второго читал и ценил.

Рождение в один день. Поврежденный левый глаз. Страстная любовь к морю. Мало того – обоих во второй половине жизни называли папами.

Они никогда не были друг с другом знакомы. Но с тех пор как я прочел в детстве биографию второго, я мечтал стать автором книги в этой существующей уже почти девяносто лет серии. И только написав биографию первого, понял, как много в их судьбах удивительных совпадений.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Поэзия

150 Тина Арсеньева
Из цикла «Благослови мимоидущего»

157 Влада Ильинская
Заводят только звуки арфы

163 Валерий Сухарев
Хором читают букварь

169 Татьяна Орбатова
Акварели

174 Константин А. Ильницкий
Место приложения любви

181 Віталія Бабущак
Життя проходить, наче спалах

189 Виктор Фет
Забвения река

Тина Арсеньева

Из цикла «Благослови мимоидущего»

На даче

Галине Мещеряковой

Вино и фрукты на столе,
В охвате тремоло сверчков,
И под откосами, во мгле,
Сверк нереидиных зрачков;

Гитары сбивчивый пролог
Стеснен средь звездных косяков;
И встречь губам – ответный вздрог
Слепых дурманящих цветков;

И этот сбивчивый, родной
О всепланетном толк – в глуши,
И тайный вздох: «*О, сад ночной!..*» –
Ночной – перст на устах – души.

Она из тех – еще налей!.. –
С лица земли сошедших мест,
Где сад в охвате тополей
И на заборе мой насест,

Где, одинокий часовой, –
Одна – подзвездно – навсегда! –
С закинутою головой
Вперяюсь: вот падет звезда –

Сорвется, как внезапный вскрик,
Как прочерк в списочном листе…
И кто-то в этот самый миг
Меня заметит в темноте.

Но мне постигнуть не дано,
Как взор сей пристален и прост:
Ведь я давным-давным-давно
Покинула мой райский пост…

Чем щедр был, чем отягощен
Тот сад – не помнится земле.
Мне весело. Взмахнув плащом,
Выводит ночь парад-алле.

Вино и хлеб – о, сих наград
С лихвой, чтоб сбить любую спесь.
Нет памяти о прежнем, брат.
Но уповаю: будет песнь.

Берег

И пошел отсчет последних дней
О медвяной Спасовой поре;
Мелкой дрожью рейдовых огней
Горизонт ответствует жаре.

Но ее заржавели тиски,
И шалашный рай идет на слом,
Где бульвара гулкие бруски
Метят бриз октановым числом;

Где геенны красное стило,
Очертив, обуглило слегка
Сросшиеся в синее крыло
Над колодцем солнца облака…

Спасовый успенья обиняк!
Бережный искус последних крох…
Душной ночью мчится молодняк
Урывать Эдема смертный вздох.

И поди ту песню оборви,
И смоги не знать наверняка,
Как недолги радости любви,
Но зато печали – на века…

* * *

Twas so good to be young then
To be close to the earth
Now the green leaves of summer
Are calling me home…

Деревам грядет ризоположений
Время, но и в кроткой их поре
Тополь, скорбный страж царствия блаженных,
Руки ломит, вскинуты горе.

Сколько же блаженств, стоя на пороге,
Мне наплакал райский часовой!
Были небеса отчески нестроги
Над моей блажною головой.

Может, оттого все еще живая,
В упованье света – не огня,
Что, к Всесудие ветви воздевая,
Тополь слезно молит за меня.

Знать, от той поры песня, как вначале,
Дав охлёст секундам и часам,
Древо-утоли-дольние-печали
Взор мой притянуло к небесам.

Чтобы на веку, сколь ни правь, горбатом,
Натвердо окрепла бы земля,
Звонами лиясь и гудя набатом,
Небо раскачали тополя.

В сень сойдясь к столу, ладят поколенья,
Но в разгар торжеств и напролом,
Из скудельных – прочь – в вечные селенья
Тополь порывается крылом.

И когда твое сякнет упованье,
Тетивы не чувствует стрела, –
Слушай тополя: слушай отпеванье
Сей секунды, что уже – была…

* * *

Кому-то тракт, широк и позолочен,
Жизнь выстелит и даст в пути питье;
А я, глотая пыль ее обочин, –
Какого чуда жду я от нее?..

И что взяла у неба напрокат?
Какой в заплечной торбе сладкий кус?
Счета кукушки, таймеры цикад,
Горошка-пластуна валетный ус.

Не я одна – за мной таких гурьба
В пути, беспутных братьев и сестер:
Обочинными травами гульба
И с тракта совлекающий костер;

Надорванные наши голоса
В одном утверждены: иди, сынок!..
Над нами нараспашку небеса,
И каждый предстоит им одинок.

Отдаривая песней по дворам
И досадив ленивым сторожам, –
Свой камень возложив, оставлю храм,
Приставлена к полынным рубежам.

Я ни обид, ни денег не скопила,
Как первый крик, от смысла далека.
Я трын-трава, стрекучая крапива,
Что по канавам ищет родника,

Но, вверена лишь неба попеченью,
Росинку взвесит бережным листом…
А ты, по тракту и по назначенью
Мчащ, – осени прохожую крестом.

* * *

Давай же, сводничай, провайдер,
И если сбыться встрече пылкой,
То не в адажио Вивальди,
А за приятельской бутылкой.

Чтоб в залежь трезвостей плачевных,
Чей слой благонадежно косен,
Вошло смятенье, как в сочельник –
Последний выдох павших сосен.

Так кукольную несуразность
Вертепа с бойким зазывалой
Живит молитвенная праздность
Тоски по встрече небывалой.

Вот так из графика и сметы,
Из колеи, с резьбы, с катушек
Хвост неприкаянной кометы
Сатрапа выбьет и пастушек.

Сверчку, цикаде и прибою
Доверимся светло и сиро
В безумном праве быть собою,
Ничем не будучи для мира.

А мир, грозящий нагоняем,
Как водится, хватился поздно,
Ведь тот любовник несменяем,
С которым ввек пребудешь розно.

Хватило духу бы свирели,
Достало б жесткости у диска…
Так жаворóнок ночью трели
Излил на смертный одр Франциска.

Зажги сочельниковы свечи
И расколи броню ореха;
Вообрази возможность встречи,
Вокруг которой жизнь – прореха.

Прими вино и угощенье
В помин любовного страданья
И эту жизнь как обольщенье
Бессрочной грезой ожиданья.

Но в нем сокрыто изначально
Не о земле обетованье!
Вот почему всегда печально
Звезды вечерней волхвованье.

* * *

У честных керубов, должно быть, засохли чернила,
Которыми ябеду Богу на душу мою
Писали, – я мимо пыталась, но что-то манило;
Вблизи извертелась – уже на коленях стою;

Край ленты целую – смешно, что колени заныли!.. –
Вчера еще умница, ныне сама простота, –
Вчера еще паж, посвящаема в рыцари ныне,
На верность обет приношу к основанью креста.

Я, Господи, тайны взыскую – не чуда, не клада, –
Я ведаю силу смиренья и тщéты в борьбе, –
Но дух обкорнать, словно куст монастырского сада,
Мне вряд ли удастся, при всем послушанье Тебе.

Я горькое зелье, полынная веточка в храме;
Мой дар – вопрошанье, от века свободен и сир.
Исправь меня, Боже, как сбой во вселенской программе,
Когда Ты сочтешь, что поэт не исправил сей мир.

Влада Ильинская

Заводят только звуки арфы

* * *

написанная победителями,
не терпящая сослагательного наклонения,
требующая
целительного заклинания
неподчиненного предложения
(если не думать об этом заранее)
скажет потом – люблю его раннего

* * *

рики-тики –
кьявик Вале
Коле тоже,
только позже
это им
не задавали,
но ведь задним
тоже можно!
плохо видит
дядя Стёпа,
выдающийся
растяпа
он циклопа от холопа
отличает только
с кляпом
что ж давайте

подытожим
кто-то очень
толстокожий
почему
не встал
у стенки?
отвечать
не хочет может?
оттого румяна
рожа,
и вальсируют
коленки?
оттого дрожат
поджилки
оттого намокли
брюки,
что лишиться
сладкой жизни
горче редьки
проще брюквы
тили-тили
били били
трали-вали
на подвале
чтоб,
бессовестной
скотине,
было не повадно
Вале
тут разгуливать
по воле
и писать
свои шедевры
Валя – псих
и алкоголик
Вале – крестик
Валя – нолик

не последний
и не первый…

* * *

воображаемую Марфу
заводят только звуки арфы,
она в кармане носит шарфик –
конечно же китайский шелк

воображаемую Марлу
периодически кумарит,
тогда она приходит к Марфе,
и им бывает хорошо

не в понедельник – это точно,
хоть Марфа пашет на заочке,
и не во вторник, между прочим,
по вторникам церковный хор

и вот, казалось, по средам бы,
но там риторика и ямбы,
а после – музыка и самбо,
и с зеркалом неспешный спор

воображаемая Марла
по четвергам играет в нарды,
воображаемая Марфа –
по четвергам танцует тверк

и сложно девушкам обеим:
ведь не играть самим себе им?
они сцепились из-за гея
в тот самый пакостный четверг

а Марла с ним уже мечтала
послушать вместе Джетротала…

и Марфа досконально знала,
какой из парня выйдет прок

в итоге – обе без партнера,
а гей улаживает споры…
смеется в облаке Аврора
и санитар плетет шнурок

бумеранг

слезы умерят оптический пыл зрачка,
черная точка уже не клеймит закат,
улица дышит лишь звуком твоих шагов,
сердце стучит, выходит из берегов

так ли уж важно, чья тут была вина?
все исчезает, только твоя спина
ближе и ближе, как будто в кошмарном сне –
ты, наконец, поворачиваешься ко мне

гора

абонент лежит,
и бежит сигнал,
не жалея жил,
но сулит финал
овертон окна,
и гора лежит.
абонент привстал,
перевел устав,
перевел режим.
перевелся с лайфа
на киевстар –
но гора лежит.
абонент, дружок,

это просто шок,
это только сон.
ну давай шажок,
и еще шажок –
открывай сезон.
не хватает квот,
и плетется год,
точно вечный жид…
очень странный год,
но и он идет,
а гора лежит…
сам себе в горах
выдал на-гора
новогорный гимн.
под лежачий камень
течет ура –
абонент храним

* * *

ведь нормально сидели, и было же все до фени им –
ни кола, ни двора, ни страны, ни семьи, ни племени…
так возились бы дальше в саду, да под сенью райскою,
кожурой подтираясь то собственной, то хозяйскою

но пока здесь бардак, калиюга и одиночество,
золоченым плодам как попало висеть не хочется:
как искрятся они, как прекрасны в своем свечении;
золотые плоды – предшественники сечения

перезреть в одиночестве, что может быть ужаснее?
и кора превращается в змия с разверстой пастию,
и густая листва заряжает свой сладостно-подлый гимн,
золотыми огнями плоды осыпая под ноги…

—

но ни он, ни она одного не учли, придурки, –
золотые плоды полагается есть без шкурки,

и тогда уж тебя не заметит ни бог, ни дьявол –
одинакова кожа, отрезанная от яблок

* * *

не выходи из сумрака, не совершай оплошность
сбрую починишь – тотчас же откажет лошадь
чтоб в безнадежной борьбе не увязло мясо –
не выходи из образа – изображай Пегаса

не выходи из образа. не выглядывай из гандона –
пролетишь, тихонько, как мошка над Уимблдоном.
ей не то что бы в мокшу – пробиться хотя бы в люди…
только не выползай из кокона, не оставляй иллюзий

не выползай из кокона и попробуй не нагнетать азарта
видишь черными дырами равномерно покрылась карта
воздух закипает и переплавляется постепенно
не покидай укрытия, пожалуйста, не отключай систему

так не покидай укрытия и на кого попало не трать ресурсы,
а на любой вопрос отвечай: извиняйте, братва, не в курсе,
никогда и никому не жалей искусственные улыбки
и, разумеется, не выходи из комнаты, не повторяй ошибку

Валерий Сухарев

Хором читают букварь

Околица империи

1.

Град заокольный, звон колокольный,
валится тьма на дома;
женщина хнычет – девочке больно,
обе сходят с ума.

Что я там делал, улицей белой
от фонарей и снегов,
движась к ночлегу и то и дело
валясь в снежный альков,

в сугроб лицом; портрет повесят
твой, украсив стены домов;
ты была там, а я был здеся,
висел на стропиле улов.

В этой провинции все дефиниции
сводятся вот к чему:
храм и цвинтар, больница, полиция,
в школе Тургенев, «Муму».

И никому ничего здесь не светит,
будущность как фонарь
на пустыре; громогласные дети
хором читают букварь.

Ночами длинными и под лучиной
тусклую пряжу сучат
девы, и не от корявых мужчин оне
своих рожают сучат.

Здесь бесполезно кого-то бояться,
тихие все кругом;
в барской усадьбе музейные яйца
чешет, стуча сапогом,

сторож; пахнет и прочим: мышами,
лаком паркета, котом…
Не стоит здесь говорить по душам,
худо будет потом.

2.

Кадки в сенях, Богородица в красном углу,
запахи спирта и разносолов; дурную юлу
напоминая, куцый дворовый песик пчелу

проглотил и постарел, кусая себя за хвост,
в овине призрак встал и замерз во весь рост,
и грунтом в коровьих лепешках пестрит погост.

За месяц здесь можно сойти с ума и запеть
басом, спиться и затеряться в розной толпе
сосенок, в поповну влюбиться, освоив плеть

вместо досужего пряника, а потом позабыть,
с иной уползая в шинок или же по грибы,
и продавать на лесопилке народу косые гробы.

Отловить люля и кебабов за первые три
дня по приезде, а после – до тусклой зари
прикладывать лед к губе; а позже – считать фонари

главной улицы – до сельпо; и в доме найти
Пикуля и д'Аннунцио; и по пустому пути
к почте – трижды счесть на устах до десяти.

Не завидуй, читатель, бо тебе там не
побывать, не есть маринады, не пить вдвойне
отстоянный самогон, и не лезть к жене

егеря, что на заимке год сидит, почитай,
там у него брага, своя красота-гюльчатай,
и родного края, юннаты в шортах; проста и

понятна живучесть его, похожая на Индостан,
и думы о смерти, когда он печально пьян.
Пауки глядят исподлобья, охраняя пыльный бурьян.

Масленица

Склон был, как бритый солдатский затылок;
размахивая воздухом, колокольня
сияла своим барокко; и, наподобье бутылок,
торчали пузатые маковки, весь окольный

мир орошая дребезгом, згой грачей и звуком;
молод и пьян был звонарь, грехи заглушая
медными гласными с призвуками; длинные руки
помнили, став буквой «г», что округа большая.

Выпав за скобку серпа, молот на старом плакате
напоминал деталь от советского самоката – те,
на коленке собранные уродцы быта, что нравились Кате,
соседке по дому, красивой и убитой зимой в Воркуте.

Воротило уже от блинов, – как оперные христиане,
мы отправились в Лхассу тропой самогона,

с мнимым Лао-цзы на устах продвинутой Ани
из Вышнего Волочка, похожей на Антигону с Горгоной.

Дивная Масленица, лживая, как подруга подруги;
можно оставить как есть хорошие с виду тела,
куда-нибудь стырить себя, полоща проулки округи,
с флягой, наполненной ядом; и луна как сажа бела.

Прощеное воскресение

Мышь учит тишине, кот – темноте,
слова и буквы – паузам на листе,
смерть – ничему, кроме удаления.
Человек кружит в завитке переулка, глух
к самому себе и, меж шагов, не вслух,
имена произносит и даты – преодоления

чужака внутри, далеких в ближних; и это
вроде гимнастики Мнемозины; с того света
памяти появляются лица, осанки, походки,
случайностью жизни стертые, страстью залитые,
точно слюной Помпеи живые стены и плиты;
подчас увильнувшие в Вечность тебе как погодки.

Они уже ничего не скажут и не подведут
к ларям и дверям разгадок, рассядутся там и тут
и станут длинно молчать, ногу на ногу, и не
будут пугать и тревожить, что призрак ночной,
как полотном экрана пользуясь темной стеной,
за каковой никого и никогда не бывало в помине.

Диалог невозможен, одни догадки и спесь
рассудка, покуда он в тонусе и роет здесь,
взыскуя общих примет и шпаргалок с того света,
где холодом дышит близь и бликует даль

мрамором; где, как в Лейденской банке, печаль –
и та одинока, но никому не расскажет об этом.

Я никого не наказывал строго, и оттого
всех простил, подмахнувши разом, и своего
не ища, как не ищет любовь земная.
Нет в том лицемерия, но и благодушия нет,
и право любви – выбирать, кого на тот свет
заберешь, себе о любивших и любящих напоминая.

* * *

Древнее, чем вид из окна, если долго жить
с видом на лес или реку, – только тоска,
в виде прохожих снов или пыли, на витражи
зрения легший; жилки червяк, что у виска,

пульсирует, особо, когда болит голова;
валерьяновые на вкус ливни занавесят окно;
в мире тесно от слов: фразы ненависти на слова
любви наползают, как русский на немца в кино.

Заведи себе кошку… Завел. Девицу заведи…
Тоже. Но радости мало от той и другой;
сумерки хлопочут над кофе, и еще впереди
мной раздраженная ночь, пни ее ногой,

поставь на горох, на пост номер один в углу,
где перегорел торшер, как луна в облаках;
не думай, что живущему так уж надобно вглубь
себя, – там хтонический ужас, кандалы на руках

скрипача, медный шар на лодыжках стайера, что
взявшись сбежать из пункта А в пункт Z,
свалился в кювет, а по трассе летят авто,
и радужка, как от рапида, меняет цвет.

Завтрак – слово вечернее, как обещание сна
или сандальи на вырост, но ребенок болен и слег;
ну и что, что весна, и что, что в бору сосна, –
витязь-болван не распутал клубка дорог.

И когда поздравляешь с праздниками людей,
да хоть и от души, сердце дурное скрепя,
вспоминается древний грек, златоуст площадей,
говоривший – «таскать вам не перетаскать», пока скрипят

мимо жесткие дроги; на этот свет
лучше глядеть в телескоп, нежели в микроскоп:
не видно бактерий с названием «люди», и нет
желания влиться и вылиться, выжить чтоб.

Но пусть будет светел хотя бы сумрак ночной,
в комнате из-под меня – как в коробке из-под
штучной, но сношенной обуви, величиной –
на ногу Творца; и снова ночник струит свой йод.

P. S. Продолжение следует.

Татьяна Орбатова

Акварели

Лунница

Плывут птичьи гнезда
в обитель отживших птенцов,
тускнеет огонь изумрудный
в высоких прическах деревьев,
и шарик воздушный
с почти человечьим лицом
из августа в Лету стремится
дорожкой из облачных перьев.
Голубка луны незаметна
на том берегу,
голубка луны и креста –
ищет звездные гвозди на крыше…
А в мире живых
летний бриз чьи-то грезы колышет,
и девушка ищет
упавшую в море серьгу…

Зеркальные острова

1.

На дальнем пастбище –
молчаливый пастух,
в бороде его
узелки древних песен.
Тычутся овцы в землю

зеркалами снов своих.
Убитый ягненок
шепчет имена свои
травам и цветам,
плачет сердце его
дождем,
стучит
в окна мои…

2.

Долгая, долгая память –
синее небо, желтая рожь…

Остался
шепот скошенных лугов
в последней мелодии солнечного лета,
отражается
в глазах еще молодой осени…

3.

Может быть,
пестрые циннии слышат,
как распадаются горы
на бусы – новым планетам…
Может быть,
корни всех лун помнят,
как безупречны их судьбы
в рабском служении силе…
Может быть,
знают улитки,
сколько дорог умещается
в розе ветров…

Мы говорим «может быть»
бесконечно по кругу…

Мы говорим и растем
на слезах своих
непобедимо
зеркальными островами…

Акварельное

Я не считаю сентябри,
не жду декабрь или апрели…
Над морем синей акварели –
воздушные поводыри
забредивших поэтов гонят
домой, к привычной суете.
Там крепкий гуж на хомуте
для скакуна или для пони,
там дух войны и детский смех,
там человек – «венец природы»,
там жив оксидом водорода
бездомный кот, тиран и снег…

Память

Помню не мед – над вереском
сонной пчелы полет.
Помню, крошился вдребезги
серый, миражный лед.
Время ломалось, с мертвыми
в землю входило, вглубь,
в душу ее, упертое,
метило – приголубь.
Голубь летел над городом,
с ним и мой сын – пострел,
в белой рубашке с воротом.
Воздух бедой звенел,
словно монетой, брошенной

в банку с надежным дном.
Катятся дни-горошины,
катятся за окном…
Память – земля без имени,
слой чернозема чист.
Может быть, кто-то выменял
имя – на павший лист.

Еще

Строка не задалась с утра.
Гонец предзимний иль сатрап –
холодный ветер бился в окна.
Катился осени кувшин
по кромке дня, и беззаботно
пинал его воздушный джинн.
Но паутины сонной нить
еще держала бабье лето,
еще душа была согрета,
еще хотелось осенить
крестом – восходы и закаты,
и каждого, чей мир распят,
спешащих вырасти ребят
и пламень слова языкатый…

Полет заоблачных стрекоз

До самой сути фиолетов
полет заоблачных стрекоз.
Их крылышки качают лето,
их души ткут метемпсихоз.
Зовут в себя их сны, сбываясь
псалмами солнечного дня.
Дрожит веревка бельевая,
спешит за ветром простыня.

Зверье, цветы, деревья, пашни –
на тонких крылышках скользят
в глаза рисунков карандашных,
в земную память стрекозят…

Слово

Рассвет еще мерцал лилово,
еще сновидела земля,
но летний ветер на полях
уже искал живое слово.
Негромкое, ловчей стрижа,
исконное, древней божницы,
острей восточного ножа.
упрямей юного возницы.
Рождался день, и времена
ему дарили много строчек.
Но в слове том – тепло зерна,
улыбка сына или дочки.
Но в слове том – печаль бела.
Ровняла строчки (бог свидетель)
на небе – вечная швея,
рождался день, слова секретил,
листал минуты и меня…

Константин А. Ильницкий

Место приложения любви

Место приложения любви

Это место приложения любви:
дом, семья, машины, гаражи,
офисы, заводы, чертежи,
замки, кафедралы, витражи,
море, лес и горы, виражи,
собственная иль чужая жизнь…
что угодно – только приложи!

Чувство вины

У кого-то нос пирожком,
у кого страна сапожком,
у кого-то вместо страны
чувство вины.

Я объездил немало стран
и узнал – есть страна Майдан,
там свободы нашли исток –
ручеек.

А свобода – такой подъем,
что не дрогнешь и под огнем.
Правда, сердце болит о том,
что потом.

Но зато убедилась власть,
коль захочет прикрыть напасть,
половодье, как в ледоход,
все сметет.

Только что мне делать с виной
и моею больной страной,
где приемлют ворье и грязь,
не стыдясь?

Говорили, грядет исход,
чтоб о рабстве забыл народ.
Только где же наш Моисей?
В USA?*

И придумала что за бл*дь
поколеньями вымирать,
чтоб потомки узрели свет.
Или нет.

Глядя на Арарат

Мне свобода безверия ближе,
чем грузила церковных вериг.
Но в структуре мышления вижу
и абсиды, и алтари.

Это просто не очень заметно,
как в привычных конструкциях фраз
потаенная ветхозаветность
каждый раз формулирует нас.

Все пространство житейской дороги
так же купольно, как небосвод.

* Рифма заимствована у М. Векслера.

Кто на выход – слабеют ноги,
а душа тренирует взлет.

Тут бы церковку на вершине,
где пространство собрав в щепоть,
высотой, глубиной и ширью
осенил бы тебя Господь.
...

Люди смертны, грядущее лихо
повсеместно смущает умы.
Но кому-то является выход,
как монашек из храмовой тьмы.

Пусть молитвы звучат невпопад,
и от ладана головы кружатся,
это очень полезный обряд –
приручение смертного ужаса.

Когда мир переполнен грехом,
актуален библейский рассказ.
Я уйду, ты уйдешь, что потом?
Что потоп? Что придет после нас?

Белая ночь

Росли по болотам сосна да осина,
сосна да осина, да стайки берез,
подолы ветвей подобрав, уносились.
Колеса стучали, чадил тепловоз.

Росли по болотам сосна да осина,
дымились глазницы бессонных озер.
И ярилось солнце в напрасном усилье
достать горизонт – и на дно, как топор.

Любимая, знаю, тебе не по силам
сносить расставанье, разлуку, но все ж
зачем белой ночью меня ослепила,
зачем двое суток уснуть не даешь?

Вагонные радости – спутник веселый,
купейные пропасти – с полки как с нар.
Пусть Лоухи, злая старуха Похъёлы,
скорее похитит малиновый шар.

Я стану у сна благодарнейшим пленником,
лишь только к подушке притронусь щекой.
А тамбуры пахнут березовым веником,
а станции пахнут древесной щепой.

Однокурсница

«Миром правят деньги и расчет.
Однокашник наш умом не блещет,
а каких сумел достичь высот.
Научись трезвей смотреть на вещи.
На тебя сегодня не в обиде.
Не звонил тогда, а я хотела.
Ну, пока, приятно было видеть».

Села на метлу и улетела.

Равенна

Как бы ни было грустно,
несправедливо, зря,
реки меняют русла,
суша теснит моря.

Если ушли глубины,
на берегу пустом
мрут города-рыбины,
воздух хватая ртом.

Но сохранив бесценный
римских базилик стиль,
словно вдова, Равенна
будет свой крест нести.

Чтобы воздать по вере
тем, давно неживым,
кто красоту империи
создал, кто строил Рим.

* * *

Время тщится расставить
все по своим местам.
Только где моя память?
Опять не в ладах с эпохой?

Не гоняют нас строем,
топтуны не бредут по пятам.
Ну а счастье в период застоя
не так уж и плохо.

Глобальные мечты

Ко мне приходят с обыском,
но мнутся у дверей.
Ведь я рулю по глобусу,
где выпуклость морей.

Где все слова просолены
и не годны в печать.
Накроет так муссонами,
что света не видать.

Где не найдут бандиты,
и не страшит меня
просроченность кредитов
и жуткая пеня.

Послать бы всех брутально
куда-то далеко
и помечтать глобально
на лавке под пивко.

Рифмы

Предначертания – это все мифы.
Правят форматы мамаш и отцов.
Пары свои мы находим, как рифмы,
путаясь часто в значениях слов.

Где-то удачно, а где-то печали
множатся так, что и свет уж не мил.
Просто ребята не в рифму попали,
а переписывать судьбы нет сил.

Заблудившаяся кривая

От Житомира до Усть-Луги
проживаем, того не зная,
что в основе любого круга –
заблудившаяся кривая.

Растерявшаяся от сознания,
что всему наступает срок.
Геометрия выживания –
это носом найти пупок.

Говорили, есть временна̀я
и пространственная прореха.
За нее мы тост поднимаем:
«Ехать надо! И надо ехать!».

А уж с тостами вовсе просто нам –
расширяется угол зрения.
В Древний Рим бы рвануть лоукостером
в тридевятое измерение.

Римлян гонор и кельтов чаянья,
как измерить, чего вы стоили?
И курвиметр рулит отчаянно
вслед за мной по кривым истории.

Или можно собраться летом,
что позволено даже смертным,
и за год округлить планету
путешествием кругосветным.

География – сумасшедшая.
От предчувствия обмирая,
как кривая, себя нашедшая,
я кружу по кольцу трамвая.

Віталія Бабущак

Життя проходить, наче спалах

На пам’ять про загиблих в Іранській трагедії

Упав клубок.
Напнулась пряжа, і життя
Обрізав бог.
Сердець спинилося биття.
Крізь сіроту
Летить пухнастий білий сніг
У пустоту.
Буття скінчився вічний біг.
На серце ліг
Журби скаженої тягар.
Злетіли душі аж до хмар.
Лиш чистий сніг
Нечисту землю покривав.
Такий закон.
Харон ховав в капшук навлон.
Дзвеніло срібло у руці.
Сльоза котилась по щоці,
І Лети смак на язиці.
Забулось все.
Відшвартував човна Харон,
Ворота широко відкрив для всіх Аїд.
Пішли у брід.
Це був останній їх політ.
Вічнозелений кипарис
Вечірній бриз
І довгий сон.

* * *

Розбите серце не болить.
Його нема.
Холодні пальці на вікні.
Прийшла зима.
Високе небо і блакить,
Безмежна даль.
Лиш тільки мить –
І тіло спить.
Хтось скаже, більше не болить.
Та кожну мить
Моя печаль,
У душу впившись, наче сталь,
Ятрить цей жаль.
Проходить час,
Лікує нас.
І горе втрат іде на пас.
Його давно уже нема.
Та крізь решітку на вікні
Ще часом мариться мені,
Але дарма.
Тепер сама.
Десь люто віхола гуде,
Що милий більше не прийде…
Хурделить, кажучи мені,
Сама зима.
Живи сама.

* * *

Як тисячі ножів, впиваються слова,
Пронизуючи все в людині аж до дна.
Вражають і печуть, породжують дива.
У них горить вогонь і скрита таєна.

Я знаю їх межу, за нею пустота.
Я знаю їх ціну і їх невідворотність.

Із них все почалось, коли його вуста
Вдихнули гірсть життя в пустотність.

Я знаю їх снагу, спостерігав запал,
Я бачив, як вони зціляли та крушили.
У слів бува лице. У них бува оскал.
Нема в них вороття й нема могили.

Як тільки їх сказав – вони уже чужі.
Ти їм не посідач, а той, хто дав їм волі.
І може, з твоїх уст злетять різкі ножі,
Або посадиш сад на вигорілім полі.

* * *

Життя проходить, наче спалах,
Не зупинити й не зійти.
В тісних парадних і вокзалах
Силкуємось мету знайти.

Серед любові і безчинства,
Де кожен крок за майбуття,
Лишень ідея материнства
Вартує нашого життя.

* * *

Німота і ніщо не бентежить,
Тихий щебіт птахів за вікном.
Світло тіні на стінах мережить
Вітер грається білим сукном.

* * *

Я стомилась тримати слово за стіною зубів,
Усміхатись на виклик публіки, коли серце пусте.

Брак любові переріс у невпевненість у собі,
Страхом став перед світом, що з'їв все святе.

Не безгрішна мадонна я, і душа – усе, що у мене є.
І мабуть, як помру – нічого не лишу вже по собі.
Сльози, сміх, біль, що була в житті, – це усе моє
Те, що не дає опустити завчасно руки слабі.

І коли світ стихне кругом, а вітер прошепче моє ім'я,
Коли пустить нові бруньки побитий громом клен,
Остаточно здамся тобі. І тоді хай несе мене течія
В ті краї, де усі свої, де не судять з лиця і нема імен.

* * *

Здається так завжди було,
Шляхом стікав талий сніг,
Співали птахи, все цвіло
З-попід стріх доносився сміх.

Небо було голубим, як вода у ставку,
Краплі дощу віщували нам урожай.
Розростались півонії в бабинім квітнику,
І природа шептала людині: «кохай».

Здається, я завжди хотіла торкнутися твоїх губ,
Пригорнутись й розтанути, наче перший сніг.
Провести по щоці, пригладити чорний чуб
І упасти додолу, як падає дощ до ніг.

Здається, так завжди було, тільки ти не зчитав мене.
Полохливий погляд, що ковзав тобою, як діти катком.
Любов, що ховалась, як озеро на «сніданку» Мане.
І я згоріла поліном, зализаним полум'я язиком.

* * *

Я не буду брехати, вдавати, що я герой.
Я щоки б не підклав, при нагоді ударю сам.
Я шерифом не був, максимально якийсь ковбой,
Що ховався від пуль, кохання й сердечних драм.

Я останній такий, що невпевненість їсть, як хліб.
Переповнений біллю і відчаєм по вінець.
У душі моїй темно, здається, що я осліп,
І спиняється серце, щоб стрітити цей кінець.

Я не хочу брехати, себе не обдуриш, ні.
І кохання могло б врятувати, але мій час
Молоком збіг на дуже великім вогні,
І вогонь, що залитий ним, невдовзі погас.

Я хотів підійти, та чекав на потрібну мить,
Я тобі не писав листів й не впадав до ніг,
Я брехав сам собі, що минуле уже не болить.
Я не крайній такий, що сказати люблю не зміг.

* * *

Коли сонце заходить і виють шалені вітри,
Наскрізь душу морозить, серце самотнє щемить,
Хочу крикнути, мамо, мене звідсіля забери,
А натомість лиш вітер реве та кричить.

Обсипається листя із крон поржавілих дубів,
І зелена трава жовтіє і в'яне від тої навали.
А десь там, за високим хребтом із горбів,
Над гірською рікою лунають рідні цимбали.

Очі стиснувши міцно, я бачу зелені поля,
І усмішку твою, що зігріє, як ватра вночі.
Ти далеко від мене, моє дороге янголя,
А тут вітер реве, і немає зірок уночі.

* * *

Солодким медом тік солодкий день.
Предвічний дуб хилив сторічні віти,
І жолуді стрибали до кишень,
Сміялось небо, гомоніли діти.
Трава суха шуміла вдалині,
Вертались грибарі назад до хати,
Картоплю смажив дідо на вогні,
Хотілось жити, вірити, кохати.
Землею пахли грядки і квітник,
Бабуся поралася біля худобини.
На тин повісив дрантя робітник,
А сам сидів під кроною калини.
Грайливий пес зривався із шнурка,
Ганяв курей, качок і бабу Олю.
Допоки сильна татова рука
Знов не припне бешкетника в неволю.
І капав дощ, стікав по стрісі вниз,
Попереду було ще так багато!
Тоді не знали ми, що час, як хмиз,
Згорить нараз, так й не нагрівши хату.

* * *

Інакше не можу, а те, що є, – все не те.
Твої ніжні руки викручують моє нутро,
Усе, що не скажеш, для мене майже святе,
Читаю тебе наче книгу, дорогою у метро.

Твої упередження зв'язують мої вуста,
Виписую фрази з старих невідомих пісень.
А потім, як хлопчик, пишу тобі цього листа,
Про те, що кохаю, і кличу збирати вишень.

Узявши пакет, крокуєш мовчки у сад.
Там раптом повіриш, але не покажеш мені,
А вечором вдвох приготуємо мармелад,
І будем лічити зірки у відкритім вікні.

А поки можеш крутити носом й казати ні,
Я не спішу, я умію чекати, і не відступлю,
Допоки ти змиришся з долею на однині,
Щоб тихо на вушко шепнути – люблю.

* * *

Скажи, вже останній сніг розтав у Карпатах?
Прилетіли лелеки, гніздо заплели на стрісі?
Я сто років не чув балачок українських в хаті
І не бачив, як проліски й інше цвітуть у лісі.

Мабуть смішно, якщо хочеш – посмійся з мене,
Але я вечорами, дивлячись крізь вікно на зорі,
Згадую потяг на Львів, горілку, сало студене,
Старі скрипучі вагони та запах літа на дворі.

Вузькі і тверді лежанки – тут таких не буває.
Тут стелять м'яко, та спиться мені не дуже.
І хоча вечорами соловей теж співанок співає,
Та до тих співанок мені якось зовсім байдуже.

Я не знаю, чому всі товкмачать, що тут так чудово,
І тікають із рідної хати, а та бур'яном заростає.
Добре всюди по-своєму, а щастя таке – тимчасове.
Його треба ліпити руками, за парканом воно не літає.

Засадили городи? На базарі розсаду уже купили?
Як там вишні, добре цвіли, варення буде на зиму?
Ми сьогодні сиділи вдома. Від обіду вікна мили –
В ніч лічитиму зорі. Знову згадаю дім – нині озиму,
Що вмиває листя у ранковій росі прозорій.

Виктор Фет

Забвения река

Начало

Н.С. Гумилеву

Над болотом лет прокинем снова
Досок смысла временную гать.
Говорят, в начале было слово.
Что за слово – нам не угадать.

В языках каких оно звучало,
Книг каких украсило листы,
Утерявши признаки начала,
Обретя привычные черты?

Где-то, где в пустыне перестала
Разливаться древняя река,
Залежи мельчайшего кристалла
Пестуют начало языка.

Поезд жизни нас проносит мимо
Той пустой неведомой страны,
Где слова, горящие незримо,
В каменных слоях погребены.

Новогодняя баллада

Из новых времен, из старинных земель,
Где слиплись в комок бытия карамель
И смысла безглазая маска,
Прискачет прекрасная сказка.

Там главный герой с медициной знаком,
Там сахарным звезды сияют песком,
А снег – новогоднею ватой,
Над каждой трубою застыл трубочист,
И выглядит мир, словно титульный лист
С виньеткою замысловатой.

Там слышен тамтам по дикарским лесам,
Полковнику снятся медали,
И алым дивятся своим парусам,
Где издавна их ожидали,
Там тучи ползут по альпийским снегам,
И все корабли пристают к берегам.

Там стражнику на ухо шепчет пароль
Из раннего Блока картонный король,
И кислого вкус витамина
Мешается с дымом камина,
И входят герои в свой пряничный дом,
Где жить полагается честным трудом.

Там жались игрушки к витринным огням,
И счет не велся неутраченным дням,
Там вздрогнули Гензель и Гретель
От скрипа несмазанных петель,
И я поднимал, словно меч-кладенец,
На палочке свой петушок-леденец.

Лета

Серебряная Лета,
Забвения река!
С иного края света
Бежишь издалека.

Вбираешь пыльны томы,
И годы, и простор,
Державинские громы
И пушкинский задор.

Вода прозрачна летья,
Студен летейский хлад,
Двадцатого столетья
В тебе остынет ад.

Сквозь нас событий сила
Продергивает нить,
Чтоб все, что есть и было,
Запомнить и забыть.

Исчезнем без остатка,
Погрузимся в твои
Придонного осадка
Безмолвные слои.

И новых дней геолог,
Познав добро и зло,
Твоих слоев осколок
Уложит под стекло.

Криквяжское

Л. Лосеву

1.

Стоит подолгу в почве влага
у речки Малая Криквяга.
Там глину, суглинок и лёсс
вывозит поутру совхоз.

Бывала здесь номенклатура,
у речки отдыхал райком,
криквяжский князь ходил на тура,
да угр ловил угря тайком.

Теперь раздолбаны дороги,
непроходим криквяжский брод.
О долларе, а не о Боге
уныло думает народ.

2.

У речки Малая Криквяга
не знает мир ни зла, ни блага,
ни Магомета, ни Христа –
командируйся в те места!

Сложи в портфель расческу, бритву,
скажи ненужную молитву,
подшей оборванный погон –
да полезай в ночной вагон.

Путь до криквяжских мест недолог.

Передавали, археолог
увез в Москву культурный слой.

Вообще, народ у нас не злой.

Форма жизни

Заключенные в хрупком теле
Среди гнили, корней и трав,
Мы не ведаем нашей цели,
Цель на целостность променяв.

Нас укутает пласт наносный
От безумного звезд огня,
В нашей жизни молниеносной
Равновесие сил храня.

Над границей воды с землею
Пусть шумят тростников стада –
Принадлежность к этому слою
Не нарушится никогда.

Нас узнали и позабыли,
Нам названия больше нет –
Но взлетают частицы пыли
В атмосферу грядущих лет,

И ложатся на мыс отвесный
Там, где тает ночная мгла,
Там, где замок стоит чудесный
Из серебряного стекла.

Тайна

Тайну вечного секрета
Наконец узнали мы:
Там, где есть источник света,
Должен быть источник тьмы.

Скорлупой орехов грецких
Стены мира стали вмиг

За пределом наших детских,
На страницах взрослых книг.

Кто и тьмой, и светом правит?
Кто орехи дверью давит?
Без картинок наши дни:
Разговоры в них одни.

Наши знания случайны:
Как понять, где тьма, где свет?
Может, в мире нету тайны;
Может, в этом весь секрет?

США

Первые шаги

Море талантов Украины

В 2020 году Всеукраинский литературный конкурс «Море талантов» собрал юных авторов со всей Украины и зарубежья. На конкурс было прислано более 500 работ. Профессиональное жюри выбрало лучшие произведения. Конкуренция была очень высокая. Но одесситы, представив высокий уровень литературного творчества, также вошли в число победителей. Представляем работы юных авторов.

Инна Ищук, руководитель детской секции
Одесского отделения Национального союза писателей Украины

Дарья Гризан, 10 лет, Одесса

Зима, и скоро будет снег…

Зима, и скоро будет снег…
А я иду искать ночлег.
И я найду уют, тепло,
Зиме и холоду назло.

Кусты покрыты белым пухом,
Озябли улицы и двор,
Щедра на снег зима-стряпуха,
Ведет с морозом разговор.

На улице нет ни души,
И взял мороз карандаши,

Нарисовал ель на стекле
И птицу счастья на крыле.

И пусть на улице метель
Кружит-вертит и завывает.
Смотрю в окно и пью кисель,
И мамин голос утешает.

Подснежник

В тучах солнце засверкало,
Засияло в скрипаче.
От мелодий оживало
В музыкальном все ключе.

А под снежным одеялом
Вдруг проснулся первоцвет,
Потянулся в снеге талом,
Солнцем, музыкой согрет.

Он беспомощный, безмерный,
Белоснежный и живой.
Этой музыке поверил,
Чтобы прорасти весной.

Посмотрел он, оглянулся –
Фея белая колдует.
И в свой дом родной вернулся
Ждать от солнца поцелуя.

Максим Толстиков, 13 лет, Одесса

Улицы Одессы

Улицы, улицы, улицы –
Туристы вами любуются.
Дома, домища и домики.
Уютные старые дворики,
Лозою и плющом увитые,
Ливнем одесским политые.
Известные и позабытые,
Солнцем одесским залитые.
Скрипкой из окон звучащие
И дворторьером рычащие.
Улицы, улицы, улицы –
Ваш лабиринт не забудется.
В центре фасадом приличные,
С архитектурой античною,
Готикой и ампиром
Барокко и… «Детским миром».
Жилые и магазинные,
И ресторанно-витринные.
Улицы именитые
С табличками знаменитыми.
Мощенные гладкой брусчаткою,
Пахнут акацией сладкою,
Пахнут сиренью, тюльпанами,
С названьями – дальними странами.
Имени разных народов,
Живших тут в давние годы…
Запахи моря и славы,
Звоны церквей златоглавых,
Улицы города солнца,
Мудрого, вечного роста.
Улицы детства родные –
Вы для меня как живые!
В сердце моем будто песни –
Нет в мире улиц чудесней!

Лошади

Лошади длинногривые
С ветром спорят о скорости,
Дикие и красивые,
Копытами топчут горести.
Быстрые, словно призраки,
Вещие, как видения.
Лошади – это признаки
Восторга и вдохновения.
Если они – крылатые,
Рифмы ложатся строчками,
Если они бескрылые –
Вдаль убегают точками.
Лошади – мысли вольные,
Видишь – восторг и крылья
Мчатся в луга раздольные
На стыке чуда и были.
Как грациозны в полете,
Как благородны в силе!
Нет их великолепней!
Лошади! Дайте крылья!

Екатерина Онуфриенко, 12 лет, Тарутино Одесской обл.

Одинокий пес

Сидит у магазина пес.
Глаза большие, черный нос.
Смешные уши, хвост косматый,
Голодный, грязный и лохматый.

Мелькают ноги, сумки, лица…
Проходит день, пройдет и год,
А чуда может не случиться –
Никто беднягу не возьмет.

Не приютит, не обогреет,
Не даст вкусняшку на обед,
Не вылечит, не пожалеет…
Он так надеется, но… нет.

Бегут, бегут куда-то люди…
Но кто-то же его полюбит?

* * *

Жизнь наша, как кино,
И все мы в ней актеры.
Играем по сценарию судьбы.
Она, как режиссер, дает нам роли,
Не спрашивая, что б хотели мы.

Импровизируя, меняем строки,
Которые сценарием даны,
Но вновь над нами виснут злые роки,
И все мы им, увы, подчинены.

Уверены, решенья принимаем,
По-своему живем и поступаем.
На самом деле – роли исполняем,
Играя по сценарию судьбы.

Стихи про Катю
(Отрывок)

День закончен. Баю-бай!
Спи, Катюша, засыпай.
Наша Катя крепко спит,
Тихо носиком сопит.
На ковре мурлычет кошка,
Сонно смотрит ночь в окошко.

Катенька проснулась, сладко потянулась.
Катя не умылась? Значит, поленилась?
Посмотри в окошко! Вот умылась кошка,
Умыла всех котят, а уточка – утят.
Чтобы блестели щечки, умыться нужно дочке.
Катюша улыбнулась и к мылу потянулась.

Анастасия Стоянова, 12 лет, Одесса

Одесса

Наша Одесса – словно алмаз!
Сияет у моря, радует глаз.
Жемчужиной в песнях ее называют,
А почему – одесситы все знают.

На Дерибасовской – съемки кино!
Мест живописных в Одессе полно:
Приморский бульвар, Ланжерон и Фонтан,
И порт наш – красивый морской великан.

И море, и люди – везде колорит.
Одесса сама за себя говорит.
И где б ни была я – точно вернусь,
Я – одесситка, и этим горжусь!

О чем мечтает поэт?

О чем мечтает поэт?
Он не мечтает о славе,
Чтобы его узнали.
Он хочет оставить след!

Чтобы возвысить слово
Как талисман поэта!

Что нам удачи подкова,
Словно вопрос без ответа?

Только множество строчек
И миллионы букв.
А у бездарности – точки
И назойливый звук.

Точную рифму ищем,
Это частичка куплета,
Чтобы был голос выше –
Вот счастье и радость поэта!

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Искусство – жизнь – искусство

204 **Елена Галинская**
«Жить, как бог в Одессе»

217 **Юрий Дикий, Феликс Кохрихт**
Рихтер Allegro «Одесса»

233 **Алена Яворская**
«За решеткой в темнице угрюмой –
ни любви, ни весны, ни зари»

256 **Стив Левин**
Творческая неудача или «почти шедевр»?

275 **Юрий Садомский**
Дуновения

Елена Галинская

«Жить, как бог в Одессе»

Все та же Одесса – легкая и изящная, захватывающая и околдовывающая.

Н. Горен

О художнике Ефиме Ладыженском я узнала в начале 2000-х годов, когда в Тель-Авиве в Музее диаспоры шла подготовка к выставке «Homage to Odessa» («Дань уважения Одессе»), к которой я имела непосредственное отношение. С тех пор мне хотелось рассказать о нем и, прежде всего, о его одесских картинах. И сейчас, когда коварный вирус загнал всех по домам, это время пришло. Прошу рассматривать этот очерк как мой посильный вклад в положительный баланс настроения одесситов.

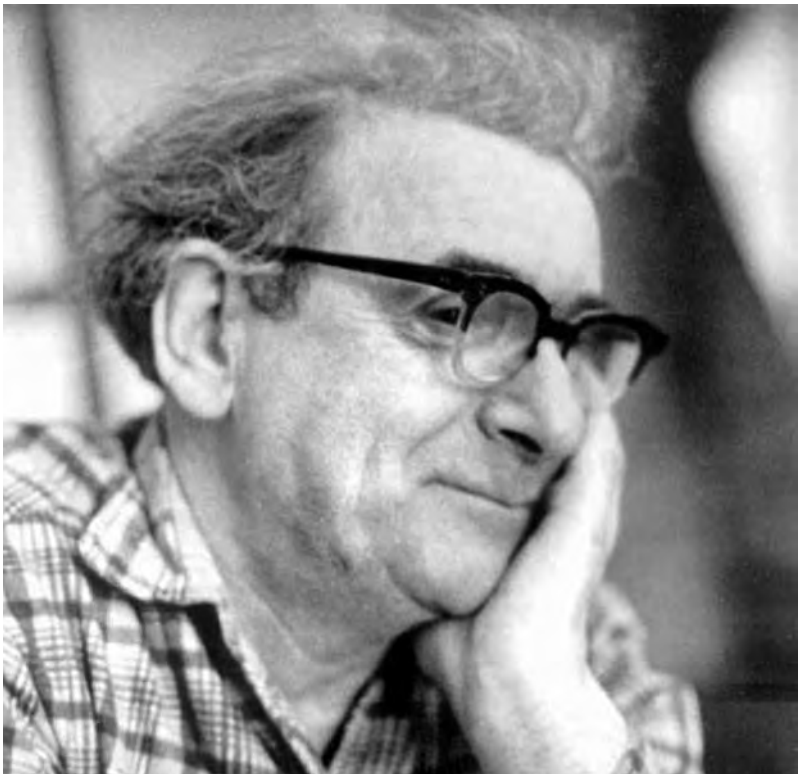
Ефим Ладыженский родился в Одессе на улице Базарной, 100, в 1911 году, рисованию учился в студии знаменитого Юлия Бершадского и в Одесском художественном институте. В 20 лет художник покинул Одессу и, посвятив себя творчеству, стал востребованным живописцем и театральным художником. Основу его наследия составляют несколько художественных циклов: «Бабель – «Конармия», «Одесса моей юности», «Мама», «Корни», «Каркасы», «Люблинское кладбище в Москве», «Вечный жид», «Свет и тени», «Автопортреты». Последние, написанные в 70-е годы, полны щемящих сюрреалистических сопоставлений и трагического восприятия жизни. Е. Л., по воспоминаниям друзей и коллег, ни разу не прогнулся под властью и непреклонно придерживался своих жизненных принципов. Он был энергичной, горячей, неугомонной натурой с тонкой, своенравной и романтичной душой, что так типично для одессита. Он был художник

одного ряда с такими, как Шагал, Тышлер, Альтман, однако большинство его работ лежало без движения в мастерской. К 1978 году, осознав, что в СССР его возможности исчерпаны, Е. Л. принял решение переехать в Израиль. Из-за невозможности вывезти из СССР большинство своих произведений, художник собственноручно уничтожил около двух тысячи работ! Это был первый акт трагедии, после которого трудно было восстановиться, и художник стал сползать в депрессию.

Израиль оказался не похожим на нарисованную воображением Ефима Бенционовича страну, Ладыженский переживал глубокое разочарование. И хотя сразу после его приезда одна за другой прошли три его персональные выставки, имевшие большой успех, и готовилась к открытию четвертая, 4 апреля 1982 года последовал второй акт трагедии: художник покончил жизнь самоубийством, повесившись на стене супермаркета в центре Иерусалима.

В мемуарах Е. Л. писал: «Мною созданные произведения – плод выстраданной жизни и упорного труда. Они дождутся своего вечного зрителя, во что я глубоко верю своим изломленным и израненным сердцем». На сегодняшний день более тысячи картин и рисунков рассыпаны по музеям и частным собраниям в России, Израиле, Англии, США, Канаде, Швейцарии, большая часть находится у дочери художника, ставшей хранителем и пропагандистом искусства своего отца.

Серия «Город моего детства» стала центральной в творчестве Е.Б. Ладыженского. Работая над ней с 1968 г. и до конца жизни, художник создал, согласно его собственноручной описи, 190 холстов! Все они сюжетно обращены в прошлое и изображают Одессу 20-30-х годов, увиденную глазами мальчика и юноши, но через восприятие уже взрослого человека. Прошедшее время окрасило эти живописные воспоминания смелыми и яркими красками, свойственными юности, но в это же время наложило на них ностальгическую грусть, свойственную зрелости. На склоне лет, в последние жесточайшие для художника годы работа над одесскими картинами поддерживала его и на время рассеивала мрак, окутывавший его душу. Уже в Израиле Е. Л. стал писать к своим картинам комментарии, ставшие прекрасными литературными



Ефим Ладыженский

очерками, вполне органичными для одесской словесности, именуемой южнорусской школой.

Полотна размером 90×100, как распахнутые окна, за которыми разворачиваются мизансцены одесской довоенной жизни: крикливые рынки, шумные улицы, дворы, парки, нарядные кафе, а в них многоголосый поток последних из могикан – поденщиков, торговцев, ремесленников, жуликов, адвокатов, артистов, авантюристов, раввинов, дельцов, бандитов, любителей искусства – пульсирующие живописные образы одесситов, обладающих яркой характерностью, специфическим поведением и манерой

речи, напористостью и высокомерием, изяществом, благородством, веселостью в сочетании с особого рода иронией и тонким сарказмом. Мозаика быта и бытия Одессы и одесситов открывает «частную жизнь» любимого города.

«Это чарующий город, веселый город, преступный город… Здесь, вне всякого сомнения, уважают правду; но и вранье не считается за большой грех… Каждое незначительное заявление превращается в знаменательное событие, массы возбуждены, руки взмываются вверх, стены и кофейные столики содрогаются от волнующих криков».

В. Жаботинский

С конца XIX века Одесса буквально бурлила культурной жизнью и экономической инициативой. Открытость миру, космополитизм и толерантность многонационального и многоконфессионального города, интеллект старейшего в стране университетского центра, а также климат и природа сделали Одессу очень притягательным местом. Здесь проживала вторая по величине в Российской империи еврейская община, образовался очаг сионистской активности и центр современной еврейской литературы. В местечках черты оседлости об Одессе говорили как о месте, где богатство само идет в руки и где хорошо живется. Тогда-то и возникла пословица «жить, как бог в Одессе». Появление нового типа евреев, желающих жить по-западному, вызывало недовольство национальных ортодоксов, придумавших другую пословицу, «на семь миль вокруг Одессы пылает адский огонь», и называвших ее «городом грешников». Еврейская тема, представленная в цикле Ладыженского, напоминает об одной из ярких страниц истории города. То было баснословное время!

«Одесса несет на себе отпечаток большого мира… В Одессе вы учитесь жить и приобретаете хороший вкус, превращаетесь в знатока достопримечательностей и развлечений, становитесь человеком нового мира, слушающим музыку и смотрящим новые постановки в кабаре и театрах…»

Э. Штейнман

Ну а потом «произошло то, что случилось»: большевистская революция положила конец процветанию Одессы, но еще раньше

Одесса стала терять свое значение центра международной торговли, тогда же начался закат еврейской общины (это время блестяще описано в романе В. Жаботинского «Пятеро»). Однако миф об удивительном городе продолжал разноситься по миру...

«В жизни я не видел такого ветреного города... Ни одно место на земле не может сравниться с Одессой, с ее мягкой веселостью и легким опьянением, наполняющим воздух... Самым источником этой беспечной легкости была свобода от какого-либо славного прошлого...»

В. Жаботинский

Вернемся, однако, к нашему художнику. Одессу он писал вдохновенно и, по свидетельству друзей, буквально захлебывался от воспоминаний. Ах, каким восхитительным портретистом он оказался – умным, тонким, ироничным! Ах, какой город предстает на его картинах – яркий, праздничный, насквозь пронизанный витальной энергетикой, а какой он светлый и многоцветный! Картины еще раз доказывают, что где бы ни жили одесситы, они навсегда в сладкой зависимости от своего феноменального города.

«Одесса, Одесса, я умираю по тебе!»

Шолом-Алейхем

Многие картины имеют ценность документальных воспоминаний – на них можно прочесть имена одесских лавочников и мастеровых, маршруты трамваев, афиши, вывески магазинов, названия пароходов... Воспоминания – всегда несравненная ценность, а если они еще и талантливы, то ценность их удваивается. Е.Б. Ладыженский – истинный поэт родного города, и, глядя на волнующие сцены на его холстах, каждому одесситу есть что вспомнить!

«Одесса в теплые ясные осенние дни кажется земным раем... На каждом углу изобилие цветов, корзины с фруктами и прочими деликатесами... все это превращает Одессу в прекрасную драгоценность, полную утонченного вкуса и радующую глаз...»

Э. Штейнман

Легендарные одесские трактиры, кафе – Фанкони, Робина, Печеского, рестораны в Пале-Рояле, на бульваре Фельдмана, в гостинице «Лондонская» – с полотен льется белый цвет: в белом

Ефим Ладыженский признался как-то дочке, что «жил хорошо, пока не понял: жизнь кончается». Эта мысль о тленности мира, тоска по бессмертию стали тогда лейтмотивом двух циклов работ – «Одесса – город моего детства» и «Бабель – «Конармия»

Работы Ефима Ладыженского

ФУРАЖКИ
ШЛЯПЫ

мужчины и женщины, белые скатерти, в белых куртках официанты, на тротуаре пассажиров поджидают пролетки, запряженные белыми лошадьми, – прямо как в кино или во сне! Да это и есть сон, окрашенный памятью о лучшем времени жизни, когда мама и папа были молодыми, деревья были большими, а женщины – красивыми. Вот и я вспоминаю папины белые чесучовые брюки, белую «бобочку», белые парусиновые туфли, которые были так далеко внизу, когда он поднимал меня «аж до неба». Люди в белых одеждах толпятся на палубе парохода и на причале, пьют сельтерскую воду в кондитерской («У Соловья»), болеют на футбольном матче («Корнер»), гуляют («В парке трезвости», «Памятник Воронцову», «На Соборной площади»). Сквер на Соборной площади не единожды озарял радостью мое детство (сегодня здесь, в знаменитой 121-й школе, учится мой внук), там были дальние аллеи, фонтан, горка, заборчик, по которому я отважно ступала, держась за папину руку, там гремела легендарная «фанатка», там можно было покататься на пони, запряженном в коляску с кожаными сидениями, на которых так нелегко было удержаться, чтобы не соскользнуть в моем нарядном крепдешиновом платье! Там было много соблазнов и развлечений, и венцом всему – о счастье! – мраморный столик, за которым я смаковала пощипывающую газировку с сиропом и мороженое в серебряной вазочке.

Что до белого цвета, которого так много в картинах, то художник писал так: «Белая краска в моих холстах, превратившаяся в цвет и тон, взявшая на себя большую пластическую и эмоциональную нагрузку, ставшая значительным компонентом моих картин, родилась, возможно, от белой цветущей акации и от свечек каштанов, и от белых брюк, матерчатых туфель, вылизанных зубным порошком, и рубашек-теннисок».

«В южных городах люди не стесняются улицы, как это бывает на севере. Поэтому на юге улицы простодушнее и лиричнее. Там они легко делаются ареной для проявления человеческой доброты, шутливости и любопытства».

К. Паустовский

Мое детство прошло в рабочем районе Пересыпи с приземистыми одно-, двухэтажными домами, внутренними дворами,

крытыми галереями и квартирами «без претензий». С улицы во двор входили через тяжелые никогда не запирающиеся деревянные ворота (этой осенью я не смогла проникнуть в свой двор – металлические ворота были на запоре под кодовым замком). Двор, заасфальтированный в центре и поросший травой в закутках, с импрессионистическими тенями на облупившихся стенах пестрел многочисленными пристройками, выкрашенными бессмертной зеленой краской. О, сколько важных событий происходило там, и сколько жизненных тайн и ужасных откровений я там узнала! Чуть ли не ежедневно в нашем дворе разыгрывались «драмы на море» – ссоры, скандалы, драки, а еще свадьбы, проводы в армию, похороны, поминки. Мы, дети, обожали подобные спектакли. В картинах Е. Л. широко представлен «неореализм» одесских дворов – «Йоськины голуби», «Горячая пшенка», «Манька-рыбачка», «Под утро во дворе», «Большая стирка», «Заезжий двор», «На Базарной площади», «На живодерню», «Переезд на новую квартиру», «Мадам Миркис купила пианино» и др. В них часто изображены битюги с телегами, а ведь мой еврейский дед – выдающегося роста и силы человек – был биндюжником и сам занимался извозом; хорошо мне знакомы и развешанные по двору веревки с простынями, кран в центре двора, лоханки, ведра («Здрасьте вам через окно, где вы сохнете белье?»); помню и ходивших по дворам ремесленников-кустарей – точильщиков, стекольщиков, паяльщиков («Па-а-ять! По-чи-нять! Ведра, кастрюли, чайники!»), молочниц, разливавших молоко в пол-литровые стеклянные банки («Мо-ло-ко!»), городских сумасшедших (Мишка на станках), будки для отлова собак, появлявшиеся на улице и нагонявшие ужас. Ах, как мы отчаянно кричали: «Будка! Будка!» – пытаясь спасти дворняжек от проволочной петли живодеров…

«Улица моего детства» с выпуклой брусчатой мостовой окаймлена невысокими домиками с лавками и мастерскими на первом этаже, где Векслер торгует бакалеей, Коган – рыбой и селедкой, Кац – мукой и крупой, Коротянский печет хлеб, Осипович фотографирует, а Сара держит чайхану. Этих сюжетов я уже не знала, так как жила в Одессе на целую жизнь позже Ладыженского. Однако из рассказов родителей, из устоев одесского быта и языка, из литературы и еще бог знает откуда все они мне близки и зна-

комы, это то, что передается из поколения в поколение и, возможно, называется неотторжимостью.

Картина «Три кустаря-одиночки на один патент» живописует блеск и нищету нэпа! У нас дома была ножная швейная машинка «Зингер», такая же, как на картине, на ней мама по мелочевке шила соседкам, пока они на нее не донесли в ОБХСС. Тогда маме пришлось брать «патент»! Помню, я любила сидеть на корточках на прямоугольной педали машинки и раскачиваться – какая же маленькая я тогда была!

Еще один «сборник воспоминаний» – «Толчок», «Уцененные товары», «Очереди», «За остродефицитными товарами» – они воскрешают в памяти неотъемлемую часть советского быта, в котором прошла половина моей жизни. Снующие толпы людей, грузчики, телеги, кони, вывески, разнообразные предметы – великолепный мир вещей прошлого. На толчок мы с мамой всегда ехали как на праздник и могли часами ходить вдоль рядов (а вдруг из пепла нам блеснет алмаз?). Денег у мамы, говоря обтекаемо, всегда было недостаточно, зато она всегда умела в барахольных развалах найти что-то такое эдакое, замечательное, предназначенное только для нас.

В моем восхитительном бедном детстве были убогие условия быта, тотальный дефицит, тоскливые заводские гудки и дребезжащие звонки трамваев, но счастье бытия от этого не уменьшалось! То же мы видим на картинах Ладыженского: они по большей части счастливые, оптимистичные, добрые, как и положено воспоминаниям. Хор пионеров самозабвенно поет «Мы кузнецы, и дух наш молод», школьники репетируют гимнастические упражнения, обязательно заканчивающиеся построением «пирамиды», на первомайских демонстрациях и в парках культуры бурлят толпы народа… Отдых трудящихся в советские времена был прост, как труба горниста, существенное разнообразие вносили маевки, на которых население коллективно предавалось гастрономическим, алкогольным и прочим удовольствиям: «Маевка ф-ки им. Розы Люксембург» – мужчины в плавках и женщины в купальниках танцуют парами, прижавшись друг к другу, под оркестр. Одесские маевки незабываемы: море, скалы, весенняя едва пробившаяся листва, белое цветение садов, тонкий аромат

сирени, хрупкие, еще зеленоватые свечи каштанов и дразнящий запах местных деликатесов, распространяющийся по приморским склонам… Май в Одессе – это лучшее время года, это кипение чувств, событий, эмоций. Май в Одессе – это лучшее время жизни, окрашенное романтическими воспоминаниями…

Неиссякаемому творческому началу, живущему в одесситах, их тяге к зрелищам посвящено немало холстов: «Городские меломаны», «Боря вундеркинд», «Концерт Шуберта», «Браво-брависсимо», «У нас снимается кино», «В театр на спектакль», «Цирк», «Смертельный номер», «Я Сема Алебастр – веселый куплетист», «Музей на Пушкинской», «Студия Бершадского», «Танц-класс г-на Зингера» («Два шага налево, два шага направо…»), «Школа Столярского» – помните, Бабель писал про *«…фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках… кому предстояло играть в Букингэмском дворце».*

Профессионально образованный и искушенный в мастерстве художник нашел для своей «Одессы» особый стилистический язык и символический ракурс (сбоку и сверху): он упразднил перспективу, разгладил пространство, расцветил его множеством деталей и трогательных подробностей, а также застывшими фигурами в динамичных позах, так он преобразил город своего детства в удивительную театральную декорацию, где все немного понарошку! Для воплощения живой истории Одессы Е. Л. отказался от однозначного правдоподобия и чрезмерной серьезности. К тому же, странный ракурс и условное пространство позволили ему, советскому художнику, не отступая от реализма, никак не соответствовать официозу соцреализма. Что это? Эзопов язык? Возможно! А возможно – проявление свободного и раскрепощенного воображения, юмор, ирония, пересмешничество. Все картины ясны, искренни и понятны, в них нет иносказаний, ассоциаций, каких-либо метафор, их примитивизм и детскость подчеркивают ностальгию художника по прошлому. Искусно написанные в наивной манере, они не вполне реальны, но и не вполне фантастичны, это какой-то особый призрачный реализм, реализм уходящей натуры (что пройдет, то будет мило!).

Мир Ладыженского очень красив: светлые прозрачные тона летней толпы, серый тон булыжной мостовой, густая зелень деревьев, травы, арбузов, синева моря. Эта живопись перекликает-

ся с европейским примитивизмом, экспрессионизмом, фовизмом, которые в СССР были, по сути, запрещены, она и сегодня очень современна, свежа и талантлива.

Описывать картины – дело трудное и неблагодарное, описывать же цикл картин еще труднее, ведь каждая заслуживает внимания, и выбирая из 200 полотен, неизбежно приходится упускать что-то существенное. Поэтому позволю себе еще совсем немного о самых любимых!

Глядя на картины свадеб – «Хупа в танцклассе Зингера», «На нашей улице свадьба», «Мадам Резник выдает Фиру замуж», «Под каштанами свадьба», «Пусть будут здоровы жених и невеста», «Налетчик, его невеста и шаферы», «Фрейлехс» и др., – я немедленно вспоминаю песенку, которую пела моя мама – абсолютно русская женщина по фамилии Сидорова:

Ужасно шумно в доме Шнеерзона,
Из окон прямо дым идет,
Там женят сына Соломона,
Который служит в «Капремонт».
Его невеста Сонька с финотдела
Вся разодета в пух и прах:
Фату мешковую одела
И деревяшки на ногах.

Песню сочинил в 1920 году поэт с Канатной улицы Мирон Ямпольский. А это уже «одесский Мопассан» Исаак Бабель: «На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу… Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды… пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря…». До чего ж я любила наши семейные застолья и их праздничную монументальность – белая несгибаемая льняная скатерть, дефицитные мельхиоровые ножи и вилки с толстенькими чернеными черенками, где-то по случаю добытые мамой тарелочки с подозрительной надписью «Общепит»

и массивные подстаканники с затейливыми буквами «МПС» в обрамлении пальм и уходящих вдаль железнодорожных составов. Именины сердца!

А вот «Налетчики едут крутить любовь» – по булыжной мостовой мчат запряженные белыми лошадьми лаковые пролетки, в них джентльмены удачи – все в белых костюмах и с букетами цветов, а на белых постелях в ожидании возлежат их обнаженные пассии.

«Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишкой Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели…»

К. Паустовский

Торговля, которая, как известно, «делает с нас артистов», обильно представлена во множестве картин – «Пошли дыни», «Спелые кавуны», «Бессарабское вино», «Керченская сельдь», «Очаковская скумбрия», «Утром будут торговать кавунами», «Кавуны на вырез», «Привоз» (ах, какие названия! не названия, а песня!). Привоз – место, где во все времена процветало продуктовое изобилие, где роскошь снеди и пиршество красок складывалось в сочные, вполне себе фламандские натюрморты, и где было много «южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино» (И. Бабель). Привоз – вечный зов, основной инстинкт, кровь и плоть одесситов. В детстве поездка с мамой на Привоз воспринималась мной как праздник, ведь там «пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам» (И. Бабель). Кажется, я до сих пор помню вкус моченого яблока, сладкой чурчхелы, терпкого королька, горячего пирожка с повидлом и липкость облизываемых пальцев.

Отец нашего художника был мастером по засолке рыбы, в мемуарах он пишет, что из всех засаливаемых рыб больше всего он запомнил скумбрию:

«…благородная и дорогая рыба скумбрия, царица Черного моря. Ее тугое тело, прямое и гладкое, как веретено, окрашено нежнейшими муаровыми тонами, от светло-голубого до темно-синего».

В. Катаев

Мой русский дед имел шаланду и выходил на ней в море, и я до сих пор помню вкус его малосольной скумбрии вприкуску с искристыми «степовыми» помидорами – божественно!

У Е. Л. есть печальные картины, написанные темными тонами, на сюжеты Гражданской войны, интервенции, голода, смерти, похорон. Сегодня о них говорить мне не хочется, разве что об одной – «Похороны Веры Холодной». Траурная процессия – белые лошади, запряженные в катафалк под белым покрывалом, и 25-летняя покойница в открытом гробу в сопровождении огромной толпы и душераздирающе-надрывных звуков духового оркестра – восторг и ужас! О знаменитой артистке я знала из рассказов маминой тетки, покинувшей в ранней юности отчий дом, для того чтобы примкнуть к свите звезды немого кино, которой выпала доля олицетворять идеал женщины смутного времени 1910-х годов и вызывать преклонение публики. Ее имя будоражило мое детское воображение. (Ве-Ра-Хо-Лод-На-Я – таинственно и непонятно. Как это – Холодная Вера?) Кончина актрисы была внезапной. Это случилось в Одессе в феврале 1919 года в годы интервенции, когда Одесса жила особенной лихорадочной жизнью, а по всей Европе бушевала эпидемия испанки. Жестянщик Шпиц, мастер с эстетической жилкой, каких в Одессе было немало, смастерил для Веры сказочный «серебряный» гроб – настоящее произведение искусства. В 1941 году мастера и двух его сыновей повесили на балконе над их мастерской. Картина «Г-н Шпиц и его сыновья» и много других посвящены людям уважаемых профессий – «Мой дядя Шалом», «Кровельщики», «Часовщик Коган», «Цирюльник Кольтмахтер», «Мастерская памятников», «Реставрация Успенского собора»…

Е. Л. писал: «Были люди, и их я носил в своей душе, их помнил и ощущал…». Доброе старое время детства и юности художник помнит всеми органами чувств, его многолюдные и многоголосые, набитые людьми и предметами городские пейзажи написаны не только с большим мастерством, но и с душевным жаром, удовольствием и любовью, они дают живое ощущение давнего одесского микромира с его воздухом, настроением, неповторимым колоритом и немеркнущей притягательностью.

После городских пейзажей наиболее частая тема, к которой обращается живописец, – море: «Утром на Ланжероне», «Весна

на даче Отрада», «Лодочная станция совслужащих», «В Арбузной гавани», «Каникулы еще продолжаются», «Катер лоцмана», «Крымско-кавказская линия», «В дальний рейс» и т. п. Он не пишет бескрайних морских просторов, он выбирает нужный ему кадр, передающий колорит места и времени – пляж, порт, гавань, лодки, подъемные краны, буксиры, большие пароходы, мачты…

О, море, море! Как много оно значило для меня! С раннего детства я ходила с папой в порт и в ближние Хлебную и Нефтяную гавани. Я любила стоять на пирсе и смотреть на отходящие пароходы.

«…на том месте, где только что чернела стена парохода, образовалась щель, и в глубине – зеленая рябь морской воды».

В. Катаев

«Что там?» – спрашивала я, всматриваясь в море, и папа торжественно отвечал: «Там Турция!». В нашу гавань заходили корабли из далеких стран, они стояли на рейде, будоражили воображение, рождали мечты о путешествиях и приключениях…

«Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель…»

И. Бабель

Живописная сага о городе в 190 глав – уникальное и единственное в своем роде эпическое и лирическое повествование об Одессе в цвете и линии – главное творческое свершение выдающегося художника XX века, чье имя навсегда уже вписано в летопись искусства.

«Одесса моего детства» Ладыженского – живое художественное явление, сравнимое с Парижем Альбера Марке или Монмартром Мориса Утрилло. Но, пожалуй, подлинное открытие художника в его родном городе еще впереди. И очень может быть, в скором времени на Ланжероновской улице, на Аллее звезд, появится его звезда!

Тель-Авив

Юрий Дикий, Феликс Кохрихт

Рихтер Allegro «Одесса»

Ф. К.: В предыдущем, 81 номере альманаха мы начали разговор о всемирно известной одесской музыкальной школе, избрав для начала диалога (рассчитывая и на многоголосье) ее пианистическую составляющую. Гениальные Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер, их учитель Генрих Нейгауз, их однокашники по его классу, их друзья, их окружение в одесских детстве, отрочестве, юности…

И действительно, вскоре в моей программе «Диалоги на Нежинской», посвященной нашим великим землякам, приняли участие члены семьи Потаповых – дочь Татьяна и Влада, внучка профессора математики Владимира Петровича Потапова, соученика Гилельса по Одесской консерватории, для которого он всегда оставался Милей…

Да и авторы этого и предыдущих материалов тоже так или иначе связаны с судьбами Гилельса и Рихтера.

Ю. Д.: Жена Феликса Кохрихта Татьяна Диомидовна Вербицкая – дочь Натальи Сергеевны Завалишиной-Вербицкой, которая дружила с родителями Рихтера, а для юного Светика стала музой. До конца своих дней он вспоминал и высоко ценил их совместное музицирование в четыре руки…

Ф. К.: Отец главы Миссии Давида Ойстраха и Святослава Рихтера Юрия Дикого профессор Борис Дикий тоже учился с Гилельсом в Одесской консерватории, да и его сын, Дикий-младший, гордится тем, что его педагогом была ученица Нейгауза Людмила Наумовна Гинзбург…

Одесса, 30-е годы XX века. Наталия Сергеевна Завалишина-Вербицкая и Святослав Рихтер

И это еще не все из тех, кто входил в ближний круг наших гениев и с кем нам посчастливилось дружить, и у кого учиться.

Сейчас – о том, почему считаем важной и своевременной тему исторической памяти, на сей раз применительно к жизни и творчеству и Святослава Теофиловича Рихтера и Эмиля Григорьевича Гилельса.

Недавно, к нашему естественному чувству гордости, ЮНЕСКО признало Одессу Литературным городом. Мы уверены, что такого же статуса должна быть удостоена и наша музыкальная школа.

Но если не только творчество, но и биографии (в том числе и одесский период) наших литературных корифеев широко известны и на родине, и за рубежом, то и великий скрипач Давид Ойстрах, и Эмиль Гилельс, и Святослав Рихтер сегодня предстают перед музыковедами, историками искусства, поклонниками их таланта лишь в официальных биографиях, статьях и книгах авторов, видевших в них гениальных инструменталистов, властителей дум и чувств, образно говоря – небожителей. К сожалению, более или менее подробно и достоверно исследовано лишь то, что связано с их жизнью и творчеством в зрелые и венчающие жизнь годы.

Увы, такова судьба многих выдающихся отечественных музыкантов, но, уверены, что в большей степени лакуны не только в творческих биографиях, но и судьбах сопутствуют Рихтеру и Гилельсу.

Продолжая тему исторической памяти, мы в этой публикации сосредоточились на жизни и творчестве Святослава Рихтера,

на одесском периоде его становления. Великому музыканту Эмилю Гилельсу и другим «питомцам гнезда Нейгауза», и не только ярким представителям одесской пианистической школы, мы посвятим материалы, которые готовим для последующих выпусков альманаха.

Юрий Дикий, работая с материалами центральных музеев и библиотек, встречался в Москве с теми, кто является или полагает себя историками того периода развития отечественного и мирового пианизма, когда признанными кумирами в нем, бесспорно, были Гилельс и Рихтер. И вот что еще тогда поразило его: удивительным образом наряду с подробным и даже скрупулезным профессиональным отображением жизни и творчества зрелых мастеров практически ничего не сказано об одесском периоде, а ведь это годы детства, отрочества, юности, годы становления и личности, и таланта…

Ю. Д.: Наиболее явственно эта тенденция проявляется в отношении Святослава Рихтера.

Ф. К.: Я не профессионал, хотя, как ты знаешь, просвещенный слушатель, которому судьба даровала и дружбу с замечательными музыкантами, и счастье наслаждаться высоким искусством. Поправь меня, если я предложу такую ассоциацию. Рискну предположить, что жизнь великого композитора или инструменталиста сравнима с симфонией, которая начинается с (сонатного. – **Ю. Д.**) allegro. Как правило, именно в первой части сочинения формируется будущее развитие событий и даже финал… Понимаю, что это сравнение – скорее литературное, но все же рискну предположить, что и для Светика Рихтера, и для Мили Гилельса таким аллегро-началом была Одесса.

Первые уроки музыки маленький Рихтер получил от своего отца, а первым не салоном, а музыкальным клубом стала одесская квартира Вербицких-Завалишиных. Ты тщательно и профессионально изучил наш семейный архив, ты встречался не только с Татьяной, но и с ее старшим братом Виктором, который хорошо помнит Светика… Ты автор нескольких публикаций об одесских детстве и юности великого Рихтера…

Знаменательно и важно, что тебе удалось не просто удивить, но и поразить самого Бруно Монсенжона – автора сенсационных фильмов о великих одесситах Ойстрахе и Рихтере.

Ю. Д.: Первый приезд в Одессу (май 2015 года) знаменитого французского кинорежиссера, скрипача, общественного деятеля Бруно Монсенжона был приурочен к длящимся юбилейным торжествам – 100-летию Святослава Рихтера. Это был своеобразный дар городу, в котором прошли юношеские годы формирования гения XX века, определенные в таком высочайшем ранге самим Г.Г. Нейгаузом.*

Фильмы Б. Монсенжона, обошедшие весь земной шар, к моменту его посещения Одессы не были широко известны не только одесситам, но даже некоторым высокопрофессиональным музыкантам.** Это было заметно по поведению слушателей и даже некоторых журналистов, пришедших на встречу с маститым режиссером на Одесскую киностудию.

Бруно Монсенжон имел все основания предстать перед одесситами в привилегированном положении дарителя уникальных материалов о Рихтере, хотя бы потому что в так называемом отечественном официозе связи Рихтера и Одессы подавались и подаются не то чтобы скупо, а попросту как враждебные. Значительнейший период жизни Рихтера в Одессе (впрочем, как и его семьи) традиционно был вынесен за скобки. Столичный расцвет гения оставался и остается доминирующим.

Неудивительно, что в юбилейных фильмах к его 100-летию центральные московские каналы «Россия» (1 канал) и «Культура» лишь мимоходом упоминают Украину и Одессу. В первом случае – это место рождения (г. Житомир), во втором – работа отца в одесской церкви и консерватории, а впоследствии расстрел отца как мотивировка игнорирования города детства и юности. До появления фильма «Земляничная поляна Святослава Рихтера» (2015), где Юрий Башмет размышляет о гранях его гения, в противовес яко-

* Э.Г. Гилельс к этому времени (1937 год) был уже признанной мировой знаменитостью, но такой чести от великого учителя не удостоился, что и вменяется в вину Г.Г. Нейгаузу нынешним поколением некоторых авторитетных авторов.

** Один из моих друзей, превосходный скрипач и композитор, удивленно спросил: «Кто это такой?».

бы одностороннему монсенжоновскому взгляду на его личность; в большом интервью на телеканале «Новая Одесса» явно сквозит вся та же московская ревность к французу, сделавшему знаменитый фильм.

Ю. Башмет, оговоривши исключительность своего признания, повествует о сложнейшем периоде до кончины маэстро, когда наступил этап его болезни, практически без материальной поддержки, без выступлений и ощутимой «властной» помощи.

Наши попытки высветить первый генерирующий период в биографии гения и предопределивший этап его мирового признания во всех его противоречиях в лучшем случае вызывали первоначально некоторое сочувствие и удивление. Во всяком случае признаки интереса к фактам 26-летнего периода его детства и юности оставались полностью заслонены празднеством последующих успехов.

Одесские меломаны длительное время попросту отмалчивались в ответ на поступающие якобы от Рихтера скудные его воспоминания, а близкие к семье Рихтеров старые одесситы, кроме немногочисленных отдельных фактов, мало что публиковали.

Прорыв в установившихся странных утверждениях отказа Рихтера то ли играть в Одессе, то ли приезжать в Одессу первоначально осуществили два одесских автора – В.А. Смирнов и В.С. Максименко. Оба с разных сторон скрупулезно и достоверно изучали и налаживали связующие нити молодого Рихтера и большого числа живущих одесситов, явно противоречащих и официально биографическим публикациям, и даже отдельным высказываниям Святослава Теофиловича. Авторами выдвигались неопровержимые документальные свидетельства обстоятельств его юности и художественного становления, практически неизвестные миру, в том числе Ю. Башмету и Б. Монсенжону.

Надо сказать, что в начале нового тысячелетия ростки интереса к юному Рихтеру пробились и у работников мемориальной квартиры-музея Святослава Рихтера, в первую очередь у Л.Э. Кренкель и И.А. Антоновой – директорский корпус московского Пушкинского музея. Вполне возможно, что решающее значение в проявившихся контактах сыграли события в Одессе. Открытие в декабре 2002 года памятной мемориальной доски на Пасторском

доме рядом с кирхой, где органистом до 1926 года работал отец – Теофил Рихтер, и прошедший фестиваль «РИХТЕРФЕСТ-2002. Декабрьские встречи». Организованные и проведенные активом энтузиастов, впоследствии сплотившихся в Миссию Д. Ойстраха и С. Рихтера, они были истинно общественным деянием сплотившихся одесситов, получившим широкий отклик.*

Во всяком случае, в 2003 году последовало наше приглашение в квартиру-музей на концерт-встречу, которая вызвала интерес у московских меломанов – и последовал сюжет на канале «Культура». Показанные на встрече уникальные материалы одесского периода семьи Рихтеров, безусловно, вызвали интерес работников Пушкинского музея и музея-квартиры, как и отдельных знатоков, но не более. Первоначальная заинтересованность самой И.А. Антоновой, явно прослеживаемая в нашей переписке, и как следствие – последовавшее приглашение для встречи-концерта в 2003 г., достаточно скоро сменилось, мягко говоря, прохладой внимания к происходящему в Одессе. Во внешней публицистической среде следы их быстро потерялись, а социальные сети не снизошли до публикаций весьма необычной первой мемориальной доски 2002 года. Мотивация этого охлаждения заметна и в интервью И.А. Антоновой в Итальянском дворике Пушкинского музея, которое может быть интерпретировано множеством факторов, возможно, и заметным остыванием ее недавнего пожелания побывать в Одессе в ответ на наше приглашение и убеждение в необходимости установки памятника Рихтеру в Одессе.

Естественные для большинства биографий «ЖЗЛ» годы детства и юности гениев, впрочем, как и главы знаменитых биографических романов, в данном рихтеровском случае явно оказывались не ко двору интересам столичного бомонда. Примером их неосведомленности послужил и ляп журналистов в сюжете ТК «Культура» о музее-квартире, в завершающей его фразе, о причине тайного приезда Рихтера в Одессу якобы с целью поиска могилы отца, когда об этом нигде речь не шла.

Но тем не менее именно таинственный одесский период биографии Рихтера продолжает быть окутан множеством мифов,

* Открытие памятной доски С.Т. Рихтеру в Москве состоялось спустя три года, в 2005 году, а в Житомире – в 2011 г.

легенд и ошибок, причиной появления которых грешили не только его биографы, близкие, друзья, а соответственно и СМИ, но и сам С.Т. Рихтер. Был ли в этом его умысел? Не нам судить! Но его склонность к мистификациям и театральность отмечали многие близкие, а таких конкретных фактов осталось достаточно и в материалах старых одесситов.

Итак, с одной стороны – громадный, интереснейший, насыщеннейший ярчайшими творческими событиями и сопутствующими подробностями весь послевоенный период, вплоть до кончины Рихтера в 1997 г. С другой – непонятный, неординарный, провинциальный, возможно, антисоциальный, нетрадиционный etc. отрезок биографии, персонально нежелательный со всех сторон: и для власти, и для общества (в том числе профессионалов консерваторий, включая доброжелателей и недоброжелателей).

Между тем именно этот период и сформировал Святослава Рихтера для последующего триумфа, что обнародовал Г.Г. Нейгауз, определив его гениальность. Но это оказался опасный скрытый «пиар» на грани фола: «шаг вправо, шаг влево – расстрел», «пиар», которого страшились и старались избегать многие его современники. Да и не могло быть по-иному, поскольку господствующая идеология не могла его открыто допустить, пропитывая своими установками гастрольные поездки, биографии, мнения, рецензии, все составляющие жизни публичной личности. Непредсказуемо появляющиеся предписания, указания «сверху», из темных подворотен партийной верхушки и составляли две «зоны»: «зону советской жизни» или «зону лагерной жизни» (при Сталине), впоследствии оставаясь «зонами советского или антисоветского существования».

Вполне можно согласиться с Ю. Башметом, что Рихтер не был «антисоветским элементом»,** о чем субъективно говорит Башмет в сюжете телепрограммы «Земляничная поляна…» и задолго до этого в одесском интервью.

Рихтер есть Рихтер, и показывал свое «место силы» художника вне этих двух «зон существования», в которые вовлекались добровольно или под воздействием многие выдающиеся личности,

** Это мнение Ю. Башмета вменяется в вину Б. Монсенжону и якобы прослеживается в фильме «Рихтер непокоренный».

демонстрируя свою лояльность или нелояльность. Одно только было его «слабое место» для такого внешнего воздействия – детство и юность в Одессе: мать и отец, их прошлая и довоенная среда. Здесь находилась ахиллесова пята художника, и скорее всего, она использовалась властью и ее приверженцами. Иначе чем можно объяснить столь длительное и даже пренебрежительное отношение к фактам важнейшей четверти жизни великого художника и одесским условиям, ее формирующим? Только изощренными манипуляциями и длительным многозначительным молчанием в ответ на публикуемые одесские материалы.

Вот почему ныне следует различать подходы к этим материалам со стороны Бруно Монсенжона и части российского музыкального бомонда.

Приглашающая в Одессу французского режиссера сторона в лице Лианы Кришевской (менеджер Баварского дома в Одессе) и д-ра Клауса Харера (Немецкий форум восточноевропейской культуры Потсдам) в своей организационной программе также не оставили ни малейшего информационного места для уникальных, практически не известных Монсенжону одесских материалов. Более того, зная о деятельности Миссии Д. Ойстраха и С. Рихтера с 2002 года, присутствуя на концертах «Ойстрах-Ассамблей», проводившихся в 2003 году, где впервые в Украине прозвучал на подворье Пасторского дома квартет Теофила Рихтера, встречаясь со мной в преддверии столетнего юбилея и достаточно зная о проделанной Миссией работе, этот оргкомитет не пригласил актив Миссии на встречи с Б. Монсенжоном. Если бы не настойчивое обращение к руководителям Баварского дома (в частности, Наталье Кён), никаких продуктивных контактов не произошло б, а Бруно Монсенжон так и уехал бы без малейшего намека на материалы одесского периода Святослава Рихтера.

Поразительно, что весь президиум брифинга Бруно Монсенжона в Шустовском пресс-центре и не собирался хоть каким-то образом его информировать об одесском периоде семьи Рихтеров или хотя бы поинтересоваться мнением режиссера об этом периоде, ограничиваясь замысловатыми вопросами о его творческом почерке и планах на будущее.

И до, и после прошедших встреч во всех СМИ одесский период биографии Рихтера даже не упоминался.

Не могу предположить, что организаторы были не знакомы с развернутыми материалами В.А. Смирнова, В.С. Максименко, а также опубликованными в таких изданиях, как «Зеркало недели» (2005, 2007), журнал «Музыка» (2005), публикациями одесской прессы, телепередачами и подборками статей в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская». Более того, и Л. Крышевская, и д-р К. Харер знали о подарке Миссии со стороны И.А. Антоновой и Л.Э. Кренкель факсимильной партитуры квартета Теофила Рихтера, переданного Миссией для исполнения квартету «Гармония мира» на «Ойстрах-Ассамблеях» в 2003 году. Спустя более чем десять лет наш общий пространный разговор в саду одесского Дома ученых об авторских правах на запись этого квартета на CD в Германии имел свои проблемы.

Все это в преддверии приезда Б. Монсенжона и юбилейных торжеств по случаю столетия С. Рихтера ставит большой вопрос перед Л. Крышевской и К. Харером – каковы мотивы сокрытия большого массива материалов одесского периода Святослава Рихтера, уж очень совпадающего с последовавшей после 2010 г. столичной московской немотой о происходящем в Одессе.

Неужели Б. Монсенжону было бы неприятно узнать о большом вечере, организованном обществом «Хесед» и Миссией в 2003 году, посвященном Б. Монсенжону и его фильму «Давид Ойстрах: народный артист?» (а не просто «Д. Ойстрах…»), как перед его приездом анонсировалось? Фильм, о котором в то время широко не знали даже в Москве (а может быть, и знали, но скрывали) в силу его правдивости и содержательности в высказываниях С. Ростроповича, И. Менухина, Г. Кремера… Присутствовавшая на вечере аудитория (более трехсот человек и ведущая вечер искусствовед Анна Розен) выражали искреннюю благодарность не только мне, но и моей выпускнице И. Пастернак, тогда приславшей ленту из Испании!

Могла ли обидеть Б. Монсенжона развернутая информация от Миссии, как общественность Одессы содействовала открытию памятных мемориальных досок Святославу Рихтеру (2002),

Бруно Монсенжон и Юрий Дикий у стенда с материалами об одесском периоде Святослава Рихтера

Давиду Ойстраху (2003), Теофилу Рихтеру (2013)? Или все материалы концертов и юбилейной выставки «Наш Святослав Рихтер» в Золотом зале Литературного музея?

Или же определенные круги старались скрыть от гостя множество сложностей, преодолеваемых Миссией в своей деятельности?

А вообще, показывали ли господа организаторы Б. Монсенжону эти памятные места? Кто и как это комментировал?

Как тут не вспомнить плагиат ректора Одесской консерватории г-на А.В. Сокола в беззастенчивом присвоении себе факта проведения Первого международного конкурса им. Д.Ф. Ойстраха, обсуждавшийся в 2004 г. в широкой прессе, как и провокации вокруг авторитетнейшего жюри относительно памятных мест связанных с его именем! Как вместо намеченного Миссией брифинга и возложения цветов к памятному месту, где родился гениальный скрипач, от членов жюри и большинства учеников Д.Ф. Ойстраха их повезли на винную дегустацию, соответствующую склонностям ее консерваторского организатора.

Каков был интерес и удивление знаменитого француза, было заметно на брифинге в Шустовском пресс-центре, когда пришлось вне программы г-жи Крышевской и спикера знакомить присутствующих не только с драматическими подробностями жизни семьи Рихтеров и их окружения, но и с особенностями его одесских привязанностей, продолжавшихся всю жизнь (вопреки установившимся мифам). Не могла не волновать одареннейшего музыканта и режиссера подлинность неординарных условий формирования гения в городе, подарившем миру блестящую плеяду не только музыкантов, а и поэтов, и литераторов, ученых и актеров, личностей, прославивших этот благодатный край.

В дальнейшем произошла наша встреча с Б. Монсенжоном уже в Житомире, на большой международной конференции, посвященной С.Т. Рихтеру, где удалось достаточно подробно познакомить и Б. Монсенжона, и участников конференции с таинственно мифологизированным одесским периодом С. Рихтера.

Не обидели Б. Монсенжона и некоторые неточности в его фильме, в частности, адрес первого жилья семьи Рихтеров на улице Нежинской, улице, где обитали в тот период и первый ректор Одесской консерватории Витольд Малишевский, пригласивший Теофила Рихтера на фортепианную кафедру, и первая заведующая кафедрой вокала профессор Юлия Александровна Рейдер. И этот перечень можно было бы продолжать и продолжать вплоть до современности…

Интерес и благодарность Б. Монсенжона к этим материалам были выражены им в выступлениях на международной конференции и сюжетах Житомирского телевидения, снимая табу с материалов одесской резервации окружения семьи Рихтеров первой половины XX века. А это и семья Натальи Сергеевны и Татьяны Диомидовны Завалишных-Вербицких, близких родителям С.Т. Рихтера. Наталья Завалишина-Вербицкая – ученица Теофила Рихтера, многолетний и постоянный партнер игры молодого Светика в четыре руки вплоть до 1941 года. Практически ежедневные многочасовые занятия и громадный репертуар отражены в большой переписке с ней С.Т. Рихтера, неоднократно публиковавшейся, и свидетельствующие об одной из причин его частых довоенных отлучек из консерватории и телеграмм Г.Г. Нейгауза.

Полувековая содержательная переписка С.Т. Рихтера и инженера И.И. Володина (известного одесского коллекционера) Рихтером также нигде не упоминается. Она также была неизвестна Б. Монсенжону, но могла его заинтересовать. Она была впервые представлена в 2003 г. в музее-квартире в Москве. «Большую семью Володиных, – пишет в книге «Одесские этюды инженера Володина» И.И. Володин, – хорошо знали на Французском бульваре как старожилов Отрады и почитали… Вспоминаю, каким он – тогда просто Святослав – был в молодости, когда приходил к нам на Пироговскую. Он всегда играл на рояле долго, увлеченно и страстно. Еще тогда мы предвидели в нем большой талант музыканта, хотя у нас в доме бывали и другие одаренные певцы и музыканты… композитор Артур Топузо… певец Лаптев – впоследствии народный артист, композитор Володя Фемилиди…»

«По-человечески мне жаль нашего именитого земляка, – пишет И.И. Володин. – Я знаю, как он переживал, отказывая себе во встрече с Одессой… Впоследствии я дарил Святославу на добрую память небольшие этюды, пейзажи, виды Одессы, такие как «Потемкинская лестница», «Вид Воронцовского дворца», «Арбузная гавань» – работы одесских художников Дворникова, Бальца и другие. Рихтеру они нравились, и он благодарил меня за внимание».

На встрече-концерте в 2003 г. Л.Э. Кренкель интересовалась у меня личностью Изабеллы Леви, подарившей С.Т. Рихтеру большой гобелен, висящий поныне в большой гостиной («зале», как говаривал Рихтер) с ее дарственной подписью. И по сегодняшний день во всех изданиях о музее-квартире мы обнаруживаем анонимность этого гобелена, тогда как это подарок дочери доктора Г.С. Леви, лечившего маленького Рихтера от менингита.

Все эти и другие многочисленные материалы неоднократно публиковались и уже были достаточно распространены до приезда Б. Монсенжона в Одессу, чтобы быть показанными именитому гостю, документальные материалы большой главы рихтеровской биографии, доказывающие истинное значение музыкальной Одессы во всех противоречиях того периода.

Но что еще, на наш взгляд, для Б. Монсенжона могло быть чрезвычайно важным, это пребывающие под сомнением подлинные чувства к городу юности С.Т. Рихтера, тайно заказавшего

своему одесскому другу Леониду Кисловскому и Наталье Журавлевой (дочери ближайшего друга Дмитрия Николаевича Журавлева) съемку любимых мест Одессы по заранее подготовленному им плану. Не перекликается ли эта фотодокументалистика с тематикой подаренных полотен инженера И.И. Володина? А это и здание лютеранской церкви (кирхи), и здания бывшего германского консульства, а ныне детской поликлиники, и родительского дома на Нежинской, 32, и другие памятные для Рихтера места.

Как этот тайный план соотносится с известной публикацией знаменитого рихтеровского «плана новогоднего вечера» с таинственным сюжетом «Шемаханская царица» (Н.С. Вербицкая-Завалишина)?*

Незабываемые воспоминания, драгоценно сохраняемые в душе великого музыканта, имеют полное право в своей подлинности на достойное место в мировой истории.

Ф. К.: Мы с тобой, Юра, принадлежим к тому поколению – рубежному, что ли… Хотя я и постарше тебя, но, как писал Бабель, «нас волновали одинаковые страсти», а еще – одинаковые реалии огромной послесталинской страны, и пусть не всегда одинаковые, но общие интересы к тому, что приходило в нашу жизнь из прошлого, настоящего и, вероятно, будущего. Речь идет о феноменах культуры и искусства, открывающихся перед молодыми людьми в конце 50-х – середине 70-х годов минувшего века.

Думаю, ты согласишься со мной, что Одесса того времени дарила нам общение с особыми земляками – теми, кто вырос, учился, дружил, сотрудничал с выдающимися людьми конца XIX – начала XX века, когда в Одессе зарождались, формировались и выходили на мировой уровень школы – литературная, музыкальная, живописная, работали выдающиеся режиссеры, актеры театра и кино… А главное, нам посчастливилось стать вхожими в знаковые одесские семьи, а то и самим стать их частью…

Но не меньшей удачей стало и то, что в самом начале жизненного и профессионального пути меня окормляли (есть такое старинное церковное понятие, но оно, полагаю, не имеет

* См. «Шемаханская царица Святослава Рихтера». – Еженедельник «Зеркало недели». Вып. № 38, 30 сентября – 7 октября 2005.

ни конфессиональной, ни национальной коннотации) добрые старшие друзья, приветившие молодого человека, не имевшего тогда ни порядочного образования, ни положения в обществе и несмело подававшего надежды. В нынешнем диалоге назову лишь тех из многих, кто был связан с героями нашей истории, – Эмилем Гилельсом и Святославом Рихтером…

О семье Татьяны ты уже рассказал, я же начну с Великановых. Напрямую их эта профессорская семья не была связана с музыкой (как, к примеру, Циклисы, Гешелины, Дикие, Потаповы), но в их гостеприимном доме бывали практически все яркие и знаменитые деятели искусств, посещавшие Одессу.

Дмитрий Николаевич Журавлев – великий мастер художественного слова. В конце 50-х он приезжал в Одессу с программой, включавшей произведения Исаака Бабеля, тогда только-только входившего в жизнь нашего поколения. Я уже читал его прозу, но именно от Журавлева услышал шедевр Бабеля «Ди Грассо»…

…Я подружился с дочерью Дмитрия Николаевича Наташей, моей ровесницей, студенткой театрального вуза, и спустя год-другой я стал гостем Журавлевых на первом этаже дома на Арбате, где жили актеры Вахтанговского театра. Однажды был свидетелем того, как в гостиную ворвался, как раз к чаю, молодой блистательный Олег Табаков – любимый ученик Журавлева. Первым делом он сообщил, что на полученный гонорар от нескольких фильмов наконец-то купил маме (в Саратове) первую шубу. На это Дмитрий Николаевич ответил: «А мне Светик сегодня привез с гастролей в Англии концертный костюм…».

Я не знал, кто таков этот Светик, но почему-то его запомнил. Прошло несколько лет – я встретился с Таней и от нее вновь услышал это детское имя. Так в довоенной Одессе называли в ближнем кругу юного Святослава Рихтера, с которым судьба свела Наталью Сергеевну и всю семью Вербицких-Завалишиных.

…Прошло еще несколько лет, и мы с Таней вошли в ближний круг замечательной семьи Ойгензихт-Горовиц, жившей в маленькой квартирке общежития музыкального училища на Мечникова. На этажерке с книгами – фотографии Давида Ойстраха и Эмиля Гилельса с дружескими пожеланиями, присланные друзьям из разных стран.

За знаменитым чаем Раисы Исааковны собирались ее консерваторские ученики и коллеги С тех пор мы в добрых отношениях с Анатолием Дудой и Верой Беляевой, дружим с их сыном Алексеем Ботвиновым (его педагог – аспирантка Г. Нейгауза С.Л. Могилевская). В Одессу часто приезжали и супруги Милкис – концертмейстеры знаменитого Ленинградского симфонического оркестра, оркестра Мравинского. И у них был сынишка, черноглазый Юлик. В прошлом году один из самых знаменитых кларнетистов мира Юлий Милкис принимал участие в ботвиновском фестивале «Odessa Classics». После концерта мы вспоминали Раису Исааковну и Семена Борисовича…

Потаповы. Дед поэта Влады Ильинской (в будущем – выдающийся математик, тогда Володя) учился с Милей Гилельсом в классе фортепиано профессора Одесской консерватории Берты Рейнгбальд. Всю жизнь она слышала от матери-музыканта о великом Гилельсе… Но вот недавно газета «Вечерняя Одесса» затеяла выпуск Одесской детской энциклопедии, и Влада выбирает в герои своего очерка Святослава Рихтера, потрясенная его личностью и судьбой… Ее очерк называется «Камертон ветра» и выражает чувства и мысли поколения одесситов XXI века.

«Унесенные ветром…». Несколько лет назад мы с Таней так назвали статью в альманахе, где она (по натуре не склонная выставлять на обозрение свои чувства и воспоминания), по сути, впервые рассказала о сложной судьбе своей семьи, пережившей вместе со страной все повороты истории с неизбежными потрясениями и утратами. Самые драматические, да и трагические воспоминания связаны с тридцатыми годами прошлого века, когда Вербицкие-Завалишины вместе с друзьями – семьей Рихтер – оказались в ситуации, ежедневно грозящей очередными испытаниями, которым подвергались тогда выходцы из дворянских, офицерских, да и интеллигентских кругов, жившие в Одессе.

Замечу: тот «киношный» заголовок и сегодня представляется точным и лаконичным. Им и закончу свои и Танины воспоминания о последней – заключительной части симфонии «Одесса», где за много обещавшим allegro звучит и финал.

Коротко. Обе семьи после войны – опять же, уносимые ветром – осели в Германии, где Наталия Сергеевна и маленькая Таня

часто гостили у Анны Павловны Москалевой – матери Святослава Рихтера. После возвращения Вербицких в Одессу (уже в годы «оттепели») наладилась связь со Светиком – великим музыкантом, который вовсе не забыл Шемаханскую царицу… Завязалась переписка, которая длилась многие годы. К нам, на Успенскую, 119, приходили не только его открытки и письма со всего мира, но и бандероли с пластинками, где звучали произведения, которые они когда-то играли вместе…

В середине 70-х Таня заканчивала московскую аспирантуру и часто бывала в столице. Наталия Сергеевна поручила ей встретиться со Светиком (так она его называла до самого конца)… Я попросил Наташу Журавлеву организовать эту встречу, и наша подруга пошла с ней на концерт Рихтера в Концертном зале имени Чайковского. Когда смолкли аплодисменты, они поспешили за кулисы, где их должен был ждать Святослав Теофилович, знавший, что Таня в зале… Их встретили сообщением, что Рихтер внезапно уехал…

Когда-то – по свежим следам этой коллизии – мне его поведение представлялось если не возмутительным, то не соответствующим романтическому образу. Но сегодня, когда нет уже на земле ни мальчика, ни молодой женщины, игравших в четыре руки Гайдна, я бы назвал его и естественным, и странным. Ибо Рихтер (вспомним, что он – сын австрийского органиста и русской дворянки с немецкими корнями) представляется мне заколдованным странником – вроде вагнеровских оперных персонажей… Рискну предположить, что Одесса, в которой он пережил детство, отрочество, юность, осталась мифической страной, а Шемаханская царица должна бы оставаться и спустя жизнь столь же прекрасной. А тут – ее взрослая дочь…

ФИНАЛ. И Гилельс, и Ойстрах с их блистательной и несколько пафосной, быть может, имперской судьбой, и Рихтер с его пограничьем между богоизбранностью и отстраненностью…

Алена Яворская

«За решеткой в темнице угрюмой – ни любви, ни весны, ни зари»

Валентин Катаев. 1920-е гг.

Почти сто лет назад, 30 октября 1920, из здания ЧК на Маразлиевской улице вышли молодой человек, в прошлом офицер, и подросток-гимназист – братья Катаевы[1].

Старший брат будет бравировать историей ареста, фактом отсидки – и в двадцатые, и в восьмидесятые годы. Младший об этом не будет ни вспоминать, ни упоминать – но в его биографии на долгие годы изменится дата рождения – с 1902 на 1903 (во время допросов он убавил год, надеясь избежать расстрела).

В 1959 была опубликована повесть Константина Паустовского «Время больших ожиданий». Валентин Катаев, в те годы живой и здравствующий, там лишь упоминался. Но как!

Вечер поэтов, на котором собирались бить Георгия Шенгели. Два имени рядом – Владимир Нарбут и Валентин Катаев.

«Шум немного стих, когда на сцену вышел поэт Владимир Нарбут – сухорукий человек с умным желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его.

Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом. <…>

Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина.

На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева.

Эстрада подозрительно потрескивала, даже покачивалась и, очевидно, собиралась обрушиться. <…>

После Нарбута Катаев хрипло и недовольно прочел свои стихи о слепых рыбах. Дело в том, что рыбаки с Санжейки и Большого Фонтана иногда вылавливали в море слепых дунайских рыб. Рыбы слепли, попав из пресной воды в соленую. Стихи понравились, но не вызвали оваций».[2]

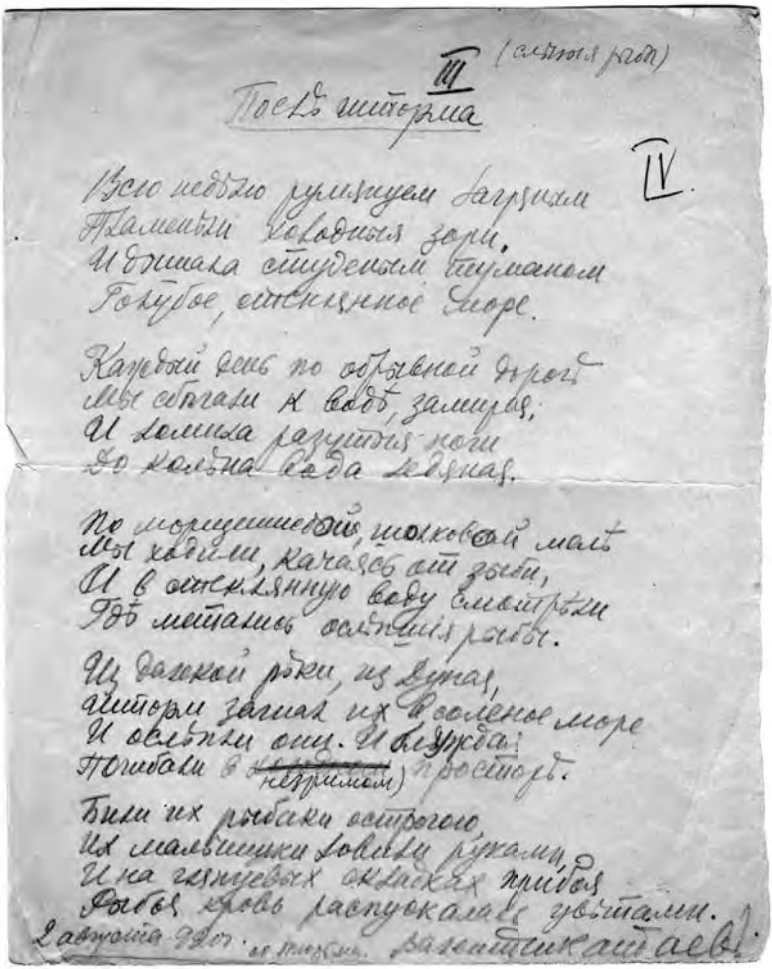
Вроде бы обычное описание вечера. Но надо знать подоплеку – Владимр Нарбут руководит ЮгРОСТА, Валентин Катаев – его подчиненный. Нарбут – автор стихотворения о ЧК «И чеканит ЧК гильотину…». Катаев – недавний арестант ЧК, чудом этой гильотины избежавший.

И самое главное – сохранилась рукопись стихотворения «Перед штормом» (позже названного «Слепые рыбы»). Катаев написал его 2 августа 1920.

Всю неделю румянцем багряным
Пламенели холодные зори,
И дышало студеным туманом
Заштилевшее Черное море.

Каждым утром по узкой дороге
Мы сбегали к воде, замирая,
И ломила разутые ноги
По колено вода ледяная.

По морщинистой шелковой мели
Мы ходили, качаясь от зыби.
И в стеклянную воду глядели,
Где метались ослепшие рыбы.



III (слѣпыя рыбы)

Послѣ шторма

IV.

Всю недѣлю румянцем багряным
Пламенѣли холодныя зори,
И дышала студеным туманом
Голубое, отклянное море.

Каждый день по обрывной дорогѣ
Мы сбѣгали к водѣ, замирая,
И ломила разутыя ноги
До колѣна вода ледяная.

По морщинистой, шелковой мелѣ
Мы ходили, качаясь от зыби,
И в отклянную воду смотрѣли
Гдѣ метались ослѣпшія рыбы.

Из далекой рѣки, из Дуная,
Шторм загнал их в соленое море
И ослѣпли они. И блуждая
Погибали в ~~[illegible]~~ (незримом) просторѣ.

Били их рыбаки острогою,
Их мальчишки ловили руками,
И на глянцевых окладках прибоя
Рыбья кровь распускалась цвѣтами.

2 августа 1920 г. [illegible] Валентин Катаев

Рукопись стихотворения «Перед штормом». 20 августа 1920. Одесса. Тюрьма

Из широкой реки, из Дуная
Шторм загнал их в соленое море,
И ослепли они, и, блуждая,
Погибали в холодном просторе.

Били их рыбаки острогою,
Их мальчишки ловили руками.
И на глянцевых складках прибоя
Рыбья кровь распускалась цветами.[3]

Стихотворение не раз публиковали. Но никогда – с датой «20 августа. Одесса. Тюрьма». В семейном архиве сохранились рукописи стихов, написанных в тюрьме.

Павел Валентинович Катаев вспоминал рассказы отца о тех днях:

«Заключенные сидели там без предъявления какого-либо обвинения, а исходя из классового представления тюремщиков-революционеров о виновности того или иного представителя враждебного класса.

Кем был в то время мой отец? Сын преподавателя епархиального училища, получивший чин дворянина (по наследству не передающийся), бывший гимназист и вольноопределяющийся царской армии, участник войны с Германией, дослужившийся до прапорщика и награжденный тремя боевыми наградами, молодой одесский поэт...

<…> Пока же в ожидании решения своей участи отец оставался в тюрьме, где, что называется, прижился, попривык и даже продолжал писать стихи. Его перестали вызывать на допросы. По его словам, у него создалось впечатление, будто бы о нем забыли, не обращали на него внимания. И такое положение его устраивало – он оставался в живых».[4]

1926 год. Советские писатели пишут автобиографии. В. Катаев откровенно признаётся: «Гражданская война 1918-1920 гг. на Украине замотала меня в доску, швыряя от белых к красным, из контрразведки в чрезвычайку. В общей сложности за это время в тюрьме я просидел не менее 8 месяцев».[5] И если его арест контрразведкой достаточно сомнителен, и в дальнейшем в прозе

Петр Васильевич Катаев. 1910-е гг.

никак не отражен,[6] то о черезвычайке Катаев будет писать всю жизнь: от стихов в 1920 году до последних дней.

В 1922 году он начинает работу над рассказом «Отец». Внук священника Василия Катаева, сын преподавателя епархиального училища Петра Катаева, он дает главному герою говорящую фамилию – Синайский. Такая же фамилия у героев его последней повести «Сухой лиман» (1984).

В рассказе «Отец» названо и время ареста, и число месяцев, проведенных за решеткой: «В начале апреля, в один из тех прекрасных и теплых дней, когда море особенно сине, а молодые листья особенно зелены, в тюрьму привели громадную партию арестованных. <…>. Среди приведенных в тюрьму людей был некто Петр Иванович Синайский, молодой человек в офицерской тужурке с артиллерийскими петлицами и в студенческой фуражке.

И пошла тюремная жизнь».[7]

«Каждое воскресенье и каждую среду, в солнце и в дождь, по шоссе мимо кладбищенской стены тащился по щиколотку в пыли или грязи старик Синайский. За шесть месяцев он не пропустил ни разу. Сын ждал его с раннего утра, высоко держась за переплет решетки».[8]

О младшем брате в рассказе не упоминается. А в «Сухом лимане» (1986) говорится об обоих сыновьях, но на арест автор лишь намекает. Впрочем, читавшим «Уже написан Вертер» все было понятно: «В то время обоих сыновей Николая Никаноровича – старшего, Сашу, уже взрослого молодого человека, прапорщика, и младшего, Жору, еще не окончившего гимназию, – смыло революционной волной, и оба они исчезли из родительского дома».[9]

Рассказ «Отец» Катаев начал писать в 1922 году, и в том же году был опубликован его рассказ «Восемьдесят пять». Главный герой – чекист, в прошлом – агент охранки, пробравшийся в ЧК по поддельным документам и арестованный. Похоже, автор вспомнил свои ощущения в момент ареста:

«Он знал, что это могло быть доносом, ошибкой, наконец… шуткой. Но это должно было распутаться. Немедленно, сию минуту… сию секунду… Дальше это продолжаться не могло… Но это продолжалось, и время, оставаясь неподвижным, неслось, свистя и захлебываясь. И ужасней всего и унизительней было неведение, то неведение, которое знает все, но не желает знать, а потому не знает, все помнит до самых тайных глубин, но глушит память и мчится, захлебываясь, во тьме.

<…> Он уже видел себя введенным в пустой гараж, где одна стена истыкана черной оспой, и совершенно точно осязал на затылке то место, куда ударит первая пуля. Отяжелевшая кровь налила дубовые ноги, и легкая громадная пустота звенела и реяла вверху. Его вывели из подвала во двор, в ночь, где ноги бессильно скользили по черной земле, напитанной нефтью».[10]

Рассказ был опубликован с примечанием «Из эпохи гражданской войны и борьбы с контрреволюцией» – автор об этом знал, так сказать, изнутри.

1980 год. Журнал «Новый мир» в № 6 публикует повесть В. Катаева «Уже написан Вертер» – совершенно невероятное по тем временам описание расстрелов в ЧК. О том, как именно повесть увидела свет, существует несколько версий. По словам Павла Валентиновича Катаева, повесть рискнул опубликовать смертельно больной Сергей Наровчатов, который уже ничего не боялся.[11] По версии автора книги о Валентине Катаеве Сергея Шаргунова – повесть напечатали по указанию Михаила Суслова, «серого кардинала» и главного идеолога партии.[12]

Тем не менее председатель КГБ Юрий Андропов направил в ЦК секретную записку о том, что Комитет госбезопасности оценивает повесть Катаева как политически вредное произведение:

«В целом указанное произведение воспринимается как искажение исторической правды о Великой Октябрьской социалистической революции и деятельности ВЧК.

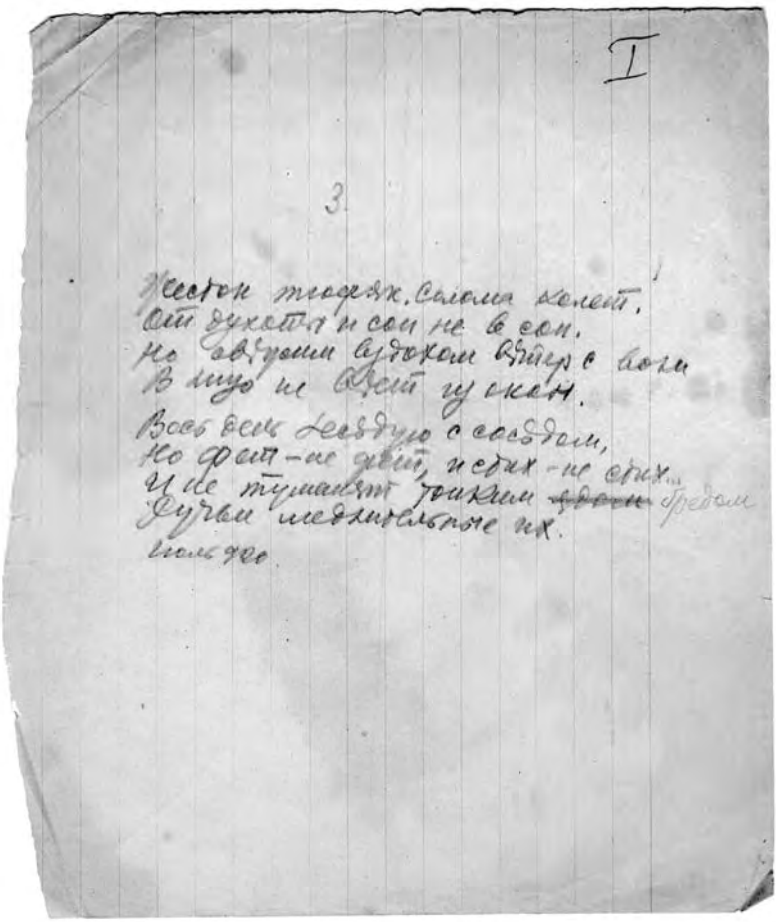
<…> Написанная с субъективистской, односторонней позиции повесть в неверном свете представляет роль ВЧК как инструмента партии в борьбе против контрреволюции».[13]

При жизни Валентина Петровича – Героя Социалистического Труда, награжденного тремя орденами Ленина, лауреата Ленинской премии – повесть больше не переиздавалась. Не вошла она и в десятитомное собрание сочинений, вышедшее в 1983 году. А несколько стихотворений, написанных в тюрьме, – вошли, ведь место их создания указано не было.

В этих стихах, написанных за решеткой, – и реалии тюремной жизни, и светлое воспоминание о прошлом.

Июль 1920:

Жесток тюфяк. Солома колет.
От духоты и сон не в сон.
Но свежим духом ветер с воли
Совсем не веет из окон.



Рукопись стихотворения «Жесток тюфяк…». Июль 1920

Всю ночь беседую с соседом.
Но Фет не Фет и стих не стих.
И не туманят тонким бредом
Ручьи медлительные их.[14]

Если первое стихотворение – зарисовка с натуры, то во втором, тоже написанном в июле, – упоминание о детстве, о счастливом периоде влюбленности во всех барышень Отрады. Катаев назовет его «Десять лет спустя»:

Садовник поливает сад.
Напор струи свистит, треща,
И брызги радугой летят
С ветвей на камушки хряща.

Сквозь семицветный влажный дым
Непостижимо и светло
Синеет море, и над ним
Белеет паруса крыло.

И золотист вечерний свет,
И влажен жгут тяжелых кос
Той, чьих сандалий детский след
Так свеж на клумбе мокрых роз.[15]

«Подоконник высокий и грубый…» – вид из тюремного окна Катаев почти дословно повторит в рассказе «Отец».

Подоконник высокий и грубый,
Мой последний земной аналой.
За решеткой фабричные трубы,
И за городом блеск голубой.

Тот же тополь сухой и корявый
За решеткой в железной резьбе.
Те же пыльные, тусклые травы,
Тот же мертвый фонарь на столбе.

Не мечтай! Не надейся! Не думай!
От безделья ходи и кури.
За решеткой в темнице угрюмой –
Ни любви, ни весны, ни зари.[16]

В рассказе:

«В тюремной ночной духоте и тьме, в спиртовом запахе дынных корок, по стенам возились клопы. Два окна, переплетенные грубым железом, запирали ночь, всю осыпанную свежими звездами. Ветер и сполохи бежали по ним.

<…> В окне, озаренный дуговым жуком, стоял добела розовый косяк соседнего корпуса. Под виселицей фонаря, среди черноты, на полотняной яркой земле качалась многоугольная тень часового».[17]

Рассказ «Отец» и стихи, написанные в тюрьме, перекликаются. «Спиртовый запах дынных корок…», «…вечер, зажженный огарком в горлышке черной бутылки, оплывал лазурью и золотом стеарина на вялые корки, на желтый понос дынных внутренностей, распластанных на столе»[18] и стихотворение «Дыня»:

На узкие доли
Персидскую дыню разрезав,
Блестит поневоле
Слезами восторга железо.
<…>
Постой и покуда
Душистые доли не трогай,
У полного блюда
Помедли с молитвою строгой.

Настанет же время
Попробовать дивную дыню,
И высушить семя,
И выбросить кожицу свиньям.[19]

Августом 1920 датировано стихотворение «Пушок одуванчика»:

Сквозь решетку втянул сквознячок
Одуванчика смутный пушок,
Невесомый, воздушный намек.

Удивился пушок и сквозной
Над столом закачался звездой,
И повеял прохладой степной.

Но в окно потянул ветерок
За собой синеватый дымок,
А с дымком улетел и пушок.[20]

Так в рукописи. Позднее Катаев изменит всего два слова: «За решетку табачный дымок».

«От безделья ходи и кури…», «табачный дымок», «папироса мой друг постоянный» – в трех стихотворениях Катаев пишет о единственной отраде арестанта:

Если ночь и душна и светла,
Дышит грустью и праздностью странной,
Ароматна, крахмальна, бела –
Папироса, мой друг постоянный.

Все я медлю курить: и пока
С папиросою пламя не слито,
В золотом волокне табака
Невозможность возможного скрыта.

Но едва огневой мотылек
Пропорхнет по обрезу тупому –
Там малиновый вспыхнет глазок
И запахнет табак по-иному.

И теперь от иного огня
Острым дымом до сердца дотянет.
И опять, как и вечно, меня
Недоступностью воли обманет.[21]

Стихи «на грани смерти» – молодой поэт ежедневно, ежеминутно ожидает расстрела. В рассказе «Отец» герой, «засыпая, сквозь счастливый приступ неодолимого сна слышал некоторое время за ставнями холостую работу мотора и слабые, еле уловимые выстрелы, через десять секунд каждый».[22]

«Его стихи, обычно живописные, в это время стали другими, высушились, упростились до наива: он заговаривал себя ими как человек, пробующий договориться с неволей и небытием»,[23] – писал С. Шаргунов.

Раз я во всем и все во мне,
Что для меня кресты решеток –
В моем единственном окне –
Раз я во всем и все во мне.
И нет предела глубине,
А голос сердца прост и кроток:
Что для меня кресты решеток,
Раз я во всем и все во мне.[24]

Эпиграф к этому стихотворению «Я во всем и все во мне. Толстой. «Война и мир». Сознательная ошибка или редкий случай, когда Катаева подвела память? Это строки из написанного в 1836 году стихотворения Ф. Тютчева «Тени сизые сместились…»:

Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..

И еще одно тюремное стихотворение «Всему, что есть, – нет имени и меры…», явно созвучное последним строкам тютчевских стихов.

У Тютчева:

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

У Катаева:

Всему что есть – нет имени и меры.
Я вне себя не мыслю мир никак.
Чем от огня отличен полный мрак?
Чем разнится неверие от веры?

Кто говорит, что грани звездной сферы
Есть вечности и бога верный знак?
Пока мой глаз их отражает – так!
Но мертв зрачок – их нет, они химеры.

Мир – это я. Случайной мерой чувства,
Миражами науки и искусства
Я мерю все глубины бытия.

А нет меня?.. О, сердце, будь холодным,
Будь до конца спокойным и свободным.
Так говорю на грани смерти я.

Но рядом с мрачными строками вновь воспоминание о свободе, море, разгуле стихии.

2 сентября он пишет стихотворение «Шторм»:

Громовым раскатом смеха,
Гулом пушечного эха
Стонет море по обрывам
Однотонным переливом.
В мутной зелени вскипая,
Льется кипень снеговая
И рисует в буйной влаге
Айвазовские зигзаги.
Берег пуст. Купальни смыты.
Только там, где сваи вбиты,
Тянут волны вместе с тиной
Тело мертвого дельфина.[25]

Молодому поэту подвластна любая форма – он писал и триолеты, и сонеты.

В июне 1918 года журнал «Жизнь» публикует один из его сонетов:

Точи свой стих, как дедовский кинжал,
От времени зазубренный и ржавый,
И освяти своею новой славой
Его холодный, голубой закал.

На рукоятке – дымчатый опал,
Очерченный серебряной оправой
Неясный образ, вкованный в металл
Стиха, застывшего тяжелой лавой.

Но для любви забудь стальной сонет,
Любовь полна неверности свирельной,
В любви хорош трехгранный триолет
И нежный лепет песни колыбельной.

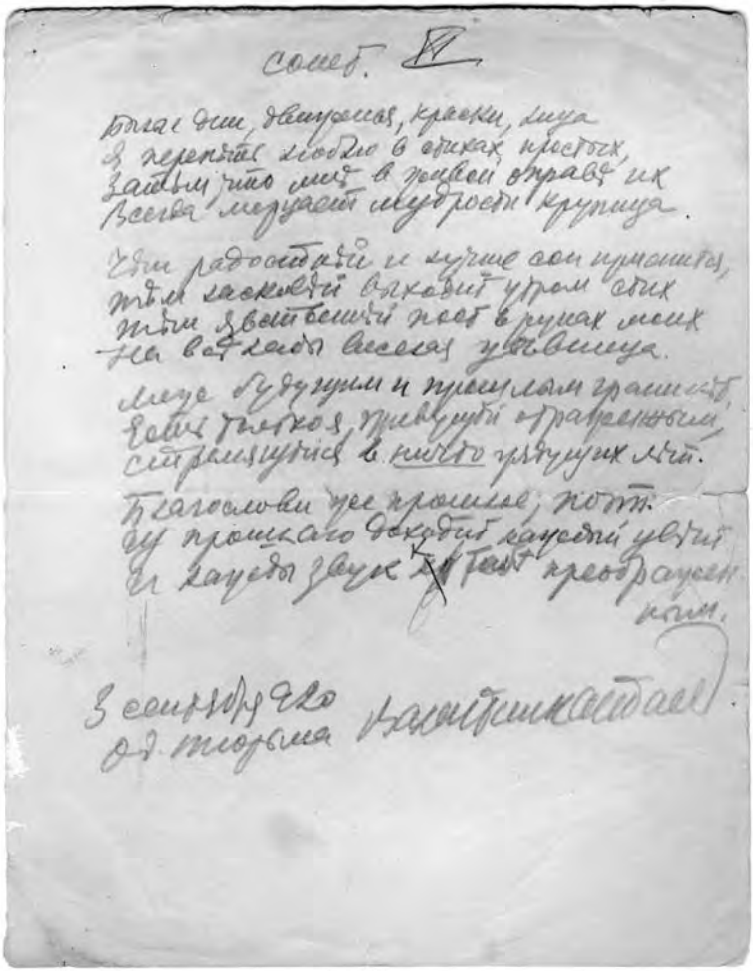
Люби светло. Будь бесконечно прост,
Как шелест трав, как дрожь весенних звезд.

И так совпало, что одним из последних написанных Катаевым в тюрьме стихотворений стал сонет, во многом пророческий.

Былые дни, движенья, краски, лица…
Я перепеть люблю в стихах простых
Затем, что мне в живой оправе их
Всегда мерцает мудрости крупица.

Чем радостней и лучше сон приснится,
Тем ласковей выходит утром стих
Тем явственней поет в руках моих
На все лады веселая цевница.

Меж будущим и прошлым грани нет,
Есть только я, живущий отраженным,
Стремящимся в ничто грядущих лет.



Рукопись стихотворения «Сонет». 3 сентября 1920

Благослови же прошлое, поэт.
Из прошлого доходит каждый цвет
И каждый звук к тебе преображенным.[26]

Эти строки Валентин Катаев написал 3 сентября 1920 года. Именно о прошлом, преображенном в строки, написанные размашистым почерком (Катаев печатных машинок не признавал), – повесть «Уже написан Вертер». Свои тюремные стихи Катаев не цитирует, ведь главный герой – художник Дима (его прототипом был Виктор Федоров, сын писателя Александра Митрофановича Федорова).

Беловую рукопись романа Валентин Петрович передал в Одесский литературный музей, и она должна была быть помещена в экспозицию. Но по указанию свыше рукопись была снята с витрины, посвященной Катаеву, за несколько дней перед открытием музея в 1984 г.

На выставке в Одесском литературном музее «Писатель и время», посвященной 90-летию писателя (1986), был показан черновой вариант «Гараж» (из архива семьи В.П. Катаева), объемом в несколько раз превышавший напечатанный текст, и несколько тюремных стихотворений.

Многое в повести понятно лишь читателю, знающему историю двух арестов, – Валентина Катаева и Виктора Федорова.

Сергей Зенонович Лущик много лет занимался расшифровкой реалий и прототипов повести, результатом стала книга «Реальный комментарий к повести В. Катаева «Уже написан Вертер»[27], которая вышла в 1999 году.

Но материалы из архивов ЧК тогда исследователям были недоступны.

Спустя тридцать лет, в декабре 2019, я работала в Отраслевом архиве СБУ с протоколами заседаний комиссии Одесской губернской чрезвычайной следственной комиссии за 1920 год. Протокол заседания от 28 октября 1920 года занимает шестнадцать страниц.

Герой «Вертера» при встрече со «знаменитой Венгржановской» в мыслях объединяет два заговора, она – в англо-польском, а он – участник врангелевского, на маяке. Но в реальной истории их фамилии в одном списке: заголовок протокола – «Дело подпольных белогвардейских организаций».[28]

У Катаева художник Дима думает: «Наберется человек двадцать, и хватит для одного списка».[29] В действительности список был намного длиннее. По делу проходили 193 человека. «Все 193

гражданина по обвинению в участии в подпольной белогвардейской организации, работавшей от польского министерства индел и генштаба Польской армии, называвшейся «Агентурно-информационный пункт К.Н.З.С.І.».[30] 102 обвиненных были расстреляны, 9 отправлены в концлагерь, 79 освобождены. Дела трех несовершеннолетних кадетов были выделены для продолжения следствия.

В повести описана краткая встреча двух арестованных:

«Один вел свою с допроса вниз, другой своего на допрос вверх.

Ее щеки горели. Точеный носик посветлел, как слоновая кость. Знаменитая Венгржановская. Самая красивая гимназистка в городе. Именно с ней когда-то он танцевал хиавату. Он ее узнал. Она его не узнала. Полька. Аристократка, тогда от нее пахло резедой. Ее имя повторялось в городе.

Теперь оно тоже повторялось, но уже в другом роде. Она была участницей польско-английского заговора».[31]

В приговоре и в тексте «Вертера» – В***е***нгржановская, хоть правильно – В***и***нгржановская. Катаев не называет имени, скорее всего, он имел в виду среднюю сестру – Анну. А в списке приговоренных три сестры и мать:

№ 16

Венгржановская Анна Брониславовна, 23 л.

Венгржановскую – резидента польского пункта, занимавшуюся шпионажем 2 года, снабжавшую всех деньгами, получаемыми из Варшавы, – расстрелять, имущество конфисковать.

Приказ т. Юрьеву исполнен в ночь на 30-ое окт. 1920 г.

№ 46

Венгржановская Мария Викторовна, 59 л.

Венгржановскую как хозяйку явочной квартиры – расстрелять, имущество конфисковать.

Приказ т. Юрьеву № 50 исполнен в ночь на 30-ое окт. 1920 г.

№ 47, 48

Венгржановские Елена и Мария Брониславовны 1) 18 2) 26 лет.

Обоих как бывших в курсе дел и помогавших работе организации – расстрелять, имущество конфисковать.

Приказ т. Юрьеву № 50 исп. в ночь на 30-ое окт. 1920 г. Мандат на конфиск. № 12124 и 12122 т. Волошином кв. от хр. № 101.

Валентин Петрович всегда был точен в деталях. Так и здесь: Дима слышит фамилии «знакомые и незнакомые»:

«– Из камеры с вещами. Карабазов. Вайнштейн. Нечипоренко. Вигланд. Венгржановский.

<…> Полковник Вигланд в английской шинели, имевшей на нем вид халата, сидевший в углу и безостановочно строчивший по-английски свой дневник, преждевременно седой, дурно подстриженный, быстро дострочил начатую фразу и спрятал заветную тетрадку глубоко под шинель. <…> Потряхивая серым хохолком на маленькой головке, с выпуклыми склеротическими английскими глазами, солдатским шагом он прошел мимо ручного электрического фонарика и скрылся в темноте коридора.

Штабс-капитан Венгржановский в студенческой тужурке и длинных шевровых сапогах, гордо закинув голову, – как две капли воды похожий на свою младшую сестру, – вышел из камеры с дрожащей улыбкой, отбросив в сторону недокуренную папироску.

Фон Дидерихс суетливо раздавал на память остающимся в камере мелкую элегантную чепуху: замшевый кошелек, шелковый платочек для наружного кармана, портсигарчик, маленькую фотографию девушки с испанским гребнем в прическе, обручальное кольцо, долго не снимавшееся с пальца, и по его курносому курляндскому носику ползла аквамариновая слезинка, блеснувшая в луче электрического фонарика».[32]

Фон Дидерихс – настоящая фамилия приятеля детства Катаева, Владимира фон Дитерихса[33] (писавшего стихи под псевдонимом фон Дитрихштейн). Он в заговоре участвовать никак не мог, ибо к тому времени уже был в эмиграции.

В списке участников заговора Викланд (Вигланд у Катаева). И Венгржановский, но не старший брат, а дядя.

№ 49

Викланд Рудольф Андреевич

гр. Викланда как служившего до революции в особой пограничной страже и ныне присосавшегося к Соввласти путем вступления в Советское учреждение расстрелять, имущество конфисковать.

Приказ т. Юрьеву № 50 исполнен в ночь на 30-ое окт. 1920 г. Мандат на конфиск. № 12143 исп. т. Лебедем кв. от хр. № 3987 № 51 и 52.

№ 50

Венгржановский Климентий Аркадьевич, 61

гр. Венгржановский – родственник шпионки, бывший в курсе всех дел организации – расстрелять, имущество конфисковать

Приказ т. Юрьеву № 50 исполнен в ночь на 30-ое окт. 1920 г. Мандат на конфиск. № 12143 исп. т. Лебедем кв. от хр. № 3987 № 51 и 52.

«Расстрелять, имущество конфисковать» – вначале приговор записан у фамилии каждого осужденного, затем – то ли писарь, то ли судьи устали, и просто поперек страницы со списком арестованных запись: «Как бывших офицеров, членов подпольной организации расстрелять, имущество конфисковать», или того короче: «РАССТРЕЛЯТЬ».

А в конце списка те, кому повезло «всего лишь» попасть в лагерь, и те счастливцы, которых постановили «как непричастных к делу организации ОСВОБОДИТЬ». В самом конце списка – братья Катаевы.

№ 165

Катаев Валентин Петрович 23 л.

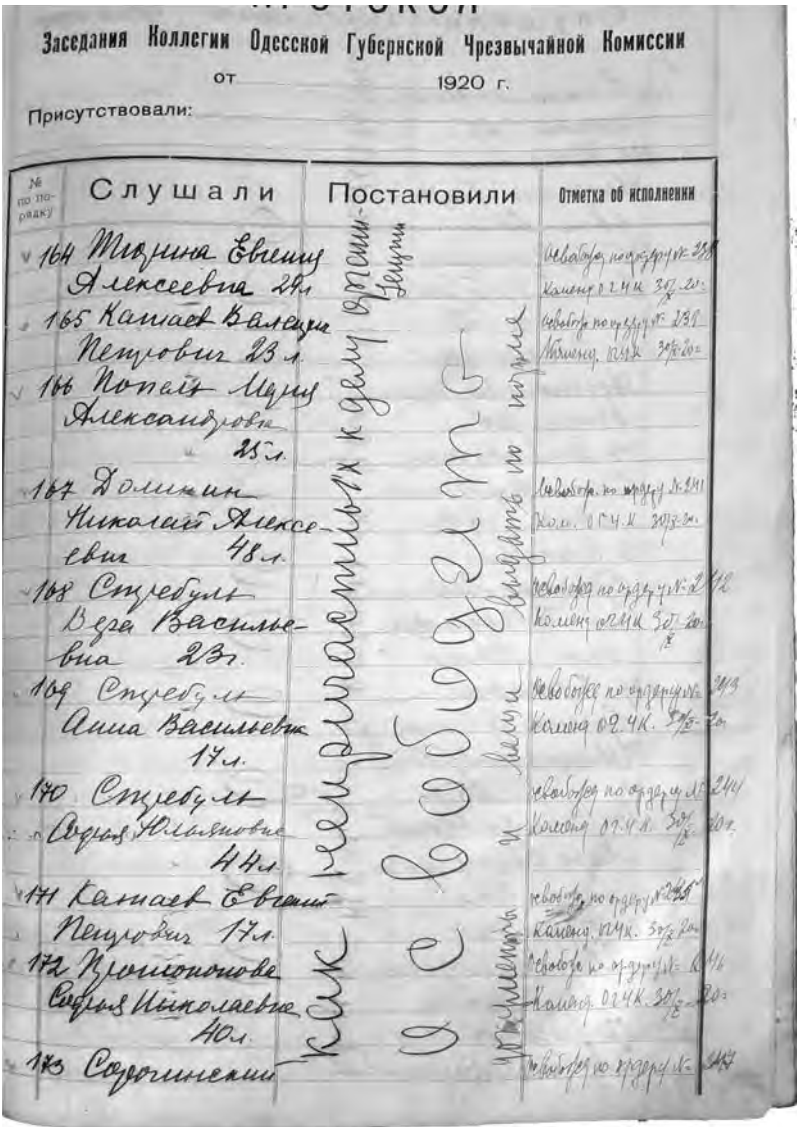
как непричастных к делу организации освободить. Документы и вещи выдать по норме.

Освобожд. по ордеру № 239. Коменд. ОГЧК 30.X.20 г.

№ 171

Катаев Евгений Петрович 17 л.

освободить как непричастных. Освобожд. по ордеру № 245. Коменд. ОГЧК 30.X.20 г.



ПРОТОКОЛ

Заседания Коллегии Одесской Губернской Чрезвычайной Комиссии

от _____ 1920 г.

Присутствовали: _____

№ по порядку	Слушали	Постановили	Отметка об исполнении
164	Тюрина Евгения Алексеевна 29 л.	Как непричастных к делу Одесской Губернии освободить	Освобожд. по ордеру № 238 Коменд. О.Г.Ч.К. 30/X-20 г.
165	Катаев Валентин Петрович 23 л.		Освобожд. по ордеру № 239 Коменд. О.Г.Ч.К. 30/X-20 г.
166	Попель Мария Александровна 25 л.		
167	Доминин Николай Алексеевич 48 л.		Освобожд. по ордеру № 241 Ком. О.Г.Ч.К. 30/X-20 г.
168	Стребуль Вера Васильевна 23 г.		Освобожд. по ордеру № 242 Коменд. О.Г.Ч.К. 30/X-20 г.
169	Стребуль Анна Васильевна 17 л.		Освобожд. по ордеру № 243 Коменд. О.Г.Ч.К. 30/X-20 г.
170	Стребуль Софья Юльяновна 44 л.		Освобожд. по ордеру № 244 Коменд. О.Г.Ч.К. 30/X-20 г.
171	Катаев Евгений Петрович 17 л.		Освобожд. по ордеру № 245 Коменд. О.Г.Ч.К. 30/X-20 г.
172	Протопопова Софья Николаевна 40 л.		Освобожд. по ордеру № 246 Коменд. О.Г.Ч.К. 30/X-20 г.
173	Сорочинский		Освобожд. по ордеру № 247

Протокол заседания Одесской губернской чрезвычайной следственной комиссии за 1920 год от 28 октября. ГДА СБУ

Трудно, невозможно представить себе, что чувствовали братья, вышедшие после шести месяцев тюрьмы на свободу. В «Вертере» Катаев об этом не пишет – Диму выводят через черный ход. Нет деталей и в рассказе «Отец». Но есть преображение главного героя.

«…переодетый во все чистое и заплатанное отцом, Петр Иванович в последний раз увидел в смуглом зеркале коммунальной парикмахерской свое обросшее шерстью, шесть месяцев не бритое лицо декабриста. Черные клочья курчавых волос валились из-под визжащей машинки в грязную простыню, и от них стежками секундной стрелки расползались насекомые. Проворно вывихнутая бритва снимала со щек кошачий мех бакенбардов и рвала рыжую бороду, оголяя из-под белой пены худой подбородок. Молодое, чистое, черноглазое лицо с голыми ушами чуждо и радостно посмотрело на Петра Ивановича из зеркала».[34]

Впереди у Петра Синайского – Валентина Катаева была долгая жизнь. Жизнь, которую он так замечательно и откровенно описал в «Волшебном роге Оберона», «Юношеском романе», «Траве забвения», «Алмазном венце». И в небольшой повести «Уже написан Вертер»:

«Убегают рельсы назад, и поезд увозит его в обратном направлении, не туда, куда бы ему хотелось, а туда, где его ждет неизвестность, неустроенность, одиночество, уничтожение, – все дальше, и дальше, и дальше…».[35]

Валентин и Эстер Катаевы. Переделкино, 1970-е гг.

Фотографии и рукописи
из семейного архива Катаевых

Благодарю Тину Катаеву,
предоставившую их для публикации

Примечания

[1] В описи фонда «РАТАУ» в ГАОО С.З. Лущик обнаружил анкету № 261 В.П. Катаева, датированную 15.XI.20 (анкета утрачена). По версии С.З. Лущика, дело было закончено в начале сентября, а оформили задним числом 28 октября.

[2] Паустовский К.Г. Время больших ожиданий. – Одесса, 1961, с. 149.

[3] Катаев В. Избранные стихотворения… С. 161-162. В книге под названием «Все неделю румянцем багряным…».

[4] Катаев П.В. Доктор велел мадеру пить…: Книга об отце. – Москва, 2006, с. 153-154.

[5] Валентин Петрович Катаев // Писатели: Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. – Москва, 1926, с. 142

[6] В пьесе «Поэт» (1957) описан арест и допрос в контрразведке поэта Николая Тарасова (в описании героя угадываются черты, характерные для Э. Багрицкого).

[7] Катаев В.П. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1, с. 189.

[8] Там же, с. 195-196.

[9] Катаев В.П. Сухой лиман // Новый мир. – Москва, 1986, № 1, с. 38.

[10] Катаев В.П. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. – Москва, 1983, с. 250-251. Впервые – в журнале «Корабль» – Калуга, 1922, № 5-6, ноябрь.

[11] Разговор с П.В. Катаевым, 12 октября 2015.

[12] Шаргунов С.А. Катаев: Погоня за вечной весной. – Москва, 2016, с. 650.

[13] Цит. по: Шаргунов С.А. Катаев: Погоня за вечной весной... с. 653.

[14] Катаев В. Избранные стихотворения. – Москва, 2010, с. 152.

[15] Катаев В. Избранные стихотворения… с. 163, под названием «Воспоминание». Рукопись воспроизведена – Катаев В.П. Собр. соч. в 8 т. Т. 8, с. 135.

[16] Катаев В. Избранные стихотворения… с. 154.

[17] Катаев В.П. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1, с. 189

[18] Там же, с. 191.

[19] Катаев В. Избранные стихотворения… с. 159

[20] Цитируется по рукописи, разночтения с печатным вариантом. Но в окно потянул ветерок / За решетку табачный дымок. – См.: Катаев В. Избранные стихотворения… с. 156.

[21] Катаев В. Избранные стихотворения… с. 153.

[22] Катаев В. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1, с. 203.

[23] Шаргунов С.А. Катаев: Погоня за вечной весной… с. 105.

[24] Катаев В. Избранные стихотворения… с. 155.

[25] Катаев В. Избранные стихотворения… с. 164. Рукопись воспроизведена – Катаев В.П. Собр. соч. в 8 т. Т. 8, с. 139.

[26] Публикуется впервые, рукопись из семейного архива В.П. Катаева.

[27] Катаев В.П. Уже написан Вертер. Лущик С.З. Реальный комментарий к повести. – Одесса, 1999.

[28] Протоколы заседаний комиссии Одесской губ. чрезв. следств. комиссии с 13/VI по 3/ XI 1920. Протокол от 28 октября. – ГАОО, ф. 6, оп. 3, д. 283.

[29] Катаев В.П. Уже написан Вертер. Лущик С.З. Реальный комментарий к повести… с. 28.

[30] Протоколы заседаний комиссии Одесской губ. чрезв. следств. комиссии с 13/VI по 3/ XI 1920. Протокол от 28 октября.

[31] Катаев В.П. Уже написан Вертер. Лущик С.З. Реальный комментарий к повести… с. 27-28.

[32] Там же, с. 32-33.

[33] Дитрихштейн, фон Дитрихштейн Владимир Давыдович (наст. фамилия Дитерихс; 1889 или 1890 – 1967), поэт, журналист. Эмигрировал в 1920 г. С 1921 г. жил во Франции, печатался в газетах «Русская мысль», «Руль», «Возрождение», «Россия и славянство» и др. Во время Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении. Автор книг «Стихотворения» (1912), «Зовы земли» ([1913]), «Блеклый венец. 2-я книга стихов» (1914) – все в Одессе, а также: «Тихая свирель: Собрание стихов, 1912-1916» (Пг., 1917), «На зыбких гранях: Собрание стихов, 1912-1916» (Берлин, 1922), «Собрание стихов, 1912-1964» (Брюссель, 1965). Как друг детства упоминается в повести В.П. Катаева «Трава забвения» (1967).

[34] Катаев В. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1, с. 209-210.

[35] Катаев В.П. Уже написан Вертер. Лущик С.З. Реальный комментарий к повести… с. 11.

Стив Левин

Творческая неудача или «почти шедевр»?

Рассказ И.Э. Бабеля «Карл-Янкель»

Рассказ был напечатан в седьмом номере ленинградского журнала «Звезда» за 1931 год. Этот и следующий годы были ознаменованы для Бабеля новым творческим взлетом после долгого «молчания». В апреле 1931-го его «Конармия» выходит уже пятым-шестым изданием (в конце предыдущего года четвертое издание разошлось, как писал Бабель родным 15 декабря 1930 года, «в рекордный и небывалый срок, чуть ли не в семь дней – и требуется новое переиздание»). На суд читателей и критики выносятся «новые рассказы» Бабеля – «Пробуждение» (Молодая гвардия, 1931, № 17-18), «В подвале», «Гапа Гужва» (Новый мир, 1931, № 10). В том же «Новом мире» в следующем году, в № 3, напечатан завершающий «Конармию» рассказ «Аргамак», в журнале «30 дней» за 1932 г. – «Конец богадельни» (№ 1), «Дорога» (№ 3), «Иван-да-Марья» (№ 4) и «Гюи де Мопассан» (№ 6). «Редакции рвут на части – я не поспеваю за их требованиями», – пишет Бабель 7 декабря 1931 г. из Москвы матери и сестре.

В декабре 1931 года в Гослитиздате выходит сборник «Одесские рассказы», куда, кроме четырех рассказов названного цикла и пьесы «Закат», вошли также «Иисусов грех», «История моей голубятни», «Первая любовь», «Конец св. Ипатия», «У батьки нашего Махно» и «Ты проморгал, капитан!».

На фоне этой лавины рассказов, явившей, по мнению критики, «нового Бабеля», «Карл-Янкель» не вызвал в советской прессе сколько-нибудь заметного отклика. За рубежом его заметил и высоко оценил Г.В. Адамович. «В седьмом номере «Звезды» Бабель поместил рассказ «Карл-Янкель», – писал он, – рассказ совсем короткий – «пустячок», на первый взгляд. Этот пустячок,

в сущности, удивительная вещь, почти шедевр, почти – если бы не заключение, будто смазанное, недописанное. Рассказ напоминает лучшие вещи Мопассана по какой-то беспощадной зоркости и умению найти слова, простые, короткие и незаменимые».*

Сам Бабель оценил свое творение иначе. В письме родным 2 января 1932 года он писал: «Удивляюсь тому, что в зарубежной прессе пишут о таких пустяках, как «Карл-Янкель». Рассказ этот неудачен и к тому же чудовищно искажен. Я уже, кажется, писал вам, что его напечатали по невыправленному тексту (черновому) с ошибками, совершенно уничтожающими смысл. Вообще, то, что печатается, есть ничтожная доля сделанного, а основная работа производится теперь. С похвалами рано, посмотрим, что будет дальше».**

Бабель вообще был склонен весьма критически оценивать то, что вышло из-под его пера и стало достоянием читателя (не делал он исключения и для «Конармии»). Требовательный художник, он стремился к совершенству сделанного и подлинному профессионализму.

Кстати, в тексте первой публикации рассказа отнюдь не видны «чудовищные» искажения и «ошибки, совершенно уничтожающие смысл» – есть лишь отдельные опечатки и ошибки, исправленные при дальнейших переизданиях (правда, рукопись этого рассказа, как и многих других бабелевских текстов, не сохранилась).

И все же, как читается рассказ сегодня? Какое место он занимает в творчестве Бабеля, и с какими событиями его времени связан?

О том, какое значение придавал Бабель этому, по его выражению, «пустяку», свидетельствует факт включения «Карла-Янкеля» в сборники писателя, последовавшие за первой его публикацией, – 1932, 1934, 1935 и 1936 годов.

Впечатление о незатейливости содержания рассказа обманчиво – ход событий в нем скрывает глубокий смысл.

---

* Адамович Г. Собрание сочинений. Литературные заметки. Кн. 1. («Последние новости», 1928-1931.) – СПб.: Алетейя, 2002, с. 632-633.

** Бабель Исаак. Собр. соч. В 4 тт. – М: Время, 2006, т. 4, с. 300.

Фабула и сюжет рассказа

Фабула – последовательность событий – рассказа проста. Начинается он с истории одесской семьи Брутманов – кузнеца Иойны, его жены Браны, их трех сыновей и дочери Полины, вышедшей замуж за советского партийного активиста Овсея Белоцерковского. Этот последний возбудил судебное дело против своей тещи, которая, по-видимому, не без ведома дочери, отнесла родившегося у нее сына к «малому оператору» (моэлю) Нафтуле Герчику, и тот в присутствии *миньяна* из десяти стариков сделал ему обрезание. Одесская прокуратура устраивает показательный процесс над моэлем и бабушкой ребенка, который проходит при большом стечении народа на фабрике имени Петровского. Хотя на суде присутствуют защита, обвинение, свидетели и эксперты, выглядит он как фарс. Подсудимым предъявляют абсурдные обвинения, а главной задачей суда является доказать наличие сговора между Браной, Полиной и моэлем Нафтулой с целью совершения «преступного деяния» – то бишь обрезания (*бриса*) новорожденного младенца.

Кстати, по советским законам обрезание не было запрещено (в стране имелось многомиллионное мусульманское население). Моэлей, совершавших эту несложную операцию, отдавали под суд под другим совершенно надуманным предлогом. Так, прокурор в рассказе «гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа» и, «высасывая кровь губами <…> подвергал детей опасности заражения» (об этом моменте речь впереди).

Расчисленный заранее ход показательного процесса прерывает обморок свидетельницы Полины Белоцерковской, которую теснил и запутывал обвинитель, бывший присяжный поверенный Самуил Лининг.

Объявлен перерыв, во время которого младенца Карла-Янкеля, зашедшегося в голодном крике, кормит грудью какая-то женщина, «работница с лицом киргизки», а его клеенку вытирает «девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчащими, как шишки». Карл-Янкель в надежных руках, есть кому о нем позаботиться. Его будущее обеспечит вся советская страна. И поэтому не может быть, чтобы он не был счастлив – счастливее того, кто ведет о нем рассказ.

В сущности, ход событий в рассказе не завершен – мы не знаем, чем кончился этот процесс, хотя и догадываемся, что осуждением обвиняемых по надуманным статьям.

Декларативная и декоративная (на фоне окружающих ребенка в красном уголке фабрики портрета Ленина, диаграмм выработки, знамен и ружей) концовка рассказа отнюдь не убеждает в том, что судьба малыша будет такой ясной и безоблачной, если учесть, что этому родившемуся в начале 1920-х годов еврею предстоит уже в зрелом возрасте пройти через полосу сталинских репрессий, войну и Холокост.

Но этот, казалось бы, вполне советский по внешней канве событий рассказ-«пустяк» содержит такие глубокие и важные смыслы, которые обнаруживаются только при внимательном чтении и сопоставлении с общей атмосферой жизни в СССР 1920-1930-х годов, – что позволяет ставить его в один ряд с такими шедеврами Бабеля, как «Нефть», «Гапа Гужва» и «Колывушка». Постараемся это доказать, обратившись к *сюжету* рассказа и его фактической основе.

В отличие от фабулы с ее последовательным изложением событий, сюжет обнаруживает их сцепление, взаимную обусловленность и причинно-следственную связь. Здесь важны каждая деталь, каждый нюанс в описании. Именно сюжетное движение раскрывает позицию автора произведения.

Начало и направление этого движения задано уже заглавием рассказа. Им обозначены два противостоящих друг другу мира, две несовместимые идеологемы. Карлом назвал младенца его отец, «кандидат партии» Овсей Белоцерковский, конечно, в честь Карла Маркса. Янкелем (Яковом) – при обрезании – в честь одного из праотцев еврейского народа.

Эта антитеза – «старозаветного» еврейского и «новозаветного» коммунистического – проходит через все творчество Бабеля. В «Конармии» «сын рабби» Илья Брацлавский пытался соединить эти два начала. В его походном сундучке «все было свалено вместе – мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских

стихов». Но совместить «страницы «Песни песней» и револьверные патроны» так же невозможно, как смешать масло с водой…

В рассказе «Иван-да-Марья» комиссара Ларсона, который «ремизит», порочит Волгу, Калугу и разгульную душу русского человека, зовут Карл. «Ты не смеешь мучить Россию, Карл», – говорит ему «отчаянный человек» капитан парохода Коростелев.

Оппозиция «Карл-Янкель» обозначила две переплетающиеся, но несходные линии сюжета, основанного, по-видимому, на реальных событиях.

«…собирались судить еврейскую религию»

Описанный в рассказе показательный судебный процесс над участниками обрезания еврейского ребенка – явление, характерное в особенности для первого десятилетия советской власти. С самого установления господства в бывшей Российской империи большевики начали борьбу с иудаизмом, причем велась она в основном силами большевиков еврейского происхождения, так называемых «евсековцев».

28 декабря 1920 года появился циркуляр еврейского отдела Народного комиссариата просвещения о ликвидации хедеров и ешив. Была развернута атеистическая пропаганда. По мнению белорусского (а ныне израильского) историка и публициста Якова Басина, начало этой кампании по закрытию еврейских религиозных учебных заведений и дискредитации иудаизма было положено в Белоруссии.

«Начиная с 1921 г. во многих городах [Белоруссии] были организованы показательные судебные процессы над иудаизмом и религиозным обучением. Первая публичная акция такого рода прошла в Витебске в январе 1920 г. Власти тщательно готовились к этому «суду»: нашли нужное помещение (театр «Рекорд»), подобрали соответствующий состав судей, экспертов, свидетелей. Газетные публикации обеспечили необходимую обстановку в зале. <…> «Обвинение» поддерживали деятель местной евсекции и представитель Комбунда. Едва ли не основным тезисом так называемого «обвинительного заключения» было то, что ни у одного другого народа нет подобной системы образования. Абсурдность такого обоснования была очевидной, но власти это не смущало. <…>

«Суд» в Витебске получил настолько широкий резонанс во всей стране, что Центральное бюро евсекций даже одобрило витебскую инициативу и рекомендовало своим местным отделениям перенять опыт. Власти усиливали давление, и во многих городах прошли аналогичные «суды». В Могилеве, к примеру, суд длился семь дней. Он открылся 19 февраля в помещении городского театра, который не смог вместить всех желающих. Привели большое число «обвинителей», «защитников», «экспертов», «свидетелей», хотя приговор был ясен еще до начала «суда»: хедер как общественное явление должен быть ликвидирован».*

«Политсудами» и судами-спектаклями дело, однако, не ограничилось. Состоялись суды над «служителями культа» – раввинами, меламедами, шойхетами (резниками). В числе их оказались и моэли – операторы при обрезании. «В 1931 г. в Минске состоялся процесс над моэлем Руденским, которого осудили на три года, – отмечает Я. Басин, – <…> Суды над служителями еврейского культа продолжались почти до конца 30-х гг. Последний прошел в 1938 г. Осужденный моэль получил пятилетний срок».**

Пик преследований религии в Советском Союзе пришелся на 1929-й – «год великого перелома». 24 января этого года появилась секретная директива ЦК ВКП(б), в которой все религиозные организации объявлялись «единственно легально действующими контрреволюционными <…> имеющими серьезное влияние на население».

В 1931 году были закрыты едва ли не последние синагоги во всех крупных городах. А в 1932-м в стране была объявлена антирелигиозная пятилетка. Предполагалось, что к 1 мая 1937 года в стране не останется ни одного действующего религиозного учреждения.***

И именно в 1931 году появляется в печати рассказ Бабеля «Карл-Янкель».

Можно предположить, что в основе сюжета рассказа лежат подлинные события, происходившие в Одессе в начале 1920-х годов. В частности, одесский журналист Феликс Зинько обращает

* Басин Я. Музы и тьма: Исторические очерки. В 2 т. Т. II («Почем «опиум» для еврейского народа»). – Иерусалим: Достояние, 2015, с. 42, 44.

** Там же, с. 49, 50.

*** Там же, с. 65

внимание на открытый судебный процесс, происходивший в Одессе 24 июня 1924 года в клубе трамвайщиков им. Матьяша, который помещался на Старопортофранковской, 34.

«Суд в составе председателя Шевченко, народных заседателей Дозоренко и Кувшинова и секретаря Гоцуляка собрался, дабы рассмотреть дело № 758 ответчика Балаца Моисея Израилева, а также обвиняемой Гершкович Симы Абрамовны, домохозяйки, по обвинению в том, что в марте месяце 1924 года они самоуправно совершили обряд обрезания над ребенком своих родственников». После публичного разбирательства суд вынес вердикт: «Обвиняемых Балаца и Гершкович признать виновными и подвергнуть принудительным работам на шесть месяцев, но, принимая во внимание их малолетство (? – **С. Л.**), наказание сократить на ⅓». Далее высокий суд записал: «Ввиду того, что обвиняемые не судились ранее, учитывая их недоразвитость, осознание своего поступка, суд нашел возможным применить к ним ст. 28 УК УССР и наказание снизить, заменив принудительные работы курсами политграмоты с прикреплением их к клубу Депо – Трамвай и, кроме того, к курсам ликбеза». <…> Приговор «с удовлетворением встречен присутствующими в зале трудящимися», – как писали местные газеты.*

Разыскав в архиве среди бумаг Одесского губкома это дело, Зинько обнаружил, что заявителем в нем был известный в те годы революционер и советский деятель Николай Иванович Матьяш, в анкетах называвший себя украинцем. Истинное имя его было Иона Срулевич. Имеется его заявление о том, что «родственники без его ведома совершили обрезание над… его сыном».

Матьяш «сам тянулся к перу и выпустил в Одессе несколько книжонок». Зинько уверен, что именно он послужил Бабелю прототипом для прокурора Орлова (урожденного Зусмана), так метко и остро высмеянного в рассказе моэлем Нафтулой. «Конечно, – пишет Зинько, – Бабель преотлично все знал о Матьяше и его истинной национальности <…> Но, возможно, писательская корпоративность не позволила ему поставить все точки над i».**

Последнее вызывает недоумение: если сравнивать Матьяша с кем-то из героев рассказа, то скорее не с прокурором, а с заяви-

* Зинько Ф. Мудрый ребе. – Одесса: Печатный дом, 2008, с. 41-42.

** Там же.

телем – Овсеем Белоцерковским. И о какой «писательской корпоративности» Бабеля с писателем-дилетантом может идти речь?

Вероятно, не стоит отождествлять сюжет рассказа Бабеля с каким-то одним судебным процессом, так же, как и его персонажей с указанными конкретными людьми. Отталкиваясь от действительности, «забывая» ее, писатель, как всегда, воссоздавал ее преображенной в «ослепительном свете» вымысла. И тогда в его героях проступали прототипические черты известных исторических лиц (начдив-6 Савицкий в «Конармии» и прославленный конармейский начдив, а в будущем нарком обороны маршал С.К. Тимошенко).

М. Вайскопф отметил это в герое бабелевского рассказа:

«Примечательна в «Карле-Янкеле» (1931) биография одного из сыновей кузнеца Йоны – Семена Брутмана. В гражданскую войну он поступил «к Примакову – в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка, и потом, когда дивизию развернули в корпус, он стал комдивом (первая публикация, 1931 г.). Несомненно, прототипом для Брутмана послужил близкий друг Бабеля – и многих других писателей – *Гутман*, сначала командовавший полком, а затем 2-й червонной дивизией. Правда, свою фамилию Давид Гутман еще до революции сменил на *Шмидт* (в память о прославленном лейтенанте). Но «шмидт» – и по-немецки, и на идиш – это кузнец; и Бабель, соответственно, делает Брутмана сыном кузнеца.

Последующая драма червонного казака проливает некоторый свет на политические зигзаги писателя. В годы внутрипартийной борьбы Шмидт энергично поддержал Троцкого – и, естественно, попал в опалу, подытоженную его гибелью (расстрелян он был в 1937-м в звании комбрига). Бабель, который посвятил «Мите Шмидту, начдиву второй червонной» «Жизнеописание Павличенки», уже в 1926-м, в книге «Конармия», предусмотрительно снял это посвящение, а в изданиях «Карла-Янкеля», выходивших после 1931 г., разжаловал своего начдива в командиры полка».***

Можно указать на одного реального человека, которого Бабель сделал персонажем рассказа. Во время скандала в зале суда,

*** Вайскопф М. Советское Рождество: иудаизм и христианство в поэтике Исаака Бабеля // Исаак Бабель в историческом и литературном контексте: XXI век. Сборник материалов Международной научной конференции в Государственном литературном музее 23-26 июня 2014 г. – М: Книжники, 2016, с. 180-181.

вызванного репликой моэля Нафтулы в адрес прокурора Орлова (Зусмана) о том, что, делая ему «брис» тридцать лет тому назад, он (моэль) «не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам (Орлову) потом пригодилось…», «Саша Светлов, фельетонист «Одесских известий» посылает прокурору записку: «Ты баран, Сема, – значилось в записке, – убей его иронией; убивает исключительно смешное… Твой Саша».

Фельетониста Александра Светлова К. Паустовский вывел в рассказе «Репортер Крыс» (Одесса, 1922). В финале рассказа о самоотверженном пожарном репортере «Станка», доказавшем свое право быть газетчиком, «знаменитый парень» репортер Светлов натянул Крысу кепку до самого рта и крикнул: – Работай, Крыс, шмаровоз! Из тебя будет толк!».*

Значит, уже в начале 1920-х годов Светлов был знаменит в Одессе. А то, что он понимал силу смешного и был мастером острой иронии, доказывает один из его фельетонов, опубликованный в одесском журнале «Шквал» (1926, № 33 (65), с. 2). Озаглавлен он «Знаменитый Мойша Окс». Так называет себя старый одесский вор, настоящее имя которого Моисей Ефимович Зильберман. «Профессор» своего дела, державший в былые времена в Одессе на Молдаванке воровскую «академию», где «учились «великому мастерству» воровать», он дает интервью Светлову в здании Одесского окружного суда перед отправкой на Соловки.

Светлов мастерски воспроизводит характер этого обломка старой Одессы, используя, как и Бабель, воровской жаргон и идишизмы. Вот замечательный диалог героя и репортера:

«– Какие ваши самые знаменитые дела?

– У мене все знаменитые… Я сам – «Знаменитый».

– А все-таки?

– Все-таки… Это будет дело за артистку Клару Юнг и за генерала Козловского.

– Что вы взяли?

– За Кларочку я взял полтора года, а за генерала, слава богу, – «роты».

О-о! Я все знаю!.. Я знаю Одессу – лучше, как ее знает адрестный (так?) стол… И она мине знает, как родная мама».

* Паустовский К. Собр. соч. в 7 т. – [М.]: Терра – Книжный клуб, 2002, т. 7, с. 15.

Бабель хорошо знал историю старого одесского вора, о чем поведал замечательный покойный одесский краевед Ростислав Александров (Александр Розенбойм). Он слышал от престарелого бывшего следователя Одесского уголовного розыска Сергея Ильича Гескина рассказ о том, как тот допрашивал там в 1920-е годы знаменитого Мойшу Окса:

«А я уже не работаю, – развязно начал было он и пожал плечами, – какой работа для Мойша Окс, если теперь не клиент, а один сплошной голодранец». Но потом, уловив опасность в молчании следователя С.И. Гескина, Окс спохватился: «Могу что-то поговорить, только заберите этот очкарик». В углу сидел Бабель, и под его беспощадно-любопытным взглядом старому вору было очень неуютно…».**

Подводное течение

Как уже говорилось, развитие сюжета рассказа определяет оппозиция «старозаветного» и «новозаветного» (иудейского и новосоветского) начал, воплощенных в оксюморонном имени Карла-Янкеля. Как и в «Конармии», Бабель наделяет повествователя в рассказе чертами своей биографии и эмоциональным обликом, но не сливается с ним, оставляя за собой право окончательной оценки. Эта оценка просвечивает в поворотах сюжета, в ракурсах освещения героев и особенно в деталях их описания и контрастном сопоставлении.

Главная тема рассказа задана в самом начале повествования о судьбе семьи кузнеца Иойны Брутмана – это тема семейной, родовой еврейской наследственности (своего рода «мысль семейная», пользуясь выражением Толстого).

Иойна, «пугливый маленький человек», но «приученный к вину, в нем жила душа одесского еврея», – «родил» трех могучих по облику сыновей. «Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями

** Александров Р. Исхоженные детством. Изд. 2-е, испр. и доп. – Одесса: Optimum, 2009, с. 190, 191.

лопатой – они сносили сухонького Иойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Тут не было сомнений».*

Тем не менее «ростом и силой сыновья походили на мать». И только младшая Поля, которая была «пуглива, близорука, с нежной кожей», «одна во всей семье <…> пошла в маленького Иойну».

Бабель задумывается над загадкой еврейской наследственности. Еврейские мудрецы разъясняют (Нида, 31а), что ребенок получает белое вещество от отца (отсюда произойдут кости, жилы, ногти, головной мозг, белки глаз), а красное – от матери (кожа, мышцы, волосы, радужка глаза). Есть еще третий участник появления человека на свет: «А Всевышний дает ему душу, черты лица и способность глаза видеть, а уха – слышать, и речь, и способность ног ходить, и разумение, и постижение».

В рассказе именно от матери сыновья получают стать и мышечную силу, а вот кожей и нравом дочь похожа на отца. И именно ей и ее сыну суждено продолжить род Брутманов.

Революция и война вторгаются в судьбу этой семьи и прерывают извечный процесс наследования по линии сыновей. Двое из сыновей Иойны ушли в партизаны. Старшего убили, другой, Семен, в Гражданскую командовал крупным подразделением в корпусе червонного казачества Примакова и положил начало «породе еврейских рубак, наездников и партизанов». Его дети кочуют с дивизией, в которой он служит, но к еврейству никакого отношения уже не имеют. Доказательством этому слова Поли на суде о ее матери: «…она всегда страдала оттого, что дети ее неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями».

Третий сын, ставший кузнецом по наследству и работающий на плужном заводе, «не женился и никого не родил». В еврейской традиции, идущей от Талмуда, бездетный подобен мертвому, как нищий, слепой и прокаженный…

Не будь Поли, род Брутманов прервался бы. Но именно она дала роду наследника, еврейство которого удостоверено его вхождением в союз с Всевышним, то есть обрезанием.

И тут Бабель создает вставную новеллу в новелле – настоящий гимн бриту (ашкеназское *брис*) и тому, кто его совершает. Это об-

* Рассказ «Карл-Янкель», кроме оговоренных случаев, цит. по: Бабель И. Рассказы. – СПб.: Вита Нова, 2014, с. 422-429.

щий праздник, и Нафтула – главный его участник. Он – такое же олицетворение Одессы, как памятник дюку де Ришелье. Свое дело, способствующее продолжению рода, он вершит по извечно заведенному порядку, но с огромным энтузиазмом. Рассказчик говорит, что помнит его с детства: «Я помню, как он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты». Сам Бабель по возрасту не мог его видеть, так как в доме № 21 по Дальницкой улице, где он родился 30 июня 1894 года по старому стилю (12 июля – по новому), пробыл недолго и не позднее ноября 1895 года с семьей переехал в Николаев.**

Созданная в рассказе карнавальная картина праздника в честь обрезания младенца – это важнейшая часть сотворенного Бабелем одесского мифа. Нафтула уподоблен библейскому Адаму: «Он был рыж, Нафтула, как первый человек на земле». Я.Л. Либерман видит здесь «намек на Исава (в еврейском произношении – Эсав. – **С. Л.**) – рыжего косматого охотника, «добытчика зверей», прозванного Эдомом – красный (Быт. 25:25), хотя не исключено, что имеется в виду и Адам. Имя Адам происходит от ивритского *адама* – земля, глина. В одном из мидрашей говорится, что глина, из которой был вылеплен Адам, была красного цвета (здесь, видимо, сыграла роль параллель Адам – Эдом), и Адам тоже был рыжим. Адам и Исав не похожи друг на друга, но от этого образ Нафтулы только выигрывает».***

Здесь есть, на наш взгляд, неточности. Во-первых, Эсав никак не был «первым человеком на земле». Во-вторых, известные нам мидраши ничего не говорят о цвете волос первого человека на земле. Говорится лишь о том, что для того, чтобы изготовить (вылепить) тело Адама, Ашем собрал земли со всех частей света – для головы, в частности, – из Эрец-Исраэль (Земли Израиля). Положил собранную землю на горе *Мориа*, где впоследствии будет находиться жертвенник Храма, смешал ее с водой, взятой со всех океанов мира, и из получившейся глины вылепил фигуру человека.****

** См.: Погорельская Е. Хроника жизни и творчества И.Э. Бабеля // Бабель И. Указ. изд., с. 599, 600.
*** Либерман Я.Л. Исаак Бабель глазами еврея. – Екатеринбург, 1996, с. 30.
**** Рабби Моше Вайсман. Мидраш рассказывает. Берешит. Кн. 1. – Иерусалим: Швут Ами, [1990], с. 53.

Здесь нет конкретного указания на цвет земли Израиля (а она, как известно, может быть разных цветов – белого, желтого, серого и красноватого). Но для Бабеля важно было подчеркнуть «первородство» помогающего продолжению еврейского рода «красного Нафтулы» (так именовался он в первопечатном тексте).

Сам процесс обрезания рисуется в рассказе как торжество плоти с последующим вакхическим празднеством:

«Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем (в первой публикации: «бешеным весельем». – **С. Л.***). Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую, кривую, огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей: он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

– Толстые мамы, – орал старик, сверкая коралловыми глазами, – печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтулы (в первой публикации «для красного Нафтулы». – **С. Л.**)… Печатайте мальчиков, толстые мамы…

Мужья бросали (в первой публикации «швыряли». – **С. Л.**) деньги в его тарелку. Жены вытирали кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик податей. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его нескончаемом обходе».

Естественный и заданный от сотворения мира и человека процесс («пру урву» – плодитесь и размножайтесь), которому способствовал «рыжий» Нафтула, пытается остановить представитель власти прокурор Орлов.

«Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа (в первой публикации «служителем жреца». – **С. Л.**).

– Верите ли вы в Бога? – спросил он Нафтулу.

* Здесь и далее разночтения цитируются по первой публикации: Звезда. 1931. № 7, с. 55-60.

– Пусть в Бога верит тот, кто выиграл двести тысяч, – ответил старик».

Сказанное Нафтулой может удивить: разве то, что он совершает, не предписано Б-гом? Но в еврейской традиции принято не *верить* в Б-га, а *знать*, что Он существует, и представлять себе Его силу и величие. Нафтула высмеивает здесь ходячие плоские представления о вере и неверии…

Прокурор пытается представить моэля неким жрецом культа, поймать его на идеологическом несоответствии революционной современности, давит на его психику. Нафтула, казалось бы, поддается – он съежился и опустился. «Голова Нафтулы – кудловатый орешек его головы – болтался где-то у самого пола».

И здесь был комментарий от автора, который в дальнейших публикациях отсутствует: «Гений расы говорил в старике – он ссохся на суде, съежился, уменьшился неправдоподобно». Но в следующий же момент тот же «гений расы» заставляет старика распрямиться и парировать вопросы-ловушки прокурора, как уже в приведенном примере о вере в Б-га, в шутливо-ерническом манере.

«– Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, ночью, в дождь, с новорожденным на руках?

– Я удивляюсь, – сказал Нафтула, – когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки – я не удивляюсь…»

Ответы эти не удовлетворили прокурора (в первой публикации после этого предложения: «Он теснил Нафтулу все ожесточеннее». – **С. Л.**).

Новый заход прокурора – попытка доказать, что своими действиями моэль приносит вред ребенку. «Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подвергал детей (в первой публикации «десятки тысяч детей». – **С. Л.**) опасности заражения».

Этот довод против обрезания выдвигали в прошлом многие антисемиты, в частности, автор «Книги Кагала» Яков Брафман. Краткая еврейская энциклопедия сообщает: «До сер<едины> 19 в. кровь отсасывали ртом, затем во мн<огих> общинах с одобрения раввинских судов *мецица* [отсасывание] стала

производиться при помощи тампона или через трубочку, содержащую абсорбирующий тампон».*

Однако и в наше время моэли, придерживающиеся ортодоксальной традиции, продолжают отсасывать кровь младенца собственными губами, в чем автору настоящей статьи довелось убедиться, присутствуя в качестве *сандака* (то есть держа младенца на своих коленях) во время обрезания новорожденного внука в сентябре 2015 года в Московской хоральной синагоге.

В рассказе эти надуманные доводы против главного дела своей жизни Нафтула парирует убийственной еврейской иронией, которая взрывает зал.

«Голова Нафтулы болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулаком провалившийся рот.

– Что вы бормочете, гражданин Герчик? – спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

– У покойного мосье Зусмана, – сказал он вздыхая, – у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую… И, слава Богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет назад позвал меня на ваш брис. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось…»

Зал реагировал на эти слова «орудиями смеха, громовыми залпами хохота». Заданный ход судебного процесса нарушен, прокурор Орлов (урожденный Зусман) морально уничтожен. Но фарс продолжается, и по ходу его возникают фигуры не только комические, вроде свидетеля Овсея Белоцерковского, докладывающего суду в стиле военного донесения («Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах») о своей работе по заготовке жмыхов и «несчастье» – обрезании новорожденного сына. Мать ребенка Полина Белоцерковская, которую вводят в зал суда в качестве свидетельницы, не может не вызвать сочувствие у присутствующих. Положение, в котором она оказалась, мучительно для нее: то, что для ее матери было долгожданным – рождение внука-еврея, для Поли стало причиной физических и нравственных

* КЕЭ. Т. 6. – Иерусалим, 1992, Стб. 42.

мучений. Она поставлена перед выбором: признать обрезание, сделанное ее сыну, «преступлением», совершенном якобы без ее ведома, и тем самым стать на сторону мужа и сохранить семью, или остаться верной семейной и родовой традиции, видящей в обрезании знак приобщения к Всевышнему и его народу.

Ее психическое состояние передано через внешние физические проявления, по контрасту с поведением ее отца и матери:

«Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Она, шатаясь, подошла к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства (но ее сыну, как сказано далее, исполнилось пять месяцев! – **С. Л.**) кривила ее лицо, на нежном лбу стояли капли пота. Она обвела взглядом маленького кузнеца, вырядившегося точно в праздник – в бант и новые штиблеты, – и медное, в седых усах, лицо матери».

Рассказывая о том, что ей известно по данному делу, Полина пытается вывести из-под удара своих родителей, объясняя их поведение бедностью и приверженностью традициям еврейской семьи:

«– Мать очень набожна <…> она всегда страдала оттого, что дети ее неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями. Надо принять во внимание – в какой семье мать выросла…»

Но тут ее, как ранее Нафтулу прокурор, останавливает адвокат-талмудист Самуил Лининг. По его настоянию сейчас должен наступить «момент истины», то есть выяснена степень причастности Полины к совершению *бриса.*

В ироническом освещении Бабеля мать Карла-Янкеля предстает как бы перед высшим судом – судом советского «синедриона»:

«Если бы синедрион существовал в наши дни, – Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившийся русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда…»

Напряжение, которое испытывает Полина на суде, достигает своей кульминации: «Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу. Кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу».

Это явление, известное в медицине как *гемидроз*[*], а в исторической литературе как «библейский» кровавый пот (упоминается в Евангелии от Луки в описании моления Иисуса в Гефсиманском саду), запечатлено у Н.С. Лескова в рассказе «Владычный суд» (1877). Рассказчик единственный раз в своей жизни видел этот кровавый пот на жалком и истерзанном страданиями еврее-«интролигаторе» (переплетчике), пытавшемся спасти от рекрутчины своего единственного малолетнего сына. На всю жизнь запомнит он «это росистое клюквенное пятно на предсердии <…> и мне кажется, – продолжает он, – будто я видел сквозь него отверстое человеческое сердце, страдающее самою тяжкою мукою – мукою отца, стремящегося спасти своего ребенка <…> Передо мною, казалось, стоял не просто человек, а какой-то кровавый исторический символ».[**]

Речь не идет о прямом заимствовании: в одном из писем на предложение обратиться к произведениям Лескова Бабель уклончиво ответил: «Лескова мне читать поздно или рано – не знаю еще».[***] Вероятно, у обоих писателей был общий источник, и в художественной структуре «Карла-Янкеля» этот образ человеческого страдания оказался необходим.

Бывший присяжный поверенный Лининг ведет допрос Полины, задавая ей каверзные вопросы, стремясь сбить с толку и признаться, что брит был сделан с ее ведома. Но ответы женщины отнюдь не укладываются в заданную им схему. Он требует от нее сказать, каким из двух имен ребенка, данных ему при рождении ее мужем и матерью, она его называет. Но оказывается, что называет его она «дусенькой», а на вопрос почему отвечает: «Я всех детей называю дусеньками…».

Нет, не хочет Поля Белоцерковская становиться на чью-либо из спорящих сторон – для нее важно не имя, а то, что за ним стоит, – живое и дорогое для нее существо.

Лининг, казалось бы, загнал ее в ловушку, воспользовавшись ее смятенными чувствами и уличив в том, что во время обре-

---

* Кровавый пот возникает на неповрежденных участках кожи при максимальном нервном напряжении.

** Лесков Н.С. Собр. соч. В 11 т. – М: ГИХЛ, 1958, т. 6, с. 112.

*** Бабель И. Письма другу: Из архива И.Л. Лившица. – М: Три квадрата, 2007, с. 80.

зания ее не могли «пользовать» в лечебнице у доктора Дризо (на этот счет у него есть заранее заготовленная справка о том, что «в период времени, о котором идет речь, доктор Дризо отсутствовал»). Поля вынуждена выкручиваться, сказав, что бюллетень из страхкассы она потеряла.

Ни тени сочувствия не вызывает она ни у старого адвоката, ни даже у собственного мужа. «Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах… Солнце падало на его лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей».

И всю эту фантасмагорию вдруг прерывает детский плач: «За дверью плакал и кряхтел ребенок». Простой житейский посыл вторгается в душную атмосферу суда.

«– О чем ты думаешь, Поля? – густым голосом сказала старуха. – Ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял от крика…

Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

– Перерыв! – закричал председатель».

Здесь – кульминация рассказа. Становится ясно, что продолжение судебного процесса бессмысленно, но после перерыва он возобновляется, перейдя полностью в плоскость борьбы с религией. Идет «бой» между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. «Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру». В первом ряду сидят галицийские цадики, приехавшие на процесс, прослышав, что здесь собираются «судить еврейскую религию». Пробравшийся к самой сцене комсомолец кричит: «Долой (в первой публикации «Долой их». – **С. Л.**)». «Бой разгорался жарче», – повторяет автор. И только Карл-Янкель был занят главным делом своей жизни: «бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки».

Мнения зала разделились. Для одних важно: «Ребенка покормить!». Для других: «Припутана дочка <…> дочка в доле…». Третьи пытаются примирить спорящих: «Семья, брат <…> ночное дело, темное… Ночью запутают, днем не распутаешь…».

Для рассказчика и автора важнее всего судьба ребенка с таким странным именем. Именно этот «пухлый человек пяти месяцев

отроду, в вязаных носках и с белым хохлом на голове», энергично сосущий грудь незнакомой женщины, олицетворяет будущее.

Бабель был твердо убежден – и об этом писал в одном из своих новожизненских очерков 1918 года «Дворец материнства»:

«Вскинуть на плечо винтовку и стрелять в друг дружку – это, может быть, иногда бывает неглупо. Но это еще не вся революция. Кто знает – может быть, это вовсе не революция.

Надобно хорошо рожать детей. И это – я знаю твердо – настоящая революция <…>

Дети должны жить. Рожать их нужно для лучшего устроения человеческой жизни».

Этому убеждению он остался верен и в рассказе «Карл-Янкель». В этом смысл заключительных слов:

«– Не может быть, – шептал я сам себе, – чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливей меня…»

Встав над идеологическими спорами и разрушительными тенденциями своего времени, Бабель провозгласил в качестве единственного критерия истинности исторического прогресса безусловную ценность человеческой жизни, находящую свое воплощение в материнстве и младенчестве. И в этом своем содержании рассказ «Карл-Янкель» воспринимается как человеческий и художественный документ, как своего рода завещание Бабеля.

Иерусалим

Юрий Садомский

Дуновения

…Весеннею локацией засечено не зря:
Когда цветет акация, приходит скумбрия…

Это строки любимого мною поэта Григория Поженяна… Григорий Михайлович тонко чувствовал Одессу, и хоть никогда одесситом не числился, Одесса была впечатана в его душу и память, как флотская татуировка: навсегда и несмываемо. Свидетельство тому боевая юность краснофлотца Поженяна: кто видел фильм «Жажда», снятый по его сценарию на Одесской киностудии, тот понимает, о чем я…

Словосочетание «цветет акация» вызывает, в чем я убежден, эфемерный образ Одессы. Именно эфемерный, и никак иначе. Попытки зримо отразить Одессу заканчиваются весьма ограниченным набором открыточных видов: оперный театр, Дюк, Потемкинская лестница, еще два-три изображения… и всё!.. А где же то, что вызывает прилив необъяснимого и щемящего волнения при произнесении слова *Одесса*?.. Где оно?.. Оно растворено в дымке ощущений, оно эфемерно, как запах акации в период ее цветения. Понятие «красавица Одесса» будет совершеннейшим лукавством, если не иметь в виду исторический центр города. Только в порядке насмешки можно говорить о «красотах» Молдаванки, Пересыпи или еще о каких-либо районах города-легенды. Потому что легенда сия, опять-таки, эфемерна, как запах все той же акации. Так уже случилось, что белая акация стала символом Одессы, хоть это достаточно неказистое деревце с блеклыми невзрачными соцветиями, но аромат цветущей акации воистину упоителен… На акацию не обязательно

смотреть, она не красавица вроде розы или хризантемы, но ее запах пьяняще чувственен, как мечтания юности… К чему я подкрадываюсь?.. Да к тому, что запахи в нашей памяти играют порой определяющую роль.

…Уже немало лет тому ехал я в общественном транспорте, и перед самым выходом на остановке меня вдруг коснулся этот запах. В нем не было ничего примечательного, это был, скорее всего, запах недорогих цветочных духов, но он почему-то смутил мое сознание, он был связан с чем-то значительным для меня… но с чем?..

В течение всего дня меня мучил вопрос: что это было? С чем связанно мое беспокойство, с какими обстоятельствами или событием? Притом, что по ощущениям этот мимолетный аромат был сопряжен с чем-то волнующе приятным… Но с чем?

Замершее на краткий срок время потекло дальше, повседневность в своих заботах, страстях и прегрешениях привычно занимала сознание, но периодически нет-нет да и всплывал в сознании тот миг, тот мимолетный, будоражащий память и смущающий душу запах чего-то желанного… но чего?!

И вот, как это нередко бывает… ночью я проснулся, как от толчка… потому что вспомнил… Боже!.. Я вспомнил!..

…Раннее послевоенное детство… детский садик в Кирпичном переулке… и ее… Она была нашей воспитательницей, я даже вспомнил ее имя – Любовь Михайловна. Имя второй воспитательницы вспомнить не могу, помню улыбчивую старушку, ласковую и заботливую. Но Любовь Михайловна… это Любовь Михайловна. Она была моложе моей мамы, я это понял, оттого что мама называла ее просто Любочка. Я боготворил Любовь Михайловну, ради нее я был готов на все, даже согласился бы проглотить вторую ложку омерзительного рыбьего жира, которым нас потчевали каждое детсадовское утро с кусочком соленого огурца вдогонку. Я торопился по утрам в детский сад, предвкушая встречу с Любовью Михайловной, даже когда у меня перед глазами вращались красные круги, а на лбу лежала влажная салфетка, сбивая жар высокой температуры, я проваливался в липкий сон, потом выныривал из него, мне мерещилось лицо Любови Михайловны, и я умиротворенно засыпал опять…

Вот мы, детсадовские дети военного разлива

…Она меня гладила по стриженной наголо головке. Она и других гладила, но меня с особенной нежностью, я был в этом убежден. У нас с ней была тайна… тайна нашей взаимной нежности. О ней, кроме нас двоих, никто не знал, и мы никого в эту тайну не посвящали.

Совсем рядом с садиком, в конце Кирпичного переулка, который заканчивался обрывами, поросшими бурьяном и кустами дикой маслины, за обрывами открывалось море… Склоны обрывов были испещрены множеством тропинок, по этим тропинкам нас водили на прогулки. Мы шли гуськом под пристальным вниманием воспитательниц, потому что по бокам тропинок в зарослях бурьяна еще оставались неразорвавшиеся мины и снаряды. Даже два подбитых танка стояли один против другого на обрывах (много лет спустя они все еще там стояли)… Когда в бурьянах виднелось что-то подозрительное, Любовь Михайловна сгребала

нас в кучу и прижимала к себе. Меня, конечно, она прижимала сильнее других, и я чувствовал, вдыхал ее запах, запах цветочных духов, запах Любови Михайловны… Потом она осторожно по очереди, за ручку каждого, проводила нас мимо опасного места.

Но как-то я пришел в садик, а Любови Михайловны не было… Она не появилась и после обеда, и после мертвого часа. Я затосковал… я не находил себе места… В конце концов я подошел к другой воспитательнице и осторожно спросил:

– А, когда придет Любовь Михайловна?

– Заболела, похоже, наша Любовь Михайловна, – она погладила меня по голове. – Придет, куда ей от нас спрятаться, поболеет чуток – и придет…

Я облегченно вздохнул и принялся ждать. Прошел день, другой… третий… Она не приходила. Я был в отчаянии… Я почти не ел, не играл с детьми. Все время выглядывал в окно и за калитку садика в надежде увидеть ее, но… не было Любови Михайловны. Мое тоскливое состояние, конечно, было заметно. Вторая воспитательница не могла его не видеть.

– Деточка, – сказала она, – ты очень скучаешь за Любовью Михайловной? Почему ты ее так сильно любишь?

И тут девочка, много старше меня, то есть на целый год, ехидно сказала:

– Потому что она красивая.

Я задохнулся от возмущения и обиды. Мне стало не хватать воздуха, захлебываясь от рыданий, я выкрикнул:

– Никакая она не красивая!.. Она… она… Любовь Михайловна…

Старушка воспитательница обняла меня, успокаивала, гладя по вздрагивающей спине.

– Успокойся, мой хороший. Конечно, ты прав. Все будет хорошо, вот увидишь, все будет чудесно, и ты еще повидаешь свою Любовь Михайловну.

…Но Любовь Михайловна больше не пришла. Через несколько дней в садике появилась новая воспитательница. Она была веселая и ласковая… но это была не Любовь Михайловна.

Шло время. Образ Любови Михайловны постепенно затуманивался чередой новых друзей, знакомых, всевозможных событий. И вот… спустя десятилетия вдруг выплыл из небытия чуть ощу-

тимый аромат далекого детского счастья, он пробудил память, а она вернула мне Любовь Михайловну.

* * *

Не сочтите за назойливость, но я вновь вспомню строчку Григория Поженяна:

Когда цветет акация, приходит скумбрия…

Грустная в целом для меня строчка. Она напоминает мне, что живу я так давно, что помню скумбрию, да не простую скумбрию, а скумбрию черноморскую. «Шаланды, полные кефали…» – это так… фигура речи, игра воображения, а вот шаланды, из которых рыбаки на причалах нашей одесской Отрады выносили ведра трепещущей скумбрии, я видел собственными глазами. Это были 50-е – начало 60-х годов. Потом всё!.. Финита!.. Скумбрия из прибрежных вод Одесского залива исчезла. Поговаривали, что ушла она к туркам. Не знаю, в те годы в соседнюю Турцию вход нам был заказан, как, впрочем, и в другие заграницы. Но не в заграницах счастье, а вот завтрак, состоящий из сваренной молодой картошечки, посыпанной укропом, салата из огурчиков и помидорчиков, зеленого лучка, молодого чесночка и положенной поверх картошечки качалки жареной скумбрии – вот это было счастье, а если это священнодействие завершить чаем с раздавленными в чашке вишнями, и к нему бутерброд с маслом и брынзой, то это уже – восторг…

Скумбрию, как и другую морскую рыбу, приносили на продажу прямо нам во двор, те же рыбаки с причалов Отрады, благо дом наш находился совсем недалеко, на Пролетарском (ныне Французском) бульваре, 12, именовался он Дом специалистов, недалеко, по тому же Пролетарскому бульвару, находились Дом железнодорожников и Дом консервщиков. Построен наш дом был, как я потом выяснил, в 29-м году, и все подобные дома получили впоследствии название «сталинки».

Так вот; слышались периодически во дворе возгласы:

– Риба! Свежая риба! Дами, свежая риба! Скумбрия!

Приносили не только скумбрию, приносили и глоссу, и камбалу, и бычков. Бычки были самой дешевой рыбой, и покупали их в основном любители ухи и на прокорм кошек… Приносили рыбу в специальных рыбацких корзинах, которые назывались почему-то *баяны*. Торг начинался, что называется, сходу. Хозяйки прямо с балконов, либо высунувшись из окон, оживленно интересовались ценой, просили приподнять рыбу для лучшего обзора, пробовали сбить цену. Затем сами хозяйки или их детишки спускались вниз к торгующим с мисками или кастрюльками (целлофановых пакетов в помине не было) и в обмен на деньги получали рыбу.

Но не только рыбаки посещали наши дворы. Раздавались порой выкрики:

– Стари вещи покупайм!..

Окончание слова «покупаем» проглатывалось, но тем не менее было ясно – прибыл старьевщик, дабы купить изношенные до дыр вещи. Точильщики ножей, ножниц и ножей для мясорубок, неся через плечо точильный станок с ножным приводом, также были нередкими гостями наших дворов, как и лудильщики с призывным кличем:

– Паяй-починяй-кастрюли-ведра-примус-самовар!..

А порой в наш двор осторожно, как бы крадучись, приходил очень пожилой и очень худой человек. Через плечо у него висела старая, потемневшая от времени шарманка с облупившейся, в прошлом яркой краской. В одной руке он нес шест, служивший подставкой для шарманки, а другой держал за руку девочку лет шести. Человек был скромно, но опрятно одет, а вот на девочке было красивое платьице с оборками, модные сандалики, но, главное, на ней была чудо какая нарядная шляпка с голубой ленточкой.

Мужчина останавливался всегда на одном и том же месте, снимал с плеча шарманку, ставил ее на шест-опору и начинал крутить ручку. Раздавалась нежная, несколько заунывная мелодия. Девочка стояла рядом, положив подле своих сандалий пустую расписную коробочку из-под леденцов монпансье. Когда раздавалась мелодия, девочка начинала петь. Пела она звонко, но монотонно и тоскливо, похоже, не осознавая смысла того, что пела. Мелодия оканчивалась, но мужчина продолжал неподвижно стоять,

глядя в одну точку, вернее, на балкон и окна одной и той же квартиры… А девочка собирала мелочь, брошенную сердобольными жильцами, и складывала ее в коробочку из-под монпансье. Затем мужчина вновь крутил ручку шарманки, девочка вновь начинала петь на тот же тоскливый мотив, но вроде как с другими словами.

Я попросил маму дать мне деньги, чтобы одарить музыкантов. Она поспешно, почему-то пряча глаза, дала мне мелочь и тут же ушла в соседнюю комнату, и, как мне показалось, всхлипнула. Я не стал бросать деньги с балкона, а сбежал вниз и сам положил их в коробочку из-под монпансье. Девочка глянула на меня, улыбнулась и, взявшись за подол платьица, сделала книксен и тем же звонким голосом сказала: «Благодарю вас, мальчик». Я смутился, отбежал в сторону, спрятался за дерево и стал наблюдать…

Мужчина еще постоял немного, глядя в одну точку, потом снял с шеста шарманку, взял девочку за руку, и они неторопливо пошли…

Этот шарманщик с девочкой вносили в жизнь нашего двора какую-то непонятную мне тревогу. Соседки шептались у своих подъездов, и лица у них становились скорбными.

Я смотрел вслед уходящему мужчине с шарманкой и девочке в нарядной шляпке. Они уходили, окутанные какой-то смутной и тревожной тайной…

* * *

Как бы ни уверяли нас материалисты, но мистика в людских судьбах присутствует. Я, во всяком случае, в это верю. И не только потому что без мистики было бы попросту скучно, а еще потому, что творчество во всех его ипостасях так или иначе связано с присутствием в нем мистических проявлений. Вспомним хотя бы факт появления периодической системы химических элементов, приснившейся Дмитрию Ивановичу Менделееву. А рождение гениальной поэзии?.. Гениальной музыки?.. Это ли не мистика? Талант всегда мистичен, в этом и есть перст божий.

Я также уверен в духовной взаимосвязи человека и всего с ним связанного, будь то предметы, которых касаются его руки, глаза, мысли… Более того, я убежден в одухотворенности окружающих человека предметов как результата их взаимопроникновения.

Я убежден, что стены жилища, его обстановка хранят духовную информацию о людях, с которыми им пришлось соприкасаться.

Думаю, не один я обратил внимание на то, как непросто находиться в залах художественных музеев, как быстро накапливается усталость при внимательном рассмотрении полотен. Полагаю, это сконцентрированная энергетика творцов-живописцев, их личностный накал наваливаются на нас, смущают душу, утомляют тело…

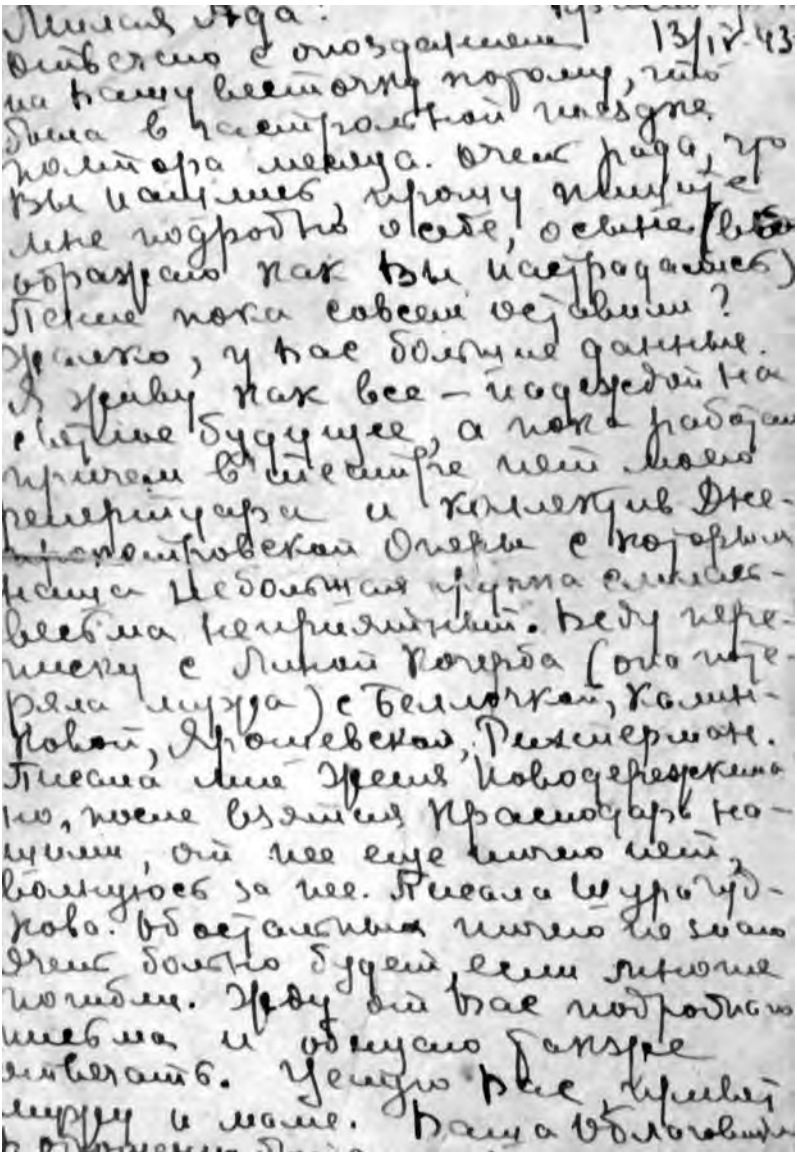
Ладно полотна гениев с их гигантской энергетикой, а простые ладанки или крестики, или амулеты, надетые на шею сыновьям либо возлюбленным… Как помогало прикосновение к ним, ощущение их в критические минуты, когда решалось, «быть или не быть». Скучные атеисты скажут: суеверие все это и мракобесие. Не надо с ними спорить, не надо их переубеждать… Им тоже нелегко верить в свое неверие.

Вот держу я… вернее, едва прикасаюсь к почтовой открытке. Она очень старенькая и ветхая, она помечена 13-м апреля 1943-го года. Стоит напомнить: совсем недавно завершилось сталинградское сражение, война в самом разгаре, страшной беде с неслыханными людскими страданиями и жертвами не видно конца, еще не вполне ясно, кто кого… Не ясно?! Но вот открытка… Она прислана из Красноярска Ольгой Николаевной Благовидовой, профессором Одесской консерватории, в город Регар Таджикской ССР своей студентке Аде Садомской, то есть моей маме…

Следует сказать, что моя мама в предвоенные годы поступила в Одесскую консерваторию на вокальный факультет в класс профессора Благовидовой. Мама была уже замужем за моим отцом Виктором Григорьевичем Садомским. Но… началась война, занятия в консерватории прекратились, мама, уже беременная мной, вместе с бабушкой были эвакуированы в Краснодар, где я и родился. Но через несколько месяцев началось немецкое наступление на Кавказ, вражеские войска подошли к Краснодару, и мама с бабушкой и мной, младенцем, фактически пешком с вереницами таких же беженцев ушли через кавказские перевалы. Этот многонедельный переход, сопряженный с бомбежками, обстрелами, вынужденным купанием меня, младенца, в горных речушках с ледяной водой и многими-многими приключениями достоин

отдельного повествования. Но в конце концов мы добрались до Таджикистана, до города Регара, куда мой отец был отозван с фронта, чтобы наладить работу маслозавода. Вот туда-то, в Регар, на маслозавод, где мы жили, и пришла открытка из Красноярска от Ольги Николаевны Благовидовой, где она в эвакуации работала в театре им. Пушкина.

…Вот лежит передо мной эта открытка, ветхая, потертая, с выцветшими чернилами. Она украшена бодрой картинкой: летящие краснозвездные самолеты, несущиеся краснозвездные танки, мужественное лицо работницы… В общем, как ныне модно говорить – картина маслом. Но не эта «патриотичная пастораль» будоражит сознание и царапает душу, и даже не суровый штамп военной цензуры. А почерк. Почерк Ольги Николаевны Благовидовой – изящное, красивое правописание уверенного в себе человека. Никакой суетливости, рожденной страхом, никаких плывущих вкривь и вкось букв и строк, свидетельствующих о душевном



Милая Ада!
Отвечаю с опозданием 13/IV-43
на вашу весточку потому, что
была в частрольной поездке
полтора месяца. Очень рада, что
вы нашлись, прошу пишите
мне подробно о себе, о сыне. (Вы
обращаю как вы настрадались)
Пение пока совсем оставили?
Жалко, у вас большие данные.
Я живу как все — надеждой на
светлое будущее, а пока работаю
причем в театре нет моего
репертуара и коллектив Дне-
прокотровской Оперы с которым
наша небольшая группа слилась —
весьма неприятный. Веду пере-
писку с Линой Кочерба (она поте-
ряла мужа) с Беллочкой, Калин-
ковой, Ярошевской, Рихтерман.
Писала мне Женя Новодережкина
но, после взятия Краснодара на-
шими, от нее еще ничего нет,
волнуюсь за нее. Писала Шурагуд-
ково. Об остальных ничего не знаю
Очень больно будет, если многие
погибли. Жду от вас подробного
письма и обещаю также
отвечать. Целую вас, привет
мужу и маме. Ваша Облаговидо-

Открытка, присланная моей маме в г. Регар в 1943 году Ольгой Николаевной Благовидовой

смятении или неуверенности. Ничего подобного. Сдержанный деловой интерес профессора к своей студентке: «…пение пока совсем оставили? Жалко, у вас большие данные…». Чисто женское сопереживание пережитым невзгодам. О себе сдержанно и по-деловому: «Я живу, как все, – надеждами на светлое будущее, а пока работаю, причем в театре нет моего репертуара…». Отсутствие ее оперного репертуара – главная печаль Ольги Николаевны Благовидовой в грозном 43-м. В письме-открытке ни малейшего сомнения, что жизнь вернется в положенное русло, а это возможно только в одном случае, в случае победы…

Эта спокойная уверенность – предвестие того, что через несколько лет Ольга Николаевна Благовидова сотворит уникальную вокальную школу Одесской консерватории, ее выпускники обретут всесоюзную и европейскую известность и будут блистать в лучших оперных труппах: Елизавета Чавдар, Бэла Руденко, Александр Ворошило, Николай Огренич… Список можно продолжить. Это предвестие того, что директором

Ада Садомская, солистка радиокомитета, уже моя мама

ДИПЛОМ

А № 149324

Предъявитель сего тов. Садомская Ада Иосифовна

в 19__ г. поступила и в 1947 г. окончила полный курс вокального факультета Одесской Государственной консерватории

по специальности сольное пение

и решением Государственной Экзаменационной Комиссии от 29 июня 1947 г. ей присвоена квалификация камерной певицы

Председатель Государственной Экзаменационной Комиссии Миклашевская

Директор

Секретарь

Город Одесса 1947 г.

Регистрационный № 42

Одесской консерватории станет «наш Костенька», как называли студенты любимого директора консерватории Константина Данькевича, выдающегося украинского композитора, чья фамилия стоит в мамином дипломе об окончании консерватории, когда она уже работала солисткой радиокомитета. Последние несколько лет имя Данькевича носит Одесское музыкальное училище, в котором моя мама сорок лет преподавала вокал.

Я дорожу этой чудом сохраненной открыткой из очень уже далекого прошлого. Этому обжигающе далекому созвучны строки поэта-фронтовика Давида Самойлова:

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Публикации

288 Семен Липкин (1911-2003):
«Каждый решал по-своему»
Публикация Елены Константиновой

300 **Андрей Ренников**
Минувшие дни
Публикация Андрея Власенко и Михаила Талалая

325 **Татьяна Рогозовская**
1918-1919-1920… Киев – Одесса – Константинополь…

Семен Липкин (1911-2003): «Каждый решал по-своему»

…Это интервью с Семеном Липкиным, сделанное 6 февраля 1994 года, было опубликовано в газете «Сегодня» с сокращениями.

Чуть позже состоялось другое – с женой Липкина, поэтом Инной Лиснянской.

…Начиная с первого телефонного звонка, когда я договаривалась с Семеном Израилевичем об интервью, и он подробно, чуть не по шагам, объяснял дорогу до их писательского дома в районе метро «Аэропорт» в Москве, и до своего последнего вопроса при встрече меня не покидало волнение. Что, впрочем, неудивительно. Будучи знаком с великими поэтами – очень близко с Мандельштамом и Ахматовой, общавшийся с Андреем Белым, Волошиным, Пастернаком, Цветаевой, друживший с Аркадием Штейнбергом, Марией Петровых, Арсением Тарковским, Лидией Корнеевной Чуковской, Липкин сам еще при жизни стал человеком-историей.

Увы, внешние подробности этих встреч почти стерлись. В памяти несколько штрихов.

У Семена Израилевича на голове что-то вроде академической шапочки, или фески, но без перевитого шнура, или узбекской тюбетейки, но точно это не кипа. Недавно, отвечая на мой вопрос, что это могло быть, Елена Макарова, падчерица Липкина, пояснила: «У Семена Израилевича было множество головных уборов – и из Средней Азии, и из Израиля, но вовсе не всегда он покрывал голову – он не был ортодоксален».

Есть тому подтверждение и самого поэта:

Правды взыскуя, отвергну вериги я
И не надену ни рясу, ни талес.

Нам в иероглифах внятна глаголица.
Каждый зачат в целомудренном лоне.
Каждый пусть Богу по-своему молится:
Так Он во гневе судил в Вавилоне.

В Польше по-польски цветет
католичество,
И Индии боги и ныне живые.
Русь воссияла, низвергнув язычество,
Ждет еще с верой слиянья Россия.

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами,
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.

Запомнилась отдельность, самодостаточность каждого – и Липкина, и Лиснянской. И в то же время бережное, трепетное отношение друг к другу, глубинное неподдельное уважение. Несуетность, неторопливость, взвешенность – в выборе слов и строении фраз, манере держать себя с собеседником. Скромность – и величавость, сдержанность. У Инны Львовны еще и нескрываемая ирония – прежде всего, к самой себе. И такое же нескрываемое недовольство – опять же собой.

Елена Константинова

– Семен Израилевич, известно, что уже вашу первую книгу стихов цензура запретила… А как складывалась ваша жизнь до этого события, до 1930 года?

– Я из простой семьи. В 1929 году из Одессы приехал в Москву. Хотел поступить на филологический факультет университета. Но, хотя экзамены сдал довольно прилично, на пятерки и четверки, я как сын кустаря остался за закрытыми дверями. Тогда при приеме в вузы соблюдалась определенная очередность: предпочтение отдавалось рабочим, затем – сельской бедноте, потом –

детям рабочих, и, наконец, партийным работникам. Я же не только никогда не был комсомольцем, но и пионером…

Напротив, литературная жизнь стала складываться удачно – сразу начал печататься в толстых журналах, хотя тогда это было очень трудно, к стихам и прозе предъявлялись достаточно строгие требования. Вскоре, собрав книжечку стихов, отвез ее в «Недра» – это было довольно любопытное издательство на Варварке. С одной стороны, там печатались такие писатели, как Вересаев, Замятин, Булгаков, а с другой – представители «Кузницы», объединения – выразителя программы РКП. Книжку приняли, но ее издание действительно, как выяснилось позже, запретила цензура – явление, кстати сказать, в ту пору очень редкое, ибо пока еще продолжался нэп, хотя он и был уже на исходе.

В одной из редакционных комнат, где размещались «Недра», сидел человек, не совсем обычно одетый – у него были удивительно твердые манжеты, он немного дергал головой (уже потом я узнал, что это проявление его не очень сильно выраженного заболевания), и я решил, что чем-то он мной недоволен. «Молодой пиит! – неожиданно заметил он, обращаясь ко мне. – Вы хорошо начинаете, коли цензура вас запретила!» Это был Михаил Булгаков…

– Что же было крамольного в вашей книге?

– Еще в Одессе я сотрудничал с одной из тамошних газет, был внештатным репортером. Как-то меня направили в деревню, где убили селькора. Тогда были модны убийства такого рода. И вот уже на месте оказалось: в самом деле, убили молодого парня. Но – из ревности. Никакой политической подоплеки за этим событием не было. Об этом я написал небольшую поэму строк в четыреста.

Так вот, книжечка получилась крохотная – что я успел написать к восемнадцати годам? Да еще надо было отобрать более или менее приличное, поэтому представил несколько стихотворений, ранее уже опубликованных в «Новом мире», «Октябре», «Молодой гвардии», в альманахе «Земля и фабрика» (принадлежавшее «Кузнице», это издание тем не менее было престижным – там печатались, скажем, Пастернак, Багрицкий, уже упоминавшийся Замятин, там же вышла и моя первая подборка), а также ту поэму, которая и вызвала недовольство цензоров: как так не увидеть за таким

жутким преступлением никаких политических мотивов?! Возможно, был бы я более опытным – обратился бы к кому-нибудь за советом, поддержкой. Но я был еще не сведущ в издательских делах.

– И опять же в эпоху борьбы за соцреализм требовался именно классовый подход – касалось ли это, допустим, написания книги или постановки спектакля?

– Как раз классового-то и не было. Например, Алексей Николаевич Толстой – граф, однако он очень пригодился советской литературе!.. А Артем Веселый, один из немногих писателей, вернувшихся с фронтов Гражданской с орденом (Фадеев тоже участвовал в Гражданской войне, однако у него не было такой награды), впоследствии был уничтожен… Демонстрировался государственный подход: нужен ты государству или нет. В сущности, что означал социалистический реализм? Метод, с помощью которого искусство должно было служить государству. Литература тоже была делом государства. Но так как государство обширное и потребности его весьма разнообразны, то в печать нет-нет да и попадали хорошие книги. Скажем, Зощенко, Булгакова, Бабеля, Платонова, Гроссмана… Правда, это было скорее исключением из общего правила.

– Даже по названиям («Возвращение из Египта», «Последняя ночь Авраама», «В ковчеге», «Богородица», «Моисей», «Он, я и Ты», «Огнь связующий и жаркий…», «Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?..», «Одесская синагога») и насыщенности ваших стихов библейскими именами, реалиями и сюжетами нетрудно понять, что взаимоотношения человека с Богом – у вас один из ведущих неизменных мотивов. И так же всегда вы без иллюзий смотрите на время, умея «различать / Прямую мощь избитых истин / И кривды круглую печать». Вот строки из другого, еще более давнего стихотворения:

С самим собою лицемерный,
Проклявший рай, забывший ад,
Наш век безверный, суеверный,
Наш век – вертеп и вертоград…

Согласны ли вы с утверждением, что насаждавшийся советской властью атеизм негативно отразился на всем и вся, в частности, на литературе?

– Прежде всего, атеизм развратил души людей. Октябрьская революция совершила два чудовищных преступления: превратила атеизм в государственную идеологию и лишила человека понятия собственности. Между тем понятие собственности очень важно для человека. Потому что – не хочу быть парадоксальным – связано с верой в Бога. Человек есть творец. Он творит книги, гвозди, ботинки – словом, кто что умеет. И когда осознает, что есть Нечто Высшее, Творящее, то и его творчество становится жизненной потребностью. Потребностью иметь собственность и молиться Тому, Кто сотворил все. Конечно, можно не веровать в Бога. Это право каждого. Например, Афанасий Фет не верил в Бога. Но он верил в некую Высшую силу, которая не подчинена арифметическому сознанию, и создал насквозь религиозную лирику.

– Если бы не революция 1917-го, все ли из тех, кто официально считался мастером советской литературы, стали бы столь известны?

– Был бы, допустим, Фадеев писателем, если бы не революция? Да, но не в первом ряду и даже не во втором. Наделенный, бесспорно, литературным дарованием, но очень скромным, он пошел по иному пути – стал начальником, членом ЦК партии, ставил подпись под решением об аресте того или иного писателя. Может быть, поступал так против своей воли – оттого и запои, и в конце концов самоубийство. Все это не случайно…

Но в советское время появилось и много замечательных произведений. По-новому развернулся гений Ахматовой, Мандельштама… Самое крупное, что они написали, создано после революции, несмотря на гонения и репрессии со стороны властей. Вообще, быть писателем – значит обречь себя на трагедию. Всегда. При всех режимах.

– Что подтверждает и ваша судьба. Та ваша так и не увидевшая читателя книга далеко не единственный ее удар. Об этом – дальше. А пока вернемся в начало 1930-х. Тогда вы и ушли в переводы?

– Постепенно. Окончательно победившая всех РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) старалась съесть очень крупных в то время, очень важных писателей, таких как Фадеев, Леонов, а уж о молодых, беспомощных и говорить нечего. Так вот, я и мои друзья – Мария Петровых, Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский, – оказавшись среди тех, кто не мог печататься, ради хлеба насущного взялись за переводную литературу. Но впоследствии я увлекся этой работой…

– И так серьезно и основательно, что стали, по признанию специалистов, классиком художественного перевода, переложив за более чем полвека на русский язык тысячи строк: поэмы Фирдоуси, Лутфи, Джами, Навои, калмыцкий. киргизский, татарский, нартский, бурятский эпос и так далее…

– Меня действительно заинтересовала история мусульманства, религия народов Средней Азии, буддизм калмыков. В общем, не только заработок заставлял меня заниматься этим делом, хотя, конечно, в основе были меркантильные соображения и заботы.

– В глазах официальной власти вы считались диссидентствующим поэтом довольно долго…

– Нет, я вообще считался не поэтом, а поэтом-переводчиком. Четверть века (с 1931 года) в вынужденном молчании – самое время, когда надо было печататься… Опубликовал мои стихи уже Александр Твардовский в «Новом мире» в 1956 году…

– А в 1957-м тем не менее у вас появляется стихотворение с названием, говорящим само за себя, – «Призраки»:

Нас нет в печатных обзорах,
Мы призраки, о которых
Не знает никто.
Не сломимся, хоть согнемся,
Едва лишь для Бога проснемся,
Мы пишем про то,

Что дышит смертельно и трудно,
Хоть сверху живет, а подспудно,
Про слезы и стыд,
Про то, что в грязи прозябает,
Себя самое презирает,
Себя победит.

Свою первую книгу оригинальных стихов «Очевидец» вы выпустили только в 1967 году. Потом «Метрополь», выход из Союза писателей… Снова обрекли себя на испытания…

– У нас, участников «Метрополя», была между собой договоренность, согласно которой, если начнутся репрессии в отношении хотя бы одного, все остальные воспримут это так, как будто и их исключили. С чего начал карательные меры Союз писателей? С исключения двух своих самых молодых, только-только принятых, еще даже не успевших получить билеты членов – Евгения Попова и Виктора Ерофеева. Впятером – Василий Аксенов, Инна Лиснянская, я, Фазиль Искандер, Андрей Битов (у Беллы Ахмадулиной было отдельное послание) – написали письмо, в котором заявили: если не восстановят наших двух исключенных сотоварищей, все мы выйдем из союза. В конце концов вышли трое: Аксенов, Лиснянская и я. Василий Аксенов уехал в Америку, а мы – остались.

– То есть вы с Инной Львовной пострадали больше всех метропольцев?

– Получается так. Мы считали, что отступать от своего слова невозможно.

– Что остановило ваших коллег?

– Каждый решал по-своему. Мы же не были какой-то партией. «Метрополь» собрал разных людей – по возрасту, по своим литературным симпатиям, художественным воззрениям. Так что каждый поступал, как хотел того сам.

– Видимо, не случайно, вспоминая те события, Виктор Ерофеев заметил: «Им (Лиснянской и Липкину. – Е. К.) пришлось хуже всех: они лишились почти всех средств к существова-

нию. Мы всегда относились к ним как к героическим личностям». Подтверждением и ваши строки:

Вот и новый день глаза смыкает,
И его одела пелена,
Но в душе моей не умолкает
Негодующая тишина.

Немоты надменная основа,
Ты прочнее, чем словесный хруст,
Но как трудно, стыдно прятать слово,
Вырваться готовое из уст.

– Было очень тяжело… Наложили запрет на профессию – перестали печатать. Правда, у нас остались две пенсии… Мы подверглись, правда, не очень страшным, но репрессиям. Без нас входили в дом. Вот, например, на этом письменном столе лежало зеркало – в наше отсутствие его изрезали… Постоянные вызовы на «проработки», допросы (за рубежом в это время в издательствах «Ardis», «YMCA-Press» стали выходить наши книжки – что, с точки зрения советских властей, считалось делом предосудительным). Особенно мучили Инну Львовну. Но она была очень тверда.

Уезжать мы не хотели, хотя нас, наоборот, выталкивали всеми силами из страны.

– Значит, в те же 1980-е сказали так вовсе не без оснований?

Боюсь, что принудят меня
Покинуть Советский Союз.

– Помню такой случай. Кажется, это был 1982 год. Мы с Инной Львовной в Переделкине снимали комнату у нашей знакомой – вдовы профессора Николая Леонидовича Степанова. Както часов в десять вечера вместе с Кларой Лозовской, секретарем Корнея Ивановича Чуковского, возвращались из гостей – были у нашей приятельницы, литературного критика Сары Бабенышевой, живущей сейчас в Америке. Вдруг машина, идущая нам

навстречу, останавливается, причем таким образом, что перегораживает дорогу. Выходит водитель, такой рыжеватый, как теперь говорят, крутой парень, и говорит: «Долго вы еще будете здесь жить?». Я притворился, что не понимаю, о чем речь. «Вот, – отвечаю, – до весны». – «Нет, я спрашиваю, на этой земле долго еще будете жить?» Тут я рассердился, схватил его за шкирку, но он, вывернувшись, так легко, незаметно ударил по руке, что у меня расстегнулась дубленка. В общем, он стал нам угрожать. Тут подъехало несколько автомашин, и, поскольку его машина мешала движению, он вынужден был сесть за руль. Тем временем мы юркнули сквозь забор одной дачи, и Клара Лозовская вывела нас к дому Чуковского. Там и переночевали. И уже со второго этажа, из кабинета Корнея Ивановича, наблюдали за этой злополучной машиной, еще долго кружившей по улице Серафимовича. На следующий день домработница Степанова сказала, что нами интересовался какой-то человек, несколько часов около дома поджидал автомобиль…

Нас мучили вплоть до 1986 года. Вызывают как-то во Фрунзенский исполком, там присутствовал и представитель Лубянки, и говорят, мол, жители Фрунзенского района могут возмутиться тем, что вы здесь живете, и потребовать выселить вас из Москвы. «Как же так, – недоумеваю, – совсем недавно один знатный житель Фрунзенского района меня поздравлял и пожелал творческих успехов!» «Кто такой?» – раздраженно спрашивает чекист. «Военком, вручавший мне орден Отечественной войны…» (Этот год я точно запомнил – 1985, годовщина Победы.) Мне казалось, что я очень остроумно ответил, но никто из них на это замечание никак не отреагировал. Потом, уже обращаясь к Инне Львовне и указывая на «Континент», – новое негодование: «Вот вы где печатаетесь!» «Да? – обрадовалась она. – А у нас этого номера нет!..»

Там был еще один человек, назвавший себя представителем общества «Знание». Не помню точно ход его мысли, но он, в общем, сказал, что любит Цветаеву, мол, не такой уж простой – разбирается, что почем, и стал перечислять ее книги. Я слушаю, а потом добавляю: «И «Лебединый стан». «Да, – как ни в чем не бывало подтверждает он, – и «Лебединый стан». Тогда спрашиваю его: «Что же вы нам угрожаете высылкой из Москвы? Ведь

«Лебединый стан» – гимн в честь белой армии, а в наших стихах нет ничего политического!»

В 1986 году я серьезно заболел. Была онкологическая операция. Очень тяжелая. Жена все время, что я лежал в больнице, находилась со мной. И вот на несколько месяцев – перед второй операцией – меня должны были привезти домой. Инна Львовна приехала чуть раньше – прибраться в квартире. Только вошла, еще не успела снять пальто, телефонный звонок. «Опять про вас по радио говорили!» – крикнул не назвавший себя. «О Горбачеве сколько по радио говорят, а вы никак не реагируете!..» – ответила она. На том конце провода положили трубку. В общем, это были противные годы.

– А сейчас вы чувствуете перемены к лучшему?

– Да, вполне. В 1987 году нас восстановили в Союзе писателей – сначала меня, потом Инну. Стали печатать. Пожалуй, я сегодня опубликовал почти все, по крайней мере процентов восемьдесят того, что написал за всю жизнь. Остальное находится в столе по каким-то другим причинам. Скажем, самому не нравится и тому подобное. То же самое у Инны Львовны – все хорошо.

– Ваше поэтическое кредо выражено предельно ясно:

Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?

О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они,

Чтоб их священник в нищем храме
Сказал седым и молодым,
А те устами и сердцами
Их повторяли вслед за ним…

Вы – один из немногих российских поэтов традиционного классического направления…

– Считаю, что поэзия всегда традиционна. Наш знаменитый историк Владимир Ключевский как-то высказал такую замечательную мысль: «…поэзия не знает хронологии…». Кто современнее: Гомер или, скажем, Пригов? Все зависит от таланта. «Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново». Это фраза Чехова. Вообще, говорить о себе: «Я поэт», – все равно что заявлять: «Я умен, красив, талантлив». Мы пока еще не знаем, кто останется в памяти потомков, а кого забудут.

– На эту же тему у вас, например, стихотворение «Забытые поэты», в котором вы довольно беспощадны и к себе:

Я читаю забытых поэтов.
Почему же забыты они?
Разве краски закатов, рассветов
Ярче пишутся в новые дни?

Разве строки составлены лучше
И пронзительней их череда?
Разве терпкость нежданных созвучий
Неизвестна была им тогда?

Было все: и восторг рифмованья,
И летучая живость письма,
И к живым, и к усопшим взыванья, –
Только не было, братцы, ума.

Я уйду вместе с ними, со всеми,
С кем в одном находился числе…
Говорят, нужен разум в эдеме,
Но нужнее – на грешной земле.

И все-таки есть ли, по вашему мнению, в современной поэзии имена, которые останутся в истории?

– Безусловно, у нас были и есть поэты, достойные своих предшественников. Правда, немного. Я выделяю три имени, стоящие на вершине Парнаса, – Заболоцкий, Тарковский, Бродский. Вовсе не сбрасывающий Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета с парохода современности, последний из названных – Иосиф Бродский – один из тех, кто ведет этот корабль. Всегда были истинные и второстепенные поэты, и просто люди со стихотворными способностями, ну и, конечно, бездарности…

– В повести «Записки жильца» (ноябрь 1962 – февраль 1976) вы пишете: «Семнадцатый год имел предшественников в прошлые времена <…> но только в семнадцатом году впервые за всю свою победную мощь народ восстал не против деспотии, а против демократии. Националистический социализм <…> иногда называемый фашизмом, есть самое реакционное движение самых широких народных масс». История повторилась?

– Если вы имеете в виду события минувшей осени (внутриполитический конфликт в РФ 21 сентября – 4 октября 1991 года, известный как «расстрел Белого дома». – **Е. К.**), а также итоги прошлогодних выборов, то все это – результат октябрьского переворота 1917 года. И хотя все и связано, никогда ничего в истории не повторяется.

Однако мы стали свидетелями и замечательных событий – прежде всего, крушения коммунизма. Свершилось то, о чем я мечтал с первых моих сознательных лет. Думал, что не доживу до этого счастливого дня…

Мне восемьдесят третий год. Жить мне интересно!.. Возможно, беды, и немалые, в России еще будут, но Бог не даст, чтобы зло победило. Помните рассказ Льва Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет»? Обязательно скажет…

Андрей Ренников

Минувшие дни

Андрей Митрофанович Ренников (Селитренников) родился 14 ноября ст. ст. 1882 г. в Кутаиси в семье присяжного поверенного. Детство провел в Тифлисе, там же учился в Первой классической гимназии. Окончил два факультета Новороссийского университета (Одесса), получив золотую медаль за сочинение «Система философии В. Вундта». Был оставлен при университете на кафедре философии. Совмещал преподавательскую деятельность с журналистской в газете «Одесский листок».

В 1912 г. переехал в Петербург, где стал редактором газеты «Новое время». Под псевдонимом Ренников регулярно печатал в газете рассказы, очерки, «маленькие фельетоны».

С 1912 г. стали выходить сатирические романы: «Сеятели вечного», «Тихая заводь» и «Разденься, человек»; очерки «Золото Рейна» и «В стране чудес: правда о прибалтийских немцах»; сборники рассказов «Лунная дорога» и «Спириты». Автор быстро стал известен всей читающей России, но его замалчивала либеральная пресса.

В годы Гражданской войны был сотрудником отдела пропаганды при правительстве Вооруженных сил Юга России (ОСВАГ). В марте 1920 г. он выехал из Новороссийска через Варну в Белград, помогал в издании газеты «Новое время» в 1921-1926 гг. В 1926 г. писатель переехал в Париж, став постоянным сотрудником газеты «Возрождение», где по 1940 г. регулярно выступал в рубрике «Маленький фельетон», печатал очерки и рассказы.

Во время Второй мировой войны и после нее жил на юге Франции, в Ницце.

В 1953 г. в Ницце и других городах Европы русская эмиграция торжественно отметила 50-летний юбилей литературной деятельности

Ренникова. Во Франции, Англии, США и других странах прошли торжественные собрания, многие театры русской эмиграции поставили его пьесы. Ренников до последних дней вел обширную переписку: отвечал на письма почитателей и издателей. Умер писатель 23 ноября 1956 г. и был похоронен на кладбище Кокад в Ницце вместе с супругой Людмилой Всеволодовной (1886-1950).

Почти ничего из его обширного наследия на родине опубликовано не было.

Публикуемый фрагмент – часть готовящегося нами к выпуску очередного тома произведений А. Ренникова под названием «Было всё, будет всё», куда будут включены мемуары писателя-эмигранта. Редакторы-составители в 2018 г. в издательстве «Алетейя» уже выпустили сборник фельетонов и очерков А. Ренникова «Потому и сидим».

Андрей Власенко (США)

Михаил Талалай (Италия)

Вместо предисловия

Некоторые из друзей настойчиво советуют мне написать мемуары. Мотивируют они эти советы тем, что на своем веку немало встречал я интересных людей, много пережил всевозможных событий.

А помимо того, по их мнению, я уже вполне созрел для занятий воспоминаниями. Печень у меня не в порядке; подагра иногда дает о себе знать; а склероз нередко показывает, что достаточно умудрен я жизненным опытом.

Словом, друзья полагают, что мне уже пора не жить, а вспоминать о жизни.

Сначала я было заколебался. А в самом деле, не приняться ли за это занятие? Каждому человеку лестно во всеуслышание рассказать о своем детстве, отрочестве, зрелых годах; указать, каким вдумчивым, впечатлительным ребенком он был, поражая своим умом окружающих и приводя в умиление беспристрастных родителей; каким замечательным юношей оказался впоследствии, какой проницательностью обладал в зрелом возрасте, предвидя грядущие события, о которых никто другой не догадывался.

Итак, мне показалось сначала, что согласиться следует. Но перед тем как взяться за дело, вздумал я ознакомиться: как писали у нас, в эмиграции, свои воспоминания опытные мемуаристы? И тут-то начались сомнения.

Ведь, увы, был я в России совершенно скромным, заурядным человеком, от которого ничто не зависело. Начальником штаба ни в какой армии не состоял. Министерством не управлял, даже почтой и телеграфом. Императорскими театрами не заведовал. На российские финансы влияния не оказывал. При дворе роли никакой не играл. Особенным богатством не обладал, чтобы проигрывать миллионы в Монте-Карло или метать бисер перед парижскими дамами полусвета.

И, наконец, академиком по отделу изящной словесности не был, чтобы презирать всех писателей, кроме себя.

В общем, оснований для писания мемуаров у меня было мало. А тут еще услышал я как-то рассказ об одном жутком случае, происшедшем в Париже.

Одна русская дама была большой любительницей чтения. Читала она все, что подворачивалось под руку. И попался ей однажды том чьих-то воспоминаний. Книга была растрепанная, без переплета; в начале не хватало обложки и нескольких первых страниц.

Прочла дама весь том; возможно, что не очень внимательно; возможно даже – не все главы. И с радостью заметила, что неизвестный мемуарист-автор среди всех государственных деятелей старой России высоко расценивает только одного: как раз ее знакомого эмигранта, которого она часто встречала в церкви.

Принесла дама книгу в церковь и после литургии подошла к этому маститому государственному деятелю.

– Вот, посмотрите, как много хорошего о вас здесь пишут, – радостно сказала она.

– В самом деле?

– Да. Только вас и хвалят. Остальных всех бранят.

– Интересно!

Деятель взял в руки книгу, перелистал.

– Судя по изложению, – любезно продолжала дама, – если бы не вы, Россия погибла бы значительно раньше. Может быть, хотите, я подарю вам этот том?

– О нет, – мрачно отвечал тот. – У меня самого осталось много авторских экземпляров.

Вот во избежание положения, подобному этому, а также в силу указанных раньше причин, я и решил не писать мемуаров. А вместо воспоминаний большого калибра думаю ограничиться краткими очерками с изложением кое-каких эпизодов из своей жизни в старой России.

И читателям будет легче. И мне самому тоже.

Издатель Василий Васильевич

В первые месяцы 1906 года повсюду началось успокоение. Восстания во всех главных очагах были раздавлены. Наступил последний конвульсивный этап неудавшейся революции: выступления отдельных террористов и экспроприаторов, подстреливавших из-за угла городовых и с возгласами «руки вверх!» грабивших банки и магазины. К этим «идейным» экспроприаторам стали присоединяться и далеко не идейные, обогащавшие налетами не партийные кассы, а свои собственные. И, постепенно переходя из плоскости политической в плоскость чисто уголовную, революция так тесно сочеталась с подонками общества, что различить, где выступали революционные деятели, а где работали профессиональные грабители, не мог никто, даже полиция. Тем более что в подражание своим социалистическим коллегам бандиты тоже стали применять облагороженные методы нападения на буржуазные кассы, бросали консервные банки или коробки от сардин, начиненные взрывчатым веществом.

Эти разбойные нападения окончательно отвратили большинство российского населения от революции. Обыватель уже порядком устал и от «терпения» японской войны, и от нетерпения революционеров, и от забастовок, и от уличных беспорядков, и от вооруженных восстаний. Особенно начал раздражать мирных граждан рабочий класс, который от лести социал-демократов действительно так возгордился, что искренно стал считать себя помазанником Божиим, вместо царя.

Недаром в России, в кругах умеренных интеллигентов, пользовалась успехом эпиграмма, помещенная в «Русском вестнике», озаглавленная «К решению рабочего вопроса» и в двух строках выражавшая общее отношение общества к социал-демократической диктатуре пролетариата:

Мне нравятся рабочие,
Но нравятся и прочие.

Наш Новороссийский университет был открыт, чтение лекций возобновилось. Но занятия шли вяло, слушателей было не много; студенты-социалисты не появлялись в аудиториях, не желая примириться с тем обстоятельством, что революция проиграна и что надо с военного положения переходить на мирное.

В мае состоялись у нас государственные экзамены. В прежние годы обычно бывало, что окончившие собирались где-нибудь, чтобы вспрыснуть завершение курса наук; но у нас расставание с университетом прошло бесцветно и без особого веселья. Все внимание интеллигенции приковано было тогда к шумливой и экспансивной Первой Государственной думе, открывшейся 27-го апреля.

Окончив физико-математический факультет, я с грустью стал размышлять: что делать дальше? Прежние наивные мечты сделаться математическим светилом вроде Ньютона, Лапласа, Лагранжа или хотя бы Лобачевского рухнули: таких Лобачевских, как я, наши университеты выпускали ежегодно много десятков, если не целую сотню. Но сделаться простым преподавателем гимназии не позволяло мне самолюбие. Такой исключительный молодой человек и вдруг – учитель математики!

И я вспомнил тогда, что если в качестве математика я никому не известен, то в литературном отношении – дело другое. Я – Азотнокислый Калий! Это – не что-нибудь… Меня почти весь Кишинев знает. И даже в Бендерах у меня были читатели. Может быть, снова заняться газетной деятельностью?

Вот только псевдоним мой – Азотнокислый Калий – мне стал теперь казаться не совсем удачным. Правда, он очень научен и сильно выделяет меня среди всех этих провинциальных малообразованных Горациев, Демосфенов, Альф, Омег, Тарантулов и Оводов; но в нем все-таки чувствуется какая-то излишняя химическая тенденциозность. И почему именно Азотнокислый Калий, а не Хлористый Натр или Закись Азота? Пожалуй, если начать писать в одесских газетах, лучше взять что-нибудь более скромное. Но, с другой стороны, приобретенная в Кишиневе слава погибнет. Неудачный, но прославленный старый псевдоним все-таки лучше, чем удачный новый, но никому не известный.

И вот после долгих колебаний решил я пойти на компромисс со своим тщеславием: слово Калий оставил, Азотнокислый отбросил, написал фельетон на какую-то злободневную тему, подписался – и отправился в редакцию местной газеты «Одесский листок».

Издатель этой газеты – Василий Васильевич Н.* – был замечательным человеком. Начал он свою карьеру простым типографским мальчиком. Но американский склад характера и природный недюжинный ум быстро повели его вверх по пути материального благополучия. Накопив немного денег, а может быть, и просто заняв их, он стал печатать скромный листок объявлений различных одесских фирм, брал за эти объявления небольшую плату и разносил свой листок по адресам наиболее состоятельных жителей города, которым раздавал его даром. Через некоторое время в листке стала появляться и местная хроника, которую Василий Васильевич собирал сам. А когда даровые клиенты уже привыкли к подобной благотворительности типографского мальчика, этот последний прекратил вдруг бесплатную раздачу листка и сообщил всем старым абонентам, что отныне будет за каждый номер брать деньги.

* Василий Васильевич Навроцкий (1851-1911) – редактор «Одесского листка».

Вознегодовали богатые одесситы, что типографский мальчик перестал для них даром трудиться; покряхтели, почесали затылки, но делать нечего – привычка уже создалась, пришлось подписаться.

И через несколько лет вместо маленького «Листка объявлений» выходила уже довольно большая газета с разнообразным материалом. А прошло еще некоторое время – и у талантливого русского американца возле городского театра вырос огромный дом с собственной типографией, печатавшей одну из самых солидных провинциальных газет, в которой писал «сам» Влас Дорошевич.

Будучи неизмеримо умнее моего кишиневского редактора Федора Егоровича, Василий Васильевич сам свою газету не редактировал, сознавая, что для этого у него не хватает образования. Предоставив это дело опытному журналисту, он занимался только издательской стороной предприятия, а кроме того, по старой памяти зорко следил в газете за хроникой, которую справедливо считал своей специальностью. И горе тому репортеру, который пропускал какое-нибудь известие, о котором сообщала конкурирующая газета «Одесские новости»! Разъяренный Василий Васильевич был тогда весь как Божия гроза.

Обычно рано утром, позавтракав, он спускался из своей квартиры в редакцию, брал свежий номер «Одесского листка», прочитывал хронику и на полях против заметок своих репортеров писал карандашом резолюции:

«Финкель! Узнать об этом деле достоконательно!»

Или еще проще:

«Файвилевич! Что это за ерунда?»

После подобного просмотра хроники Василий Васильевич приказывал подать свои дрожки и совершал обычный ежедневный объезд города. Сначала останавливался он около собора, совершал там краткую молитву, а затем ехал смотреть, все ли в Одессе в порядке и на своем месте. Чувствовал ли он себя при этих объездах чем-то вроде полицеймейстера или градоначальника, трудно сказать; но объезд совершался добросовестно и очень внимательно. С высоты своих дрожек Василий Васильевич пытливым взглядом осматривал базары, товары уличных

торговцев, витрины магазинов; смотрел, есть ли уже посетители в кофейнях, много ли прохожих на улицах, благополучно ли происходит движение трамвая… И затем возвращался в редакцию, где обсуждал с редактором программу следующего дня.

По вечерам Василий Васильевич обычно посещал театры, приглашая гостей в свою постоянную ложу. А знакомства у него были огромные и в артистическом мире, и в промышленном, и среди местной администрации. Иногда он устраивал у себя званые вечера или банкеты, и особенно пышно праздновал день своего ангела 1-го января*. На этих именинах обедало у него несколько десятков человек, главным образом оперных и драматических артистов. Обычно он редко выступал с речами, удерживаемый от них своей интеллигентной и светской супругой; но на именинах после нескольких бокалов и рюмок того или этого язык его развязывался, задерживающие центры в виде директив жены ослабевали, и он был тогда не прочь выступить с каким-нибудь импровизированным спичем. Говорил он всегда умно, нередко – остроумно, но очень часто неправильно с точки зрения употребления слов.

Как-то 1-го января среди приглашенных собрались у него три представителя семьи Петипа: сам Мариус Мариусович, гостивший тогда в Одессе, и драматические актеры – Горелов и Радин. Польщенный присутствием такого знаменитого гостя, как Мариус Мариусович, Василий Васильевич был особенно весел. Хлебнув для большего красноречия лишнюю рюмку чего-то, он встал и с сияющим лицом проговорил:

– Милостивые господа и государыни! Я очень счастлив, что среди нас сегодня находится такой замечательный человек… Это, господа, сам Мариус Мариусович, главный выродок семьи Петипа!

С точки зрения политической Василий Васильевич был человеком умеренных взглядов и причислял себя к кадетам, но не потому что подробно изучил программу этой партии, а потому что против кадетов была местная левая газета «Одесские новости». Чтобы придать особый политический вес своему изданию, он решил сделать из него официальный кадетский орган

* Васильев день, праздник св. Василия Великого (по нов. ст. 14 янв.).

и пригласил в состав сотрудников нескольких местных профессоров – лидеров партии. Профессора должны были собираться время от времени на редакционные собрания с чаем и булками и намечать вместе с редактором ряд вопросов, подлежавших освещению в газете.

Редактор был этим нововведением не очень доволен, так как считал подобные совещания вмешательством в его редакторские права; но практичный Василий Васильевич его успокоил, сказав ему по секрету, что профессорам скоро надоест ходить на собрания, и они оставят газету в покое. Зато имена их останутся и будут приманкой для солидных читателей.

На организационном собрании вместе с профессорами Василий Васильевич почтительно сидел на своем месте в конце стола и ни во что не вмешивался, когда вокруг произносились закругленные и увесистые программные речи новых ученых сотрудников. Но когда заседание пришло к концу, он скромно встал и сказал:

– Господа! Я очень рад, что вы согласились писать. В добрый час. Только разрешите мне попросить об одном: когда вы будете подписывать свои статьи, не пишите сокращенно «проф. такой-то» или «проф. такой». Пишите, пожалуйста, полностью «профессор». А то не всякий человек, особенно на Молдаванке или на Пересыпи, поймет, что значит «проф.», хорошо это или плохо.

Просьба издателя была, конечно, наивной. Но в ней не было и тени иронии. Василий Васильевич не знал, что на «проф.» начинается не только слово профессор, но и слово профан.

Барометрическая дама

Немало любопытных эпизодов вспоминается мне из времен сотрудничества моего в «Одесском листке».

У неутомимого нашего издателя всегда были какие-нибудь очередные новые планы для улучшения дела. Он никак не мог примириться с тем обстоятельством, что конкурирующая левая газета «Одесские новости» имеет тираж не меньше, чем его «Одесский листок».

Однажды обычной своей торопливой походкой вошел он в кабинет редактора и взволнованно заговорил:

– Дорогой мой… Бросьте исправлять рукописи. Я вам скажу что-то очень важное. Вы видите эту газету? Мне дал ее один знакомый. Она – на французском языке, но это ничего, знакомый все объяснил. Так вот, в Париже некоторые газеты делают замечательную вещь: каждый день предсказывают погоду в виде дамы. Смотрят на это… как его, барометр, и вставляют тот или другой рисунок. Когда барометр показывает хорошую погоду, на первой странице ставится дама в легком платье, с шикарной шляпой, с сумочкой в руке; когда барометр, наоборот, указывает сильный дождь, даму ставят одетую в пальто, с раскрытым зонтиком, а над зонтиком косые линии, это значит – ливень… А когда погода ожидается на следующий день ни то ни се, дама держит в руке закрытый зонтик – на всякий случай. Здесь, в номере, как раз она стоит в таком виде. Посмотрите! Здорово, а?

Меланхоличный редактор оторвался от рукописи и усталыми глазами рассеянно взглянул сначала на французскую даму, а затем на издателя.

– Да, вижу, – безразличным тоном проговорил он. – И что же?

– И что же! – обиженно повторил Василий Васильевич, слегка раздраженный равнодушием своего собеседника. – Такая дама – клад для газеты! Все читатели у нас встрепенутся, если мы заведем у себя такую особу. А «Одесским новостям» – будет щелчок! Мы купим этот самый барометр, закажем нашему художнику рисунки, сделаем три клише… И вы каждый день будете смотреть, какая погода ожидается, и помечать типографии, какое из клише ставить в номер.

– Я? – испуганно произнес редактор. – О нет, Василий Васильевич. Увольте.

– А почему?

– Я в метеорологии мало что понимаю. А барометры, кроме того, часто врут. Я не хочу на себя брать ответственность за такие предсказания.

– Да, но это очень интересно! Если хотите, мы можем каждый вечер вместе совещаться…

– Все равно. Каждый раз будет риск. Вот, обратитесь лучше к Калию: он астроном и математик, пусть и займется.

В тот же день Василий Васильевич поймал меня в редакции и подробно изложил свой проект. Но я тоже испугался. Обстоятельно стал объяснять Василию Васильевичу, что представляет собой барометрическое давление, каково устройство ртутных барометров и анероидов; указал, что слабое давление бывает при циклонах, приносящих с собою осадки, а высокое давление, наоборот, при антициклонах, сопровождающихся ясной погодой и засухой. Но одного барометра, сказал я в заключение, не достаточно, если не иметь показаний всей сети метеорологических станций, так как циклоны и антициклоны иногда меняют свое направление.

– Все равно! – упрямо ответил Василий Васильевич, не совсем разобравшись в моей лекции. – Если французы в Париже могут печатать такую даму, мы, русские, можем то же самое делать в Одессе. Поедем в город покупать барометр! Вы только смотрите внимательно, чтобы не подсунули второй сорт.

Покупка барометра вызвала в редакции сенсацию. Репортеры обступили издателя, когда он в общей комнате сотрудников торжественно вынул анероид из картонной коробки и бережно начал рассматривать, расспрашивая меня о способах пользования им. Несколько дней, пока художник делал рисунки, а цинкография по этим рисункам приготавливала клише, Василий Васильевич был буквально одержим своим планом. Он сначала поставил барометр в репортерской комнате на этажерку; затем испугался, что кто-нибудь из репортеров его украдет, и перенес драгоценный прибор в кабинет редактора; но редактор иногда приходил в редакцию поздно, и Василий Васильевич решил запереть барометр в шкап. Однако такое пребывание в шкапу продолжалось недолго; встревожившись, что в темноте барометр не разберет, какую погоду надо показывать, Василий Васильевич извлек его на свежий воздух и опять водрузил на камин.

Так продолжалось два дня, пока не случилось одного тревожного обстоятельства: в соседнем сквере Пале-Рояля садовник стал из кишки поливать газон. Обильная струя взвивалась в воздух, изгибалась наверху и падала вниз на траву эффектным дождем.

Заметив все это из окна своей квартиры, Василий Васильевич торопливо спустился вниз, схватил барометр с камина и опять запер его в шкап, пока поливка не кончилась и газон не подсох.

– А вдруг ему покажется, что идет дождь? – объяснил он свои действия редактору, который с тревогой смотрел на него.

Но вот наконец наступил желанный торжественный день. С трех клише, изображавших одну и ту же даму в 3-х различных видах, принесли Василию Васильевичу из типографии оттиски. Дама очень удалась нашему придворному художнику, бывшему в то же время и нашим фотографом. Она была красива и элегантна не только в своей позиции при хорошей погоде, но и во время дождя; под ливнем держала зонтик наклонно вперед, точно пробивая себе дорогу сквозь гущу водяных капель; свободной рукой подхватывала платье почти до колен, для большей грациозности поддерживая его двумя пальчиками; и обнаженные ноги в туфельках на высоких каблуках в каком-то милом танце едва прикасались к луже, которая находилась под ними. А очаровательное личико с кокетливой улыбкой было повернуто к зрителю, точно дождь казался ей не досадным явлением, а пикантной загадочной авантюрой.

Василий Васильевич был в восторге. Так как за несколько дней ожидания он уже свыкся с барометром и не боялся его, то решил заведовать им сам лично, к великой радости редактора и моей. Поздно вечером, когда версталась первая страница, он, благословясь, спустился в типографию и торжественно вручил метранпажу клише.

– Вот, дорогой. Ставьте с Богом.

– Слушаю-с, – почтительно проговорил метранпаж, заранее посвященный в предприятие с дамой. – Даете без зонтика? – добавил он, мельком взглянув на клише.

– Да, барометр показывает «ясно», – авторитетно ответил Василий Васильевич. – Кроме того, я еще его постукал несколько раз. Идет направо.

– Ну, в добрый час.

Указав метранпажу, что даму лучше всего поставить наверху справа, недалеко от заголовка газеты, Василий Васильевич поговорил еще об очередных делах, вручил своему собеседнику два

остальных клише дамы, которые тот должен был хранить в столе, и ушел.

Было около двенадцати часов ночи. Придя к себе в спальню, Василий Васильевич, прежде чем ложиться, открыл окно и пытливо стал разглядывать небо. Ночь была чудесная, тихая, звездная. На небе – ни признака туч. Но это – с южной стороны. А с северной?

Василий Васильевич вышел в коридор, отправился в ванную комнату, чтобы никого не тревожить, открыл окно там и, высунув голову, осмотрел северную часть неба.

– Тоже хорошо, – успокоительно пробормотал он. – Теперь можно ложиться.

Обычно сон был у него крепкий, спокойный, несмотря на нервную жизнь. Однако на этот раз спалось ему не так, как всегда. Из-за барометрической ли дамы, или из-за чего-нибудь другого, но он долго ворочался на кровати, пока уснул. И сколько спал – неизвестно. Но вот ночью вдруг точно какой-то внутренний толчок разбудил его. Он испуганно приподнялся, прислушался… И в ужасе замер.

– Кап, кап, кап… – слышалось за окном зловещее, страшное.

Да, это был дождь. Настоящий хороший освежающий дождь, с теми крупными уверенными каплями, которые бывают только летом.

Соскочив с постели, Василий Васильевич порывисто надел халат, побежал по коридору и опрометью скатился по лестнице вниз, в типографию.

– Остановить машину! – взревел он.

– Не беспокойтесь, Василий Васильевич, – мягко заговорил появившийся из-за наборных касс метранпаж. – Я задержал первую страницу. Слышу – дождь, решил подождать, чтобы прошел. А если не пройдет, разбудить вас.

– Ну, спасибо, дорогой мой, – обрадовался Василий Васильевич. – Отлично. Только разве этот мерзавец пройдет? Послушайте, как подлец хлещет. Проклятый барометр!

– Да, пройти ему, пожалуй, трудно, – почтительно согласился метранпаж. – Значит, как вы полагаете? Поставить дамочку с зонтиком?

– Разумеется!

– С раскрытым?

– Я думаю, с раскрытым! Кто в ливень ходит с закрытым? Ах, Господи, Господи!

Василий Васильевич проследил, как метранпаж вынул из рамы первой страницы легкомысленную даму в легком платье, заменил ее другой, элегантно переходящей через лужу воды, и, успокоившись, вернулся к себе. Открыв окно и удостоверившись, что дождь продолжает идти, и все небо обложено тучами, он сбросил халат, перекрестился, лег в постель и сразу погрузился в глубокий сон.

Было совсем светло, когда Василий Васильевич проснулся, освеженный и отдохнувший от треволнений предыдущего дня. Сладко потянувшись, он приоткрыл глаза, посмотрел в сторону окна… И со страхом зажмурился. Ему показалось, что он еще спит; что все, только что увиденное им, – глупое сновидение, игра испуганного воображения. Нужно только встряхнуться, ущипнуть себя или громко уверенно откашляться – и все пройдет, наступит радостная спокойная действительность.

Василий Васильевич громко кашлянул, слегка приподнял веки, опять взглянул на окно… И глубокий стон вырвался из его груди.

Небо было ясное, нежно-голубое, прозрачно-радостное. В сквере, приветствуя чудесное утро, оживленно щебетали птицы. Благодатные капли ночного дождя сверкали в листве деревьев под косыми лучами взошедшего солнца.

А Василий Васильевич сидел у окна за маленьким столиком, уронив голову, охватив ее руками. И первый раз в жизни ощущал в себе острую ненависть к голубому небу, к ясному утру, к щебечущим птицам.

После этого несчастного случая барометрическая дама просуществовала у нас в газете около двух месяцев и вела себя хорошо. Прекратил ее Василий Васильевич осенью, когда погода стала слишком путаной и когда на один день приходилось нередко по три «дождя» и по три «ясного неба».

А когда кто-либо из читателей спрашивал Василия Васильевича, почему дама не появляется, он угрюмо отвечал:

– Ни одной женщине в мире ни в чем нельзя верить.

Одесские журналисты

Вспоминаются мне, помимо нашего милейшего издателя Василия Васильевича, кое-какие сотрудники «Одесского листка» и «Одесских новостей».

Были среди них, разумеется, и люди солидные, местные профессора или общественные деятели, писавшие скучно, но весьма обстоятельно; были не менее почтенные старые журналисты с радикальным закалом, боготворившие Добролюбова, Писарева, Чернышевского и дававшие торжественные статьи на любые темы, всегда приходившие к выводу, что русский Карфаген должен быть разрушен. Но, в отличие от профессоров, эти либеральные Сципионы обычно оживляли свои произведения ассортиментом цитат, который брали из Пушкина, Гоголя, Грибоедова, из сборника латинских поговорок или из календаря; редкий их фельетон или передовая статья обходились без «сик транзит глориа мунди»*, без «де мортуис ниль низи бене»** или без «свежо предание, но верится с трудом».

Среди этих почтенных журналистов в «Одесских новостях», как и в «Киевской мысли», встречались также и имена политических эмигрантов того времени. Например, имя будущего светила большевистской революции Л. Троцкого. Несмотря на «ужасный гнет» царского правительства, этот страдалец не только печатал в «Одесских новостях» свои статьи, но и исправно получал за них гонорар. А подобного явления, как известно, никогда впоследствии не наблюдалось у новых эмигрантов-журналистов, когда после октябрьской революции Троцкий и Ленин заменили собой «проклятую царскую власть».

Помимо упомянутых главных кадров южнорусской журналистики пришлось познакомиться мне и с многочисленными одесскими репортерами. Это был особый тип людей, без которых не только южные, но и вообще все российские газеты не могли существовать. Репортеры-одесситы всем своим существом, не только душой, но и телом, были созда-

* «Так проходит мирская слава» (лат.).
** «О мертвых или хорошо, или ничего» (лат.).

ны для репортажа и добывания хроники. Это была их стихия. В поисках информационного материала они проникали сквозь закрытые окна и двери; свободно входили туда, где надпись гласила: «вход воспрещается»; накидывались на свои жертвы в учреждениях, на улице, в трамвае, во время купания на Ланжероне или в Аркадии. Король этих репортеров, некий Горелик, в деле интервьюирования проделывал чудеса. Он на ходу вскакивал в поезд, в котором следовала какая-нибудь важная особа, и, появившись в салон-вагоне, требовал интервью до тех пор, пока особа не произносила несколько слов вроде «ступайте вон» или «оставьте меня в покое». Тогда, высаженный из поезда на ближайшей станции жандармами, Горелик мчался в редакцию и, основываясь на высказанных высокопоставленным лицом мыслях, описывал свою беседу в пространной статье.

Из таких наиболее способных и наименее стесняющихся репортеров нередко выходили передовики, фельетонисты и даже редакторы. Так, два репортера «Одесского листка» – Финкель и какой-то другой – возымели гениальную мысль издавать «Газету-Копейку». Успех этой «Копейки» среди мелких чиновников, почтальонов и дворников был потрясающий. Финкель, когда-то продававший на базаре рыбу, сделался маститым редактором и писал сам передовые статьи с грозными предостережениями Петербургу: «В последний раз предупреждаем правительство»… А его компаньон за подписью «Фауст» строчил фельетоны, игриво начиная их такими словами: «Онегин, я скрывать не стану, что делается у нас в Городской управе», или: «Доколе ты, Катилина, будешь злоупотреблять с нашим терпением на базаре, где стоит такая вонь?».

В скором времени, однако, оба приятеля чего-то не поделили – не то славы, не то денег, разошлись и стали каждый издавать отдельную «Копейку». Финкель со своей трибуны разоблачал прошлую общественную деятельность «Фауста», который был комиссионером большой гостиницы и услужливо поставлял гостям все, что им было угодно; а Фауст, чтобы сбить противника с его литературного пьедестала, стал печатать у себя фотографию Финкеля, окруженную со всех сторон рыбами.

Иногда из таких мелких репортеров вырабатывались бойкие фельетонисты и для крупных газет. Помню, например, одного такого – Александра Александровича Т.

Этот Александр Александрович приехал в Одессу из Крыма, где был, кажется, хроникером «Крымского вестника», и предложил свои услуги Василию Васильевичу. Писал он живо и свободно по всем вопросам, в которых разбирался и не разбирался, и сразу завоевал симпатии издателя. Был он брюнетом лет 30-ти какого-то неопределенного восточного типа. Носил и летом, и зимой рыжую барашковую шапку, высокие сапоги и почему-то хлыст. Добродушный, разговорчивый, он вначале всем нам понравился, но постепенно мы начали замечать в нем кое-какие странности.

Прежде всего, по его словам, происходил он из знатного татарского крымского рода, а какого – неизвестно. Затем окончил блестяще юридический факультет, а где – тоже неизвестно. Далее – наездником был он замечательным, брал на скачках призы, но на каких именно – никто не знал. Золотистый жеребец его Джигит пользовался во всем Крыму огромной славой, и Александр Александрович решил привезти его с собой из Феодосии в Одессу. Но во время погрузки несчастный Джигит оступился на сходнях, упал в воду между пароходом и пристанью, утонул, и никто из нас так его и не видел.

Художником Александр Александрович был незаурядным, его марины где-то пользовались огромным успехом. И морское дело знал отлично, так как каждое лето на собственной яхте совершал прогулки с берегов Крыма в Константинополь.

– Скажите, – во время одной из бесед с ним искренно спросил я, – а вы случайно не музыкант?

– Ну конечно, – просто, без чванства, ответил он. – А что?

– Да я ищу для нашего любительского струнного квартета партнера, который играл бы на альте.

– В самом деле? – обрадовался он. – Это удачно. Я как раз играю на альте и имею превосходный инструмент, нечто среднее между Страдивариусом и Амати.

Ответ Александра Александровича воодушевил меня. Как известно, найти альтиста среди музыкантов-любителей

очень трудно. И я в тот же день сообщил своим партнерам эту приятную новость.

Но прошла неделя, другая, третья. При каждой встрече я спрашивал Александра Александровича, когда же он придет ко мне со своим инструментом. Каждый раз он объяснял, что еще не успел распаковать свои сорок пять чемоданов, которые привез из Крыма. И, наконец, когда однажды я снова задал ему тот же вопрос, он тяжело вздохнул и грустно ответил:

– Представьте, дорогой мой, какое несчастье! На днях вешал я на стену картину Рубенса, подлинник, который мне достался по наследству от хана Гирея… Рама у картины очень тяжелая… А внизу, под картиной, на столике без футляра лежал альт… Гвоздь сорвался, рама упала и углом разбила у альта всю верхнюю деку. Пришлось для починки послать инструмент в Италию.

Картина Рубенса и несчастье с альтом уже вызвали во мне кое-какие сомнения. А один случай совсем поколебал веру в точность утверждений Александра Александровича.

Дело в том, что этот всесторонне образованный человек уверял всех своих новых знакомых, что он знает восемь восточных языков, прекрасно говорит по-турецки и по-арабски. В одном доме, где собирались иногда за чашкой чая мы, студенты и курсистки, одна коварная девица решила как-то проверить, действительно ли Александр Александрович, приходивший иногда на наши собрания, знает арабский язык. Она случайно достала санитарную инструкцию, которую местные власти отпечатали для русских мусульман-паломников, ездивших через Одессу на поклонение в Мекку. Инструкция была составлена по-арабски и по-русски; с одной стороны арабский текст, с другой – параллельный русский.

За чаем, когда Александр Александрович явился в качестве заранее приглашенного гостя, безжалостная курсистка привела в исполнение свой жестокий план. Протянула оторванную страницу арабского текста и с невинным видом спросила:

– Александр Александрович… Переведите, пожалуйста, что здесь напечатано?

Мускулы на лице гостя не дрогнули. Наоборот. Лицо приняло радостное выражение. В глазах засветилось снисходительное

любопытство. Он взял в руку текст, небрежно взглянул на него и твердо произнес:

– Ага. Это известная мусульманская молитва.

– А какая именно?

– А вот… Сейчас. «Велик Аллах и Магомет, пророк Его. Алла, Алла! Все в мире происходит по твоему замыслу… Без твоего одобрения не растет на земле трава, не дует в воздухе ветер, не колышется на своем ложе море…»

За столом наступила напряженная тишина. Все были растроганы красотой молитвы, которую произнес Александр Александрович. А когда он окончил говорить, курсистка достала из сумочки страницу с русским текстом и удивленно сказала:

– Как странно! А здесь, в переводе, представьте, сказано: «Все паломники, сходя с парохода, обязаны направляться в санитарный пункт возле таможни, где должны вымыться в бане и сдать свои вещи для дезинфекции…».

Прошло еще месяца два, и все знакомые окончательно перестали верить Александру Александровичу. Даже тогда, когда он говорил правду. А некоторые его и жалели. Да и понятно. Человек, который за все берется, все знает и все умеет, в конце концов вызывает в ближних такую же снисходительную жалость, как человек, боящийся за что-либо взяться, ничего не знающий и ничего не умеющий.

Однако, как ни удивительно, издатель наш почему-то продолжал верить Александру Александровичу, часто с ним совещался, давал темы для статей или какие-нибудь поручения из области репортажа. И Александр Александрович старался. Советы давал решительные, хронику приносил исключительную, а в фельетонах своих окончательно закусывал удила и не знал удержу в цитатах. Какую-нибудь остроту, подслушанную в кафе Робина, он выдавал за восточную мудрость; смешивал слова Цезаря со словами Наполеона; а царю Соломону приписывал все изречения, происхождение которых ему было неясно.

Так жил и работал во славу южнорусской печати Александр Александрович Т., который потом перебрался в Москву и там во время революции давал населению точную информацию о происходивших событиях.

Артистическая жизнь

За время сотрудничества своего в «Одесском листке» немало встречал я любопытных фигур и популярных людей того времени.

Видел я Уточкина*, известного гонщика-автомобилиста, который стал одним из наших первых авиаторов. Это был замечательный человек, с отчаянной рыжей головой, с бесстрашной душой. На Николаевском бульваре он проделывал опыт: разгонял свой автомобиль до предельной скорости по направлению к обрыву и у самого парапета внезапно останавливался. На аэроплане, построенном им самим из какого-то примитивного материала, он смело совершал первые свои авиационные опыты, лихо перелетая через заборы и деревья на Малом Фонтане, приводя в ужас и в восторг присутствовавших зрителей.

Были тогда в Одессе и знаменитый борец Заикин**, и популярный певец Морфесси***, и приятель А.И. Куприна клоун Жакомино****, и сам Куприн. Веселились они там изрядно, а однажды на потеху публики устроили в пользу студентов спектакль, поставив «Прекрасную Елену». Куприн играл Калхаса, Заикин – Ахилла, Морфесси – Менелая. Что происходило на сцене – жутко сказать. Заикин-Ахилл пыхтел, рычал и грозно шевелил своими бицепсами; а Куприн-Калхас, для храбрости хвативший заранее большое количество семидесятиградусного нектара, стоял в одежде жреца среди цветов со слезами на глазах, бормотал что-то неподобное и умоляюще поглядывал на кулисы, намереваясь туда улизнуть.

Куприн и Бунин в те времена часто приезжали в Одессу и подолгу в ней жили. Куприна, конечно, публика больше любила и как автора, и как человека. Он держал себя мило, благожелательно, без всякой рисовки и писал так же, как жил: искренно,

* Сергей Исаевич Уточкин (1876-1916) – авиатор, вело- и автогонщик, пловец, фехтовальщик, боксер, футболист.

** Иван Михайлович Заикин (1880-1948) – борец, авиатор, артист цирка.

*** Юрий Спиридонович Морфесси (1882-1949) – эстрадный и оперный певец (баритон). С 1920 в эмиграции, жил в Белграде, Париже и Берлине.

**** Жакомино (настоящее имя Джакомо Чирени; 1884-1956) – клоун, цирковой артист. Выступал в петербургском цирке Чинизелли, много гастролировал по России. Снимался в кино.

просто, неряшливо. Писал то, что думал и чувствовал. Талант повествования в смысле выдумки и занимательности сюжета был у него выше, чем у Бунина. Кроме того, в его произведениях наблюдалась и мягкость, и нежность, и некоторая любовь к людям, им описываемым. А Бунин уже с молодости проявлял сухость, черствость, и из всех героев своих повестей и рассказов любил только себя. Если Куприн, в силу своей безалаберной жизни, писал хуже, чем мог дать его талант, то с Буниным было наоборот – благодаря своей усидчивости и тщательной обработке написанного он всегда казался выше своего действительного таланта.

Из-за печальной склонности к земному нектару, так ярко обнаружившейся в исполнении партии Калхаса, Куприн не попал в Академию наук по отделу изящной словесности, на что, по существу, имел несомненное право. К слову сказать, с нашими изящными академиками при выборе их произошло грустное недоразумение. Кандидатами были Чехов, Горький, Мережковский, Куприн, Бунин. Но президент академии – великий князь Константин Константинович – отклонил кандидатуру Горького из-за близости этого просвещенного босяка к революционным кругам. Чехов обиделся за Горького и отказался. Мережковский не попал в число бессмертных, кажется, за то, что интересовался «черными мессами». А Куприн своим образом жизни совершенно не походил на академика, особенно по ночам, когда академики должны спать и набираться сил для дальнейшей полезной деятельности.

Так, например, рассказывали, что, будучи еще офицером Днепровского полка, он в Проскурове подготовился к Академии Генерального штаба, поехал в Петербург и блестяще начал сдавать экзамены. Но когда испытания уже приходили к концу, злополучного офицера-днепровца вызвали в канцелярию и заявили, что дальнейшие экзамены ему держать запрещено. Оказалось, что перед отъездом из Проскурова несдержанный Александр Иванович кутил в местном летнем саду и при помощи своих собутыльников выкупал в реке Буге присутствовавшего помощника пристава. Общими силами помощник был погружен в воду и после этого извлечен на берег. Но, к сожалению, Куприн в этой истории сам тоже не вышел сухим из воды: местные власти, помимо командира полка, дали знать губернатору, губернатор сооб-

щил в Петербург… И Академия Генерального штаба Куприну улыбнулась.

Ясно, что при таком послужном списке бедный Александр Иванович получил улыбку и от Академии наук. Таким образом, все кандидаты и бессмертные постепенно отпали, и в конце концов все российское литературное бессмертие сконцентрировалось на одном только Бунине. Бунин действительно вполне подходил под тип академика. Был благоразумен, тих и умерен во всем, кроме тщеславия; пил в меру, по-академически, и не дружил с клоунами и борцами, чем выгодно отличался от Куприна; «черными мессами», подобно Мережковскому, не интересовался; а политически был либералом, но только настолько, чтобы быть желанным гостем в левых издательствах. Относился он к своей работе с уважением, с трезвым рвением, и гениально умел под блеском формы своих произведений скрывать нищету их содержания.

Одесские журналисты, художники, артисты оперы, драмы, оперетты и их друзья нередко объединялись по ночам в пивной Брунса или в каком-нибудь ресторане. Иногда на этих собраниях бывали Куприн и Бунин, что поднимало у всех настроение. Обычно же протекали эти собрания не так оживленно, не было центра внимания. Все разбивались на группы, говорили о своих профессиональных делах. В одном углу хорист оперы хвастался, что ему дали сольную партию в «Пиковой даме», где он должен был пропеть всего шесть слов, но очень ответственных: «Хозяин просит дорогих гостей в зал». Пропел эти слова начинающей компримарио отлично, с блеском и со всеми нужными художественными нюансами, но, к сожалению, вместо «в зал» сказал «в зале». Режиссер за это на него напал и долго ругался. А между тем какая тут разница?

А в другом углу уже не хорист и не компримарио, а один из солистов с мировой южнорусской известностью говорит по обыкновению о своих головокружительных успехах.

– Оскар Семенович, – почтительно спрашивает его слушатель репортер, подавленный величием своего собеседника. – А скажите, откуда у вас на лице такой длинный шрам, извините за выражение? Это – от сабельного удара?

– Нет, от бутылочного, – скромно отвечает тот.

Южнорусские художники имели у нас свою собственную организацию, нередко устраивали выставки. А иногда бывали здесь выставки «Мира искусств», или кто-нибудь привозил из Москвы и из Петербурга картины какого-либо из крупных художников.

Помню, как один журналист, А.И. Филиппов, решил познакомить одесскую публику с Рерихом. В настоящее время при увлечении Пикассо и Матиссом Рерих кажется архаическим художником, вроде Чимабуэ. Но тогда он был для многих дерзким новатором, ужасным декадентом. Поэтому одесская интеллигенция всколыхнулась и двинулась смотреть Рериха.

– Ну что? – явившись на выставку, спросил я стоявшего у входа Филиппова, с которым был раньше знаком. – Как будто ваше дело имеет успех?

– О да, – радостно ответил он. – Многие ругаются, ужас!

И Филиппов был прав. Вскоре после того, как я прошел внутрь и медленно, с долгими остановками, стал обходить стены, недалеко от меня разыгралась любопытная сцена.

Почтенный седой генерал в сопровождении пожилой дамы, очевидно супруги, подошел к тому месту, где висела картина «Каменный век». Взглянув на полотно, генерал издал сначала зловещее шипение, затем тяжело засопел, фыркнул. И в тишине зала, по которому беззвучно двигались посетители, раздался его грозный голос:

– А это еще что такое? Муся, посмотри в каталог!

– Это?.. «Каменный век», – уныло ответила дама.

– Каменный век? – голос генерала поднялся на несколько тонов выше и принял еще более зловещий характер. – Ну и свинство! Издевательство! Черт знает что!

– Да, – пренебрежительно согласилась дама. – Безобразие.

– Яичница с луком! Мазня! – продолжал бушевать генерал. – Разве это трава? А это – камни? И где он видел такое небо? В какой губернии? Я понимаю, можно дать траву редкого цвета, и темно-зеленую, и с желтизной. Но ты хоть несколько травинок обозначь, чтобы люди видели, суша это или болото!

Войдя в роль беспощадного критика, генерал не мог уже остановиться. Вокруг собралась толпа. Некоторые одобрительно поддакивали, некоторые саркастически улыбались, считая, что гене-

ральский чин не позволяет человеку быть ценителем живописи. Наконец на шум явился и сам Филиппов.

– В чем дело, ваше превосходительство? – любезно и даже чуть подобострастно спросил он. – Вы чем-нибудь недовольны?

– А как вы думаете: может здравомыслящий человек быть этим доволен? Я пришел наслаждаться искусством, получить впечатление, а мне подносят такое, от чего печень болит! Я человек старый, я не желаю, чтобы меня раздражали! И где тут, главное, каменный век? Вообще, кто его видел?

– Простите, ваше превосходительство, но, очевидно, он так представлялся воображению автора.

– Мало ли что представлялся! Не все, что представляется, можно показывать. Надо, чтобы не только ему, но и другим было интересно смотреть!

– Простите, ваше превосходительство, но Николай Константинович Рерих – известный живописец. В Третьяковской галерее имеются его картины. А кроме того, он состоит директором петербургской Художественной школы, под почетным покровительством ее императорского высочества великой княгини Марии Павловны.

– Все равно, в Третьяковской или не в Третьяковской! А как вы сказали? Чьим покровительством?

– Ее императорского высочества великой княгини Марии Павловны.

– Августейшим покровительством? Ага. Это, разумеется, огромная честь. Хм. Да. Разумеется. Но ты дорожи в таком случае покровительством! Надо соответственно и краски подбирать, и сюжеты! Оно, сказать по правде, некоторая древность в картине чувствуется. Безусловно. И в траве, и в камнях… Но почему все-таки небо так мрачно? Я понимаю, суровость необходима. Это вам не современность, а седая старина! Люди в шкурах ходили! Но к чему слишком подчеркивать? Так вы говорите – ее императорское высочество? Уж ее высочество, несомненно, в живописи толк понимает, это вы извините!

Генерал успокоился. Сделав свое дело, Филиппов ушел. Пробыв некоторое время в соседней комнате, я вернулся опять в главный зал и увидел: его превосходительство стоял по-прежнему возле

«Каменного века», окруженный новыми посетителями, и говорил кому-то из них:

– Это, батенька, понимать надо. Прочувствовать. Сначала, может быть, и не ухватишь, в чем тут сила. Даже неправдоподобным покажется. А между тем, извольте вдуматься, когда это было? Здесь вам не времена Наполеона или даже Дмитрия Донского. Это теряется во мгле веков! Тут сами скалы древностью окутаны. И трава. Даже небо небывалое, доисторическое. Рерих – то вам не какой-нибудь встречный поперечный художник. Находится под августейшим покровительством ее императорского высочества великой княгини Марии Павловны!

Татьяна Рогозовская

1918-1919-1920… Киев – Одесса – Константинополь…

Газеты тех легендарных лет нельзя читать. Как и книги, «их можно только перечитывать».[1] Музей М. Булгакова в Киеве отметил 100-летие действия романа «Белая гвардия». Но вот еще один юбилей – 100 лет со дня смерти А.С. Рославлева[2], автора стихов, рассказов, сказок, которые иллюстрировал Билибин, и… скандальной эпиграммы на памятник Александру III.[3]

В Киев 1918 года съехались десятки тысяч москвичей и петербуржцев.[4]

Среди них были и самые блистательные перья России, и на город обрушился «Газетный дождь», через несколько месяцев перекочевавший в Одессу.[5]

В газетах имена Тэффи, А.С. Грина, Саши Черного, Аверченко, П. Пильского… Дона Аминадо. Перед отъездом Пильский не очень лестно отозвался о Киеве (а вот Одессе при встрече пропел дифирамбы!). Дальше – дорога на юг. Для кого-то – в Крым, но в основном – в Одессу.

Дон Аминадо, всеобщий и всегдашний любимец (даже И.А. Бунина!) попрощался более толерантно:

Прощание с Киевом

Была без радости любовь,
Разлука будет без печали.

Не негодуя, не кляня,
Бегу под небо голубое.
Пусть будет чуден без меня

И Днепр, и многое другое.
Не так уж тесен Божий мир,
А мне мила моя свобода,
Adieu, Аскольд! Прощай и Дир!
И… хай живе меж вами згода![6]

В «Белой гвардии» оперетка появляется во 2-й главе: «…Тальберг <…> сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием».[7]

Роман заканчивается вопросами:

«…звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них?

Почему?»[8]

В романе звучат не только оперные мотивы, не только «оперетка», но и оперетты.

Мюзикл все же не заменит оперетту и не отменит оперу. А вот и Рославлев:

Оперетка

То, что стряслось с нами, приютившимися под сенью «праматери», не происходило еще ни на одной сцене.

Для Украины, пожалуй, и для всего мира – перевернулась страница истории. Для совдеповских парий – перевернулась страница опереточной партитуры. Из «Птичек певчих» или «Зеленого острова»?[9] Сыгранную на наших спинах оперетку можно назвать «Единая, Неделимая», или: «Пан Гетман Забавляется»[10], или еще как. Дело не в названии. Дело в том, что на берегах Днепра, среди декорации из клубов, паштетных, державных учреждений и самодержавной помпы, перед глазами одураченной российской интеллигенции прошли все герои и типы знакомых опереток, начиная от Герцога Лорана из «Маскотты»[11] и губернатора из «Птичек певчих» и кончая Бомбардосами и Патанесами из «Зеленого острова» и опереточными держимордами. Дело еще в том – и тут

вся соль, – что киевские хлеба и украинское благорастворение воздуха сделали из зрячих – слепых, из умных – ослов. Правда, в благословенную Украину мы уже скатились с отшибленными мозгами.

Правда, сияние Ленина и Троцкого многих из нас ослепило.

Но чтобы оглупеть и ослепнуть до такой степени – кажется, не ждали от нас этого ни большевики, ни самостийники, ни немцы, ни французы. Глупость Родзянко[11], бестактность Милюковых, самовлюбленность Заславских[12] вошли у нас в пословицу. Но ведь не вся Россия, творившая историю последних лет, из этих экзотических типов. Оказывается – вся. Вот чего мы не подозревали и что отлично усвоили себе украинский Лоран и Грозный Петлюра. Но Лоран, собрав полный сбор, удрал. А Грозный судья грядет. И трясутся великороссийские поджилки.

Я ехал сюда в августе. Кроки Киевской оперетки нарисовали мне соседи по вагону. Уже тогда я знал, что страной управляет какая-то каморра («Протофис»[13]), что Гетман – ея игрушка, и что при гетманском дворе – кол<л>екция всероссийских идиотов и авантюристов. Не один, а десятки Распутиных управляли Украиной – так уверяли меня аборигены. А над «старцами» – тевтонский каблук. На Украину будто бы переселились все зубры Беловежской пущи. И пасутся они на жирных украинских пастбищах, сторожимые немецкой хворостинкой. На Украине будто бы восстановилось крепостное право с поркой плюс расстрел. Украинские лэ<н>д-лорды будто бы от паники перегнулись к бешенству и расправляются с крестьянами, как в Совдепии расправляются с дворянами. В державных украинских министерствах будто бы все покупается и продается.

– Есть у вас знакомый сахарный заводчик, – предложил мне один спутник, – сойдитесь с ним, а я вам выхлопочу разрешение на выпуск ста тысяч пудов сахару, и мы наживем миллион. В Киеве миллионеров больше, чем нищих. А то давайте клуб. Шиикин в месяц нажил два с половиной миллиона. А то – лото… Двадцать тысяч в день чистых…

Жуть, нагнанную этими разговорами, быстро согнал Крещатик. Он весь парился в жаре бабьего лета, весь млел от обжорства,

спекуляции и разврата. В Париже не водилось столько красавиц. В Лондоне не ели столько ростбифов. В Москве столько не пили. В Монте-Карло столько не играли. Украинский Вавилон, о бок с застенком Совдепии, дразнил и шутил. Как гуттаперчевый мешок, растягивался желудок, как струны, натягивались нервы, как эфиром наполнялась голова. В дьявольском угаре люди и картины сменялись на ленте. Кистяковский[14], Лизогуб[15], Палтов[18], Ржепецкий[17], Келлер, Долгорукий… Не все ли равно! Лишь бы работали рестораны, клубы, любили женщины, грело южное солнце. Бледные тени из Совдепии быстро розовели, вздувались, наглели. Пуришкевич[18] прибыл без панталон; а через три дня на нем были не только панталоны, но и генеральские погоны, и Владимир на шее.

Толстые петроградские и московские банкиры приползали сюда, как раздавленные черви, а через неделю кормили и поили своих старых приживальщиков в пышных реквизированных квартирах, оборачивали киевскими миллионами и дурачили киевских баранов.

«Ищу квартиру *независимо* от цены!»[19]

Сто тысяч за три комнаты, триста – за шесть… Восемьсот рублей шампанское, сорок рублей – стакан сода-виски… Как хлопья снега, носились в воздухе денежные ошмотья, как смола обжигали песни, как уголья впивались сладострастные, грозные очи, как вьюга крутила утробная жизнь…

На этом вот фоне и разыгрались «события». Мы ежедневно читали приказы Лорана, губернатора Патакеса и Бомбардоса[20]. В приказах этих за нами обеспечивали то, чем мы грели сытое брюхо, набитый карман, удовлетворенную похоть.

Для тех же, кто еще не утратил способность мыслить, Заславские рисовали ужасы Совдепии, Пиленки[21] – подвиги добровольцев.

Наш поникший дух зажали между угрозой большевиков и светлым раем добровольцев. Менял свой «курс» Лоран, грызлись между собой Патакес и Бомбардос; губернатор любил певичку, а певичка любила разбойника.

Плевать! И долой большевиков! «Петлюровские банды»? Бей их! Добровольцы? Ура! Единая и неделимая?.. Шампанского!..

Потеряв веру в Антанту, Лоран уверовал в немецкое шампанское.

Добровольцы напились. И поплыл Киев, а когда вытрезвели – оказалось, что петлюровские «банды» – прекрасные войска, а украинское гетманство – оперетка.

Рославлев

«Свободные мысли», пятница, 20 декабря 1918, № 14.

Примечания

[1] Набоков В.В., а задолго до него Плиний-младший – Плинию-старшему.

[2] Росла́влев, Александр Степанович (1(13).III.1883, Коломна, ныне Моск. обл., – 10.XI.1920, Екатеринодар, ныне Краснодар).

[3] Третья дикая игрушка / Для российского холопа: / Был царь-колокол, царь-пушка / А теперь еще царь-ж.па.

[4] «170.000 петербуржцев и москвичей, проживающих ныне в Киеве». (Из письма Ф.Л. Эрнста Н.К. Гудзию. 30.X.1918 г.).

[5] См.: Бурмистренко С., Рогозовская Т. «47 дней из жизни Города». Хроника конца 1918 – начала 1919 года». Collegium #1-2, 1995. Выпуск посвящен Михаилу Булгакову.

[6] Там же, с. 133.

[7] Булгаков М.А. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 1, с. 197.

[8] Там же, с. 428.

[9] «Перикола» («Птички певчие»), «Сто дев» («Зеленый остров»).

[10] «Маскотта» («Талисман») – оперетта Эдмона Одрана. В России – «Красное солнышко».

[11] «Рожают овцы под брезентом / Родзянко будет президентом?» – «Азбука «Чертовой перечницы». См. «Булгаковский сборник». Материалы по истории русской литературы XX века. Таллинн, 2001, с. 200.

[12] Заславский Д.И. (1880-1965) – одна из омерзительнейших фигур в истории не только межэтнических отношений, но и в сфере советского цензурного террора. Достаточно напомнить о его деятельности в газете «Правда» с 1928 года – в роли костолома, о травле О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, многих инакомыслящих, исправного и рьяного подписанта антиизраильских «писем советской общественности» и о других «подвигах». Предисловие М. Вайскопфа к статье Д.И. Заславского «Евреи в русской литературе».

[13] Союз промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства Украины («Протофис»). Претендовал на объединение всех предпринимательских организаций юга России.

[14] Кистяковский Богдан (Федор) Александрович (4(16) ноября 1868, Киев, – 16 апреля 1920, Екатеринодар). Российский и украинский правовед, философ и социолог неокантианской ориентации.

[15] Лизогуб Федор Андреевич (6 октября 1851 года, Седнев, Черниговская губерния, Российская империя – 1928 год, Белград, Королевство сербов, хорватов и словенцев) – украинский общественный, политический и государственный деятель, председатель Рады министров Украинской державы (гетмана П.П. Скоропадского) и министр внутренних дел Украины (до июля 1918).

[16] Палтов Александр Александрович (1867 – ?) – чиновник министерства путей сообщения, камергер, с 3 мая по 20 ноября 1918 года товарищ (заместитель) министра иностранных дел Украинской державы, личный политический советник гетмана. Автор многих политических документов и резолюций эпохи Второго Гетманата.

[17] Ржепецкий Антон Карлович (1 сентября 1868, Киев, Российская империя, – 6 декабря 1932 года, Ницца, Франция) – украинский общественный и политический деятель, министр финансов Украинской державы (май-июнь 1918 г.), член партии конституционных демократов.

[18] Пуришкевич Владимир Митрофанович (12 (24) августа 1870 года, Кишинев, – 11 (24) января 1920, Новороссийск) – русский политический деятель правых консервативных взглядов, монархист, черносотенец. Был видным оратором.

[19] «И. Василевский (Не-буква) ищет квартиру о 2-3-4 комнатах. Можно с обстановкой. Уступившему передам комнату или две. Адрес: Александровская ул., 41, кв. 15». – Collegium #1-2, 1995, с. 133.

[20] Патакес и Бомбардос («Тайны Канарских островов»).

[21] Пиленко Александр Александрович (22 июня 1873, Гатчина, – 21 марта 1956, Париж) – известный российский правовед, доктор международного права, специалист в области патентного и авторского права.

Подготовка публикации и комментарии Т. Рогозовской

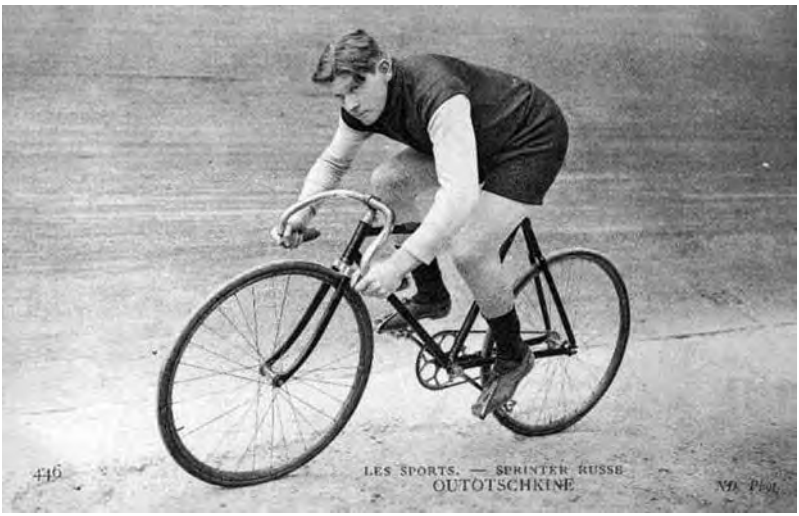
Сокровища из сокровищницы

332 Татьяна Щурова
«Человек с душой Икара»

Татьяна Щурова

«Человек с душой Икара»

Так называли Сергея Уточкина (1876-1916), ставшего еще при жизни легендой. Но и более века спустя это имя в обширном пантеоне Одессы до сих пор востребовано, по-прежнему вызывает интерес удивительная судьба этого «любимца публики», которая была богаче любой писательской фантазии. Увлекла эта тема и нас. Тем более что, работая с редчайшей старой одесской периодикой начала прошлого века, мы имели возможность собрать многочисленные отклики о бурной спортивной жизни Уточкина. Он хотел быть первым в плавании, прыжках с высоты в воду, гребных и парусных гонках, беге, стрельбе из пистолета, катании на коньках, фехтовании, футболе, теннисе, верховой езде, борьбе, боксе. Его участие в состязаниях на циклодроме возле Александровского парка собирало толпы, а знаменитый трюк – спуск на автомобиле



с Потемкинской лестницы – вошел в историю. Он был чемпионом России и обладателем гран-при международных соревнований по велоспорту в Лиссабоне. Необыкновенно популярными были его полеты над Одессой на воздушном шаре.

Международное признание завоевал Уточкин в качестве авиатора. Он стал вторым русским летчиком после Михаила Ефимова. Свой первый полет Уточкин совершил в 1910 году совершенно без инструктажа, во что сегодня трудно поверить. Множество полетов – в Киеве, Харькове, Варшаве, Лодзи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Кишиневе, Тбилиси… Известен также его полет над пирамидой Хеопса в Египте.

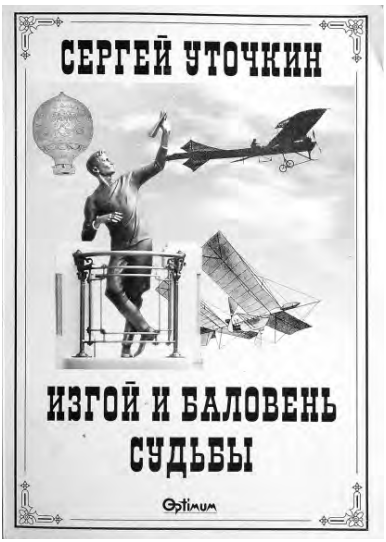
Тем не менее, по меткому определению одного из современников Уточкина, «у его колыбели было много добрых фей, разбросавших свои дары, но злая фея их оплела нитью трагизма». Он и сам многое понимал о себе, и с горьким юмором замечал: «…Оттого, что судьба бьет меня по спине своим молотом, у меня вырастут крылья за плечами».

А. Куприн писал о нем как о «самой яркой по оригинальности и по душевному размаху фигуре», которая, однако, не смогла полностью реализоваться: прожив неполных сорок лет, он ушел из жизни раздавленным, с клеймом безумца, фактически отброшенным толпой почитателей.

Очень жаль, что Сергей Уточкин не успел написать книгу о своей жизни, но и дошедшие его публикации в старой периодике дают представление о явной литературной одаренности, умении передать свои ощущения и драматизм жизни и позволяют судить о глубине этой натуры.

Как правило, встречи с этим человеком, «рожденным для полета», в котором в то же время часто «поэзия побеждала механику», навсегда оставляли след в душах талантливых и восприимчивых ко всему незаурядному людей. Из этих материалов вы-

кладывается любопытная мозаика жизни и деятельности Уточкина. О нем восторженно писали Л. Утесов, П. Нилус, Вл. Гиляровский, К. Чуковский, В. Катаев, К. Паустовский.



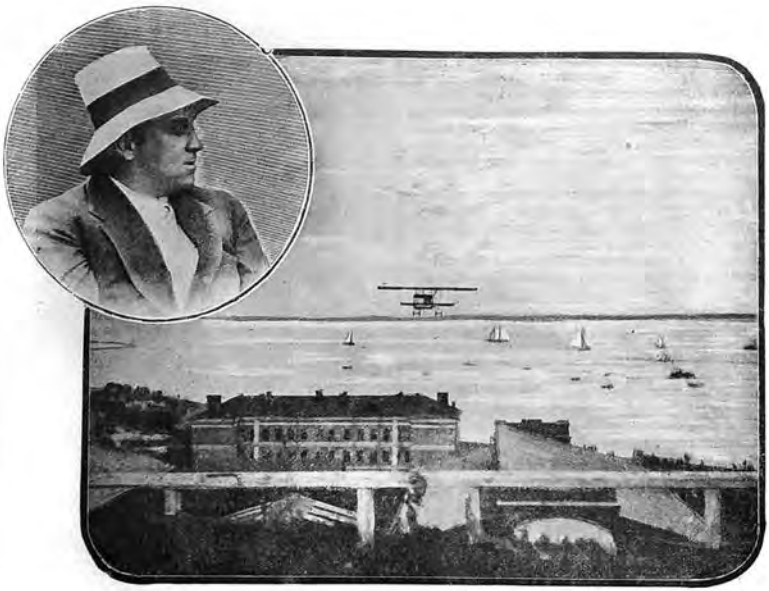
В 2005 году мы с главным редактором издательства «Optimum» Александром Таубеншлаком собрали книгу «Изгой и баловень судьбы». Туда были помещены редкие публикации из, увы, рассыпающейся сегодня старой одесской периодики и интересные воспоминания современников об этом «сказочном герое Одессы». Тираж книги в 300 экземпляров уже стал библиографической редкостью, поэтому мы решили в номере альманаха, посвященном Дню Одессы, повторить фрагменты из этой книжки.

Сергей Уточкин

В пространстве

Крепко привязанное к земле человечество в течение тысячелетий тщетно стремилось оторваться от своего грустного шара и унестись ввысь, поближе к лазури и свету, но прочны были приковавшие цепи…

Ползать, влача грустную жизнь в двух измерениях – вперед или, чаще, назад, да вправо или влево, – об этот фатальный удел разбивались мечты тех, кому грезилось третье измерение, гордое и прекрасное – высота… Невидимая, неуловимая воздушная



Полетъ авіатора С. И. Уточкина 3 іюля надъ Одесскимъ заливомъ.
Слѣва авіаторъ С. И. Уточкинъ.

стихия беспощадно уничтожала все попытки слабого человека завладеть ею.

В этой вековой борьбе, казалось, для людей был единственный исход – поражение.

Но воздух был обречен.

Воля и творчество людей подтачивали его силы медленно, но неуклонно. Через мост неудач, жертв, жизней – люди должны были прийти к победе, и они пришли. Пришли только теперь, магически претворив парусину, дерево и сталь в могучую птицу – аэроплан.

Правда, уже свыше ста лет назад люди отрывались от земли и – как они думали, обманывая себя, – летали. Но разве можно гордым словом «полет», словом, знаменующим свободу и силу, – называть то жалкое, безвольное, беспомощное состояние, ког-

да человек вырывался из рабства земли только для того, чтобы угодить в еще большее рабское подчинение воздуху, всем движениям которого он покорно повиновался?!

Нет. Только теперь голубой простор свободного неба стал достоянием человечества и, презирая закон тяготения, люди могут покинуть землю, и, подобно птицам, населить небо, с восторгом купаясь в его лазури.

Кажется, я всегда тосковал по ощущениям, составляющим теперь мою принадлежность, принадлежность счастливца, проникшего в воздух. Мне часто приходилось летать во сне, и сон был упоителен. Действительность силой и яркостью переживаний превосходит фантастичность сновидения, и нет в мире красок, способных окрасить достаточно ярко могучую красоту моментов, могущих быть такими длительными.

Мой первый полет длился двенадцать минут. Это время ничтожно, когда оно протекает в скучной, серой, мертвящей обстановке жизни на земле, но – когда летишь – это семьсот двадцать секунд, и каждую секунду загорается новый костер переживаний, глубоких, упоительных и невыразимо полных. Главная же их красота и прелесть – это то, что все привычные мысли, чувства, желания – исчезают, и живешь во всех отношениях так, как никогда еще не жил.

Для передачи этих новых переживаний слов еще нет, их нужно выдумать, да и разобрать на частички эту могучую волну трудно и излишне. Тому, кто этого сам не испытывает, этого все равно не уяснить, а тому же, кого коснется и захватит эта красота, – разве не все равно, из чего она слагается.

Доминирует одно властное желание – бесконечно длить этот момент и никогда больше не касаться земли.

Со стороны мне говорят – это опасно. Так что же? Гордый риск претворять мгновение, прекрасное, опьяняющее, звучное и свободное, во тьму мрачную, но и для вас, осторожных, все же такую же неизбежную… Разве вы не уйдете в вечность? Будемте же жить, овладеем природой всецело, перестанем бояться полного слияния с миром потому, что это может случиться намного раньше. Всех зову с собою в мое новое прекрасное царство…

Сказка оборвалась…

Я спустился. Легкий, как сон, стоял аэроплан на фоне восходящего солнца – трудно было представить, что несколько минут тому назад он жил и свободно двигался в воздухе, подчиненный моим движениям, и, как сон, быстро проходили мои переживания пред полетом.

Три дня дул сильный холодный северный ветер, и только предрассветной мглой владел некоторый относительный покой – и я решил воспользоваться ранним утром для совершения своего первого полета.

Два последние года мысль о возможности покинуть землю и воплощении ее в действительность владела мною всецело, занимала все мое время и трудоспособность. С жадной завистью я следил за развитием авиации. Первые правильные полеты Фармана, Делагранжа, Райтов – и бесконечно радовали, и остро отравляли меня. Радостно было, что химера стала явью, что звенья цепи разорваны, но было обидно, что я вынужден стоять вдали от дела, к которому рвался всем своим существом. Я чувствовал, что, владей я оружием, воздух тотчас стал бы моим, но обречен был бездеятельно присутствовать при чужих победах.

Это было невыразимо тяжело, но еще тяжелее было то, что все мои упорные, неутомимые, сопряженные с многими жертвами попытки самостоятельно добыть нужное мне оружие и самому построить аэроплан – встречали одно: насмешки… Наконец в одно утро прекрасно обставленный, в смысле наличности фармановского аэроплана, понимающего механика и нужных людей вокруг, я собирался совершить свой первый полет.

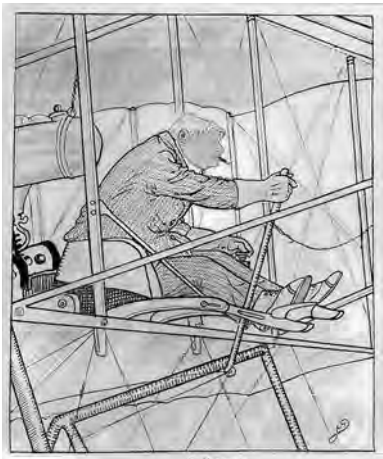
Это был трагический момент.

Все это выглядело как будто уверенно и хорошо. Аэроплан так на вид прочен, вынослив, органы управления просты и послушны, мотор мощно вращает стройный винт… Но… Ах, много есть этих «но». Лучше не перечислять. Нужно лететь.

Когда видишь летящий аэроплан, управление им кажется очень простым, если совершенно не знаком с авиацией: я был о ней достаточно осведомлен, чтобы сознавать, насколько трудно это дело. Я знал, как нормально создаются авиаторы во Франции – путем постепенного обучения под руководством опытных пилотов, причем сперва просто приобретают привычку к аэроплану, затем ездят на нем как на автомобиле, потом пробуют небольшие, низкие полеты по прямой; и наконец виражи – все это под контролем, на больших ровных полях, со всех сторон открытых.

Поле, на котором я готовился совершить полет, во всех отношениях изобиловало опасными свойствами: насыпи, бугры, столбы, канавы, здания и заборы со всех сторон. Здесь нельзя было попробовать полететь – нужно было сразу начать летать, притом искусно, умело, высоко – выше препятствий. Прибавьте, что я не имел и не мог получить никаких указаний от уже летавших лиц, что я не проходил никакой предварительной подготовки и до того ни разу не садился ни на какой аэроплан, кроме тех, которые строил сам и которые не могли оторваться от земли ввиду технических пробелов. Учтите еще мое психологическое состояние, и станет ясно, что мне предстояло одно из двух: либо создать неслыханный в истории авиации факт – как человек, располагавший лишь правильностью, точностью и быстротой в ощущениях и распоряжавшийся своими движениями, смог с места в карьер совершить полет, либо к именам Лилиенталя, Делагранжа, Фербера, Лефевра, Феркандеза (имена погибших авиаторов. – **Сост.**) прибавить свое, обратившись в бесформенную массу и брызги, закончить этой кровавой точкой свою деятельность в авиации.

Однако я ни на мгновение не сомневался, что мне сразу удастся полет, нимало не смущали меня «похоронные» разговоры некоторых друзей вокруг. Я верил в себя. «Почему, – думал я, – во многих разновидностях спорта я легко овладевал каждым и очень скоро постигал все тонкости его?» Глаз мой выработан, рука тверда, энергия и воля… Я улыбнулся и, садясь на свое место, поглядел на грустную кучу красного кирпича – нашу тюрьму, стены которой начали окрашиваться ласковыми лучами восходящего солнца. И подумал: через несколько мгновений я буду над нею.



С. Уточкинъ.

Вокруг меня несколько любопытных и наблюдательных приятелей. Боятся за меня… Но вот раздается команда моего механика Родэ… Мертвая машина ожила…

Резкий свист винта, и дробно-ритмичный шум мотора заглушает все звуки вокруг. Я овладеваю управляющими рычагами и, выждав, пока мотор наберет полное количество своих оборотов, поднимаю левую руку.

Людей, державших хвост аппарата, расшвыривает по сторонам, и аэроплан, вздрогнув, ринулся в пространство. Все мое внимание занимает представитель новых измерений – верха и низа, т. е. руль глубин. При помощи рычага, управляющего рулем глубин, я держу плоскость последнего параллельно земле и, чувствуя, что скорость достаточна, резким движением поднимаю атакующую часть плоскости к небу, и вся огромная машина со мною прыгает в воздух, увлекаемая дальше, остается в нем… Наконец!!! Дикое настроение охватывает меня. Безудержность, упоение, восторг новизны ощущения. Земля, мой враг, уже в десяти саженях подо мною. Я во властных объятиях нового друга – ничем он мне не угрожает, он пленительно заманчив, бесконечно чист, молчанием своим красноречиво говорит: «Приди». И я несусь, подымаясь все выше и выше, погруженный в свои заботы с управительными рычагами. Делаю легкое движение рулем глубины вниз – аэроплан покорно склоняется к земле, вверх – и он гордо взлетает… «Нужно короче», – думаю я. Ноги мои занимают рычажки поворотного руля; пробую нажать левую сторону – и аэроплан послушно уклоняется влево, я выравниваюсь и правой стороны не трогаю – эффект угадываю, и нет надобности терять мгновений на проверку. Остается попробовать самый тонкий эффект крыльев, дающий

возможность сохранять ровное положение всей машины в воздухе. Тот же рычаг руля глубин при движении им вправо – опускает правую сторону, поднимая левую, и наоборот. Хотя аэроплан идет совершенно ровно, двигаю рычаг вправо, и невидимая сила плавно давит на правую сторону; перевожу налево, и эффект получается обратный, я радостно вскрикиваю – все так, как я ожидал, чувствовал и продумывал раньше, чутье не обмануло меня, и в упоении победы иду выше и выше, теперь овладев движением, хочу привести в исполнение свой замысел, пролететь над тюрьмой; начинаю делать вираж и, вопреки советам, стараюсь и на повороте выигрывать вышину, но чувствую, что вся машина начинает садиться на хвост. Холод проникает в мой мозг… уже более 30 саж. Я над землей, и сесть на хвост значит не сесть больше нигде и никогда… Плоскость руля глубин теряет свою упругость, рычаг управления – вес, я чувствую себя в отчаянном положении, а аппарат продолжает принимать вертикальное положение, станет свечкой… Я вздрагиваю и движением быстрым, как мысль, привстав, метнул рычаг вперед, момент ужаса, неопределенности забирает, правлю… выравнивается аэроплан – я победил, и чувствую, что никогда вперед не попаду в подобное положение. Выхожу на прямую нечувствительно, громадная масса тюрьмы плавно проплывает далеко подо мною.

С ужасом, такой свободный, властный, легкий, трепещущим взором гляжу на мертвую грузность неподвижности, сложенную руками людей для своих братьев.

Но вот я над нею, главный купол подо мною. Руль глубин вновь овладевает моим вниманием, я начинаю спускаться, лечу к своему гангару на Стрельбищном поле. На вышине движения не заметно, земля нечувствительно проплывает подо мною, ниже движения скорее, прекраснее, быстрее…

Покинув вышину 100 метров, я лечу, втайне боясь телеграфных столбов, могущих проволокой своей перерезать пополам. Делаю два круга по Стрельбищному полю, пролетаю рощицу, в которой стоит мой гангар, ласково оглядываю его крышу и, прервав ток мотора, плавно спускаюсь на широкую площадку пред ним.

Наверху все время мною владело сознание, что единственный враг мой – это земля, все, чем она тянется к небу, грозит мне

опасностью при спуске, и в случае несчастья прикосновение к ней будет смертельно.

Голубоватый эфир, любовно носивший меня в своих бархатных объятиях, мне родственнее земли, которая рано или поздно, но сделается моим палачом, как и всего живого.

Не в бессознательности ли этого ощущения кроется тот огромный интерес масс, который возбуждает авиация?

(«Одесские новости», 28 марта (10 апреля) 1910. Сокращенный вариант: «Заря авиации», № 2, 1916)

Петр Нилус

Исключительный талант

Портрет С.И. Уточкина
Художник Николай Кузнецов. 1902 г.

Уточкина знает весь город, знают, что он знаменитый гонщик, спортсмен. Он первоклассный пловец, яхтсмен, футболист, конькобежец, аэронавт, легко опускается в скафандре на дно моря. Превосходный игрок во все игры. Всюду, где нужны выдержка, сила, ловкость, глазомер, – Уточкин в первых рядах. Это знают многие, но мало кто догадывается, что в этом человеке, так похожем с виду на английского «эксцентрика», живет человеческая душа, богато одаренная природой.

Я знаю Уточкина давно. Помню осенние золотые дни на нашем треке и Уточкина,

тогда еще тоненького сильного мальчика, вдруг внесшего в наш город необыкновенный интерес к спорту. Я помню шумные овации толпы людей, осаждающих циклодром. Кто не бывал тогда на гонках! Появлялись самые неожиданные люди: адвокаты, музыканты, иереи, художники, тысячи чиновников – все приветствовали поразительного мальчика, легко, шутя бросавшего на целый круг тогдашних гонщиков с репутацией.

После гонок Уточкин уезжал домой с родственницей – дамой в черном, и долго не смолкавшие крики расходящейся толпы возбужденных мальчишек преследовали необыкновенного мальчика.

Было что-то поражающее, феноменальное в этом мальчике, побывавшем в шести учебных заведениях… Отовсюду его исключали не за неспособность, а за безудержную живость характера.

Его исключительный талант поражал, радовал всех, заражал подражанием. Увлечение велосипедным спортом, как поветрие, пронеслось над Одессой. О том, какую важную роль сыграл Уточкин в развитии спорта не только в Одессе, но и на всем юге России, знают все, кто интересуется спортом; благодаря Уточкину не одна тысяча людей лучше дышит, крепче телом, отважнее. И вот, несмотря на большую заслугу этого человека перед родным городом, исключая людей, знающих его близко, большинство его не ценит и к нему, как вообще к людям спорта, относится больше чем покровительственно, забывая, что это не обыкновенный гонщик и спортсмен, а талантливый, редкого, исключительного спортивного таланта человек.

* * *

Я познакомился с Уточкиным случайно. Это было в знойный июльский день в Большефонтанских купальнях. Молодой человек, хорошо сложенный, в одной жокейке, возился около байдарки, отделанной красным деревом, с шелковым парусом – белым крылом. Все следили за его движениями из купальни.

– Уточкин! Уточкин! – тогда его уже знали в море.

Эта байдарка была очень опасная игрушка, кажется, она в конце концов где-то погибла в луже.

Отойдя несколько сот саженей от берега, легкая и прекрасная, как птица, блестящая лаком, шелком и красным деревом, байдарка

вдруг опрокидывается к великому удовольствию зрителей… Уточкин скрывается под водой, но все отлично знают, что за отличного пловца бояться нечего.

Когда я представляю себе Уточкина в пору расцвета его тела и славы, я вижу лето, горячий день, наше море, берега, и мне неизменно является ощущение здоровья, силы…

* * *

Уточкин и я – мы как-то жили у моря на соседних дачах. Однажды, поздно, в лунную июльскую ночь, я был привлечен на берег слабыми мелодичными звуками окарины. Море едва плескалось, прижимаясь к теплому берегу. Все побережье спало. Я спускаюсь к морю и замечаю на самом берегу голого сатира, со странной звериной ужимкой играющего на глиняном инструменте. Это был Уточкин.

Незамеченный им, я прислушивался к музыканту, ночи, которые во мне слились, как ночная сказка, и эта сказка живет во мне как одно из самых прекрасных воспоминаний…

Уточкин любит природу самою нежною любовью. Я не забуду, как однажды в Париже мы мчимся по Елисейским Полям на автомобиле, а он мечтает и тоскует по Большому Фонтану…

* * *

Уточкин способен не только к музыке, он любит и живопись, и было трогательно, как этот сын земли и солнца, у которого, по мнению грубых людей, «весь ум в ногах», начал собирать картины не из тщеславия, а потому, что у него открыты глаза на природу, и он своей одаренной душой чувствует то, что недоступно многим миллионам людей «с умом в голове», смотрящим на него свысока.

* * *

Проходили годы, интерес к велосипедному спорту стал падать. На смену чудодейственному колесу стали появляться автомобили. Уточкин и здесь оказался в первых рядах спортсменов, и чует сердце мотора как свое собственное.

Но вот двигатель автомобиля становится все совершеннее, легче весом, и смелые и отважные люди с ясным умом и звериным чутьем к предметам и животным создали искусственную птицу, ту волшебную птицу, о которой грезит человечество уже три века.

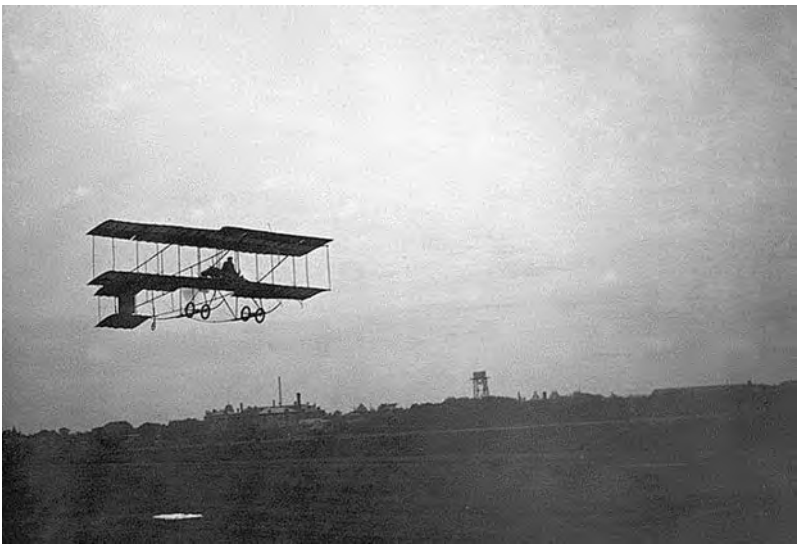
Задолго до аэроплана как предвестники нового цветка человеческого гения появляются давно забытые аэростаты, и все спорты оказываются пресными, все жаждут прекрасного чувства оторванности от земли. Тем более входит аэростат в моду, что быстро выясняется, что езда на автомобиле опаснее путешествия по воздуху на воздушном шаре. Разумеется, Уточкин становится аэронавтом, едет в Константинополь, Каир и там устраивает полеты со всевозможными приключениями, которым, как

Сергей Уточкин и писатель Александр Куприн перед полетом на воздушном шаре

заявляет сам Уточкин, «никто не хочет верить».

Однажды после полета в Одессе редакция «Одесских новостей», шутя, предложила Уточкину записать свои впечатления аэронавта. И вот этот человек, привыкший все делать хорошо, написал фельетон, который обличает в нем все задатки писательского таланта. Больше того, в этой маленькой статейке наряду с банальностями современной литературы, которую, по-видимому, недурно знает Уточкин, есть места, достойные истинного художника. Этот фельетон обратил на себя общее внимание, и когда А.И. Куприн написал о своем полете на воздушном шаре, публика отдала пальму первенства Уточкину. Я не вхожу в оценку этого мнения, для меня важен факт. После этого фельетона, сопровождавшегося большим успехом, был даже момент: Уточкин занялся литературой и, говорят, даже написал два недурных рассказа, но заниматься литературой, как он говорит, ему трудно, он не привык к работе за письменным столом.

Не успело еще пройти увлечение аэростатом, появились «цеппелины», потом аэропланы, бипланы, доступные самым отважным и ловким спортсменам. И вот Уточкин всем сердцем, всем помышлением своим отдается новому спорту, но для того чтобы осуществить свое желание, нужно много денег. И Уточкин странствует по глубокой провинции, по трекам, для того чтобы составить необходимый капитал для приобретения моторов и проч.



Широкий человек, не умеющий считать денег, становится расчетливым, скупым и наконец собирает необходимую сумму, едет в Париж, покупает там моторы, заключает контракт со столяром и весь горит жаждой добиться успеха в самом трудном и рискованном спорте.

Я, между прочим, был в мастерской, где сооружаются аэропланы Уточкина: один применительно к твердому грунту, другой к снегу.

Вся авиатика пока дитя эмпирических наблюдений, с каждым днем в нее вносятся все новые и новые направления, добавления. Не знаю, насколько те изменения (в крыльях, рулях), которые сделал Уточкин, целесообразны, но для меня интересен и этот факт, свидетельствующий о деятельном творческом духе Уточкина. Такие люди особенно должны быть нужны теперь: отважные, полные инициативы – это они помогут теоретикам отыскать незыблемые основы воздухоплавания. Мне кажется, что с тех пор, как прошел слух о полетах Уточкина, к нему стали относится иначе даже его зоилы… Наконец-то!

* * *

Я говорил об Уточкине как об одаренном человеке, у которого открыты глаза, уши на мир Божий, о его теле, соразмерном и гибком, но в нем есть нечто, что выше этих даров природы, – у него горячее свободолюбивое человеческое сердце…

Всем памятен случай, когда Уточкин не побоялся, рискуя жизнью, ринуться в толпу озверевших людей, бивших старика еврея. Какой-то негодяй нанес ему чуть ли не смертельную рану. Но сильная натура вынесла поражение, и, кто знает, может быть, сама судьба сохранила нам этого человека для будущего, для жизни, для счастья людей.

(«Одесские новости». – 6 (19) декабря 1909)

Путешествие

350 **Аркадий Рыбак**
Мир глазами Рыбака

Аркадий Рыбак

Мир глазами Рыбака

Давно прошли те времена, когда занятие фотографией оставалось уделом избранных или увлеченных любителей, находивших время и место для проявки пленок и печати черно-белых снимков. Процесс сильно упростился с приходом в массовое употребление самых примитивных камер, которые называли «мыльницами», и стал повальным в наше время умных телефонов. Они создали иллюзию, что снимать просто, и хорошее фото может сделать каждый. Не берусь с этим спорить. Классные фото порой получаются у кого угодно. Но определенную долю профессионализма все же исключать не стоит. Как и пользование фотоаппаратом, а не смартфоном. У камеры всегда больше технических возможностей. Хотя любой прибор сам не снимает. Важно, кто нажмет кнопку.

Об этом и многом другом я беседовал с неравнодушными посетителями в дни проведения моей персональной фотовыставки «Вокруг света» в уютной галерее «АРТ-Одесса» в Летнем театре Городского сада. Мне задавали вопросы о любимых местах для путе-

шествий, о нестандартных ситуациях и, конечно, о самих представленных фотографиях, у каждой из которых есть своя история. Некоторые из этих историй я коротко расскажу.

...Местные граждане называют эти места по-испански, «Фин дель мундо», что в переводе означает «Край света». Добираться туда далеко и долго. Самые южные участки земли на нашей планете принадлежат Аргентине и становятся последним пунктом перед отправлением в Антарктику. Там даже летом не бывает жары и люди кутаются в куртки. С берега видны верхушки дрейфующих айсбергов. На горизонте вырисовывается гряда вечно заснеженных гор, а в холодной воде отражаются корпуса судов под разными флагами. Среди всей этой строгой красоты я неожиданно увидел одинокий парусник. Он стал визитной карточкой моей выставки как символ дальних странствий...

Крошечную птичку колибри заметил на раскаленной солнцем набережной сонного мексиканского городка. Захотелось оставить птицу на память. Прицелился. Но не тут-то было. Колибри зависает в воздухе и очень быстро машет крылышками, оставаясь при этом на том же месте. Вот только в кадре выходит одно лишь мельтешение. Отступать не хотелось. Боясь спугнуть птицу, я чуть пригнулся, навел на нее объектив и замер в неудобной позе. Аккуратно щелкал и снова замирал. Четверть часа стоили мне боли в пояснице и того самого кадра, который пытался словить: колибри выглядит четко и безмятежно...

Совсем недалеко от тех мест в мало посещаемой европейцами Гватемале мы искали самые крупные города цивилизации майя, давно спрятавшиеся в тропических джунглях. До Тикаля, некогда важнейшего центра древних индейцев, мы добирались с местным проводником. Осмотрели гражданские постройки, высоченные пирамиды с крутыми ступенями и ровными площадками, возвышающимися над сплошными зарослями экзотических деревьев. На обратном пути проводник предложил срезать угол и идти малолюдными тропами. Вдруг вышли на небольшую поляну, заставленную брошенными джипами. Оказалось, бедной Гватемале помогали вести раскопки американские археологи. Они разбили в джунглях лагерь, объезжали местность на джипах. Когда экспедиция закончила работу, техника была в таком состоянии, что пробовать

добраться на ней на родину не рискнули. И бросили авто ржаветь среди дикой природы. Так родился этот неожиданный кадр.

* * *

Если вы отправляетесь в незнакомые места, фотокамеру лучше всегда держать наготове. Зачастую ситуация вокруг меняется молниеносно, и вам не удастся поставить или усадить предполагаемую модель на то же место, где вы увидели ее секунду назад. Снимайте не раздумывая! Будьте постоянно в тонусе и палец держите на спусковом крючке, как истинный охотник. Примерно так наставлял меня в детстве отец, один из самых известных в Одессе фоторепортеров XX века. Уроки Михаила Рыбака остались со мной. Я помнил его советы и в глухой африканской деревне, где под навесом из сухих листьев собрались чуть ли не все местные жители, и в уникальном храме Байон, и на улицах городов десятков стран мира, в которых довелось побывать за последние полвека. В Камбоджу едут с разных континентов главным образом для посещения уникального храмового комплекса Ангкор. Масштабы и размах древнего строительства поражают. Храм Байон известен тем, что его башни украшены гигантскими ликами то ли местного правителя, то ли Будды, не повторяющимися в своем каменном величии. Моя младшая дочь тоже увлеченно изучала удивительные шедевры мастеров и выглянула из глубокой ниши, глядя прямо в глаза одному из идолов. В тот же миг я запечатлел их взгляды…

…В теплых странах мы встречали множество обезьян. Они были игривыми и агрессивными, забавными и грозными, проворными и ленивыми. Они прыгали над нашими головами по деревьям, заборам и крышам храмов. Вырывали у прохожих мелкие предметы и еду. У меня есть множество снимков этих животных. Но больше всего нравится картинка, которую подсмотрел не на улице или в лесу, а в зоопарке Сингапура. Я долго наблюдал за этой большой стаей. Что мне показалось? Обезьяны в комфортных условиях начинают вести себя как люди. Становятся неторопливыми и вальяжными, выстраивают иерархию и норовят провести что-то вроде митинга. Обратите внимание, как они расположились на каменных уступах. Прямо как депутатские фракции. Назвал этот снимок «Съезд обезьян». Разве не похоже?

...Одна из беднейших стран Юго-Восточной Азии испытывает последствия странного эксперимента смеси королевской власти с местным социализмом, замешанного на стойких традициях буддизма. В Лаосе на каждом шагу храмы и изваяния, монастыри и стриженные налысо послушники. По мутным водам реки Меконг мы отправились на лодочке с низкими бортами к культовому для лаосцев месту, называемому пещерой Тысячи Будд. Огромное пространство в нависающей над рекой скале погружено в кромешную тьму. Дневной свет лишь чуть пробивается через входной пролом. Когда глаза привыкают к темноте, видишь по всей пещере сотни изваяний Будды – от крошечных, какие можно уместить на ладони, до возвышающихся над самым рослым мужчиной. Все это нагромождение Будд невозможно запечатлеть из-за скученности визитеров и все той же тьмы. Я бродил по пещере в поисках точки съемки, пока не зашел в дальний угол напротив самого входа, и уже оттуда, поднявшись на скользкий камень, зафиксировал задумчивые силуэты божества...

* * *

В Европу до карантина ездил каждый, кто имел хоть малейшую возможность и желание. Поэтому расскажу здесь только о двух снимках из своих бездонных европейских архивов. Один был сделан дождливым днем в Порту, где на берегу реки выстроились самые известные в мире заводы по производству портвейна. Туда мы заглянули с друзьями на дегустацию. Мне понравилась атмосфера старинного подвала, мрачноватые своды которого освещали оригинальные светильники, сделавшие обычные бочки похожими на театральные декорации. Да и портвейн там был хорош…

…В германскую столицу я приехал в тот раз по делам всего на несколько дней. Свободное время отдал пешей прогулке, то и дело фиксируя эпизоды жизни города на камеру. Вблизи знаменитых Бранденбургских ворот задумчиво стоял пожилой шарманщик, чуть облокотившись на свой старенький прибор. Словно человек из прошлого, задумчиво взирающий на наш безумный мир…

* * *

На выставке «Вокруг света» я показал чуть больше полусотни своих работ. Это мой взгляд на окружающую действительность. Таков мой угол зрения.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Ах, Одесса

356 Михаил Пойзнер
Очень одесские рассказы

362 Вячеслав Добровольский
Игры нашего двора

367 Таня Штыкало
Знакомьтесь, Василий Котющенко!

Михаил Пойзнер

Очень одесские рассказы

Следи за базаром

…Когда закончился Союз, в течение какого-то короткого времени надо было быстро обменять еще те старые советские рубли на уже новые украинские купоны. Причем установили крайние сроки такого обмена.

И вот звонит мне близкий приятель из другого города: «Послушай! Я задолжал одной подруге в Одессе всего 3 тыс. рублей! А сейчас вдруг вспомнил. Выручай! Тебе завезут те проклятые тысячи, а ты срочно передай… Хотя бы для того, чтобы я остался порядочным, хотя бы в ее глазах…»

Ну что делать? К концу рабочего дня привозят эти деньги, целых 3 тысячи. Все в банковских упаковках, но все по 3 и 5 рублей (!). Пачки, перевязанные канатиком, с печатями…

А везти аж за Пересыпский мост, во 2-й Заливной переулок.

Поехал сразу после работы. Когда добрался до места, уже начало смеркаться. Огромный-преогромный двор. Тут дети, тут мокрое белье на веревках, тут выпивают, тут рыбаки чинят сети, тут разборки…

Быстро нашел ту квартиру и именно ту подругу. Вошел через узкий-узкий коридорчик – шириной, может, меньше метра. Положил те злополучные пачки на стол, два слова – и на выход. Но не тут-то было! Передо мной возник какой-то стриженый мужичок в наколках, разорванной майке и таких же шароварах. В зубах сигарета. Опершись одной ногой на стену, он преградил мне дорогу, смачно затянулся и угрожающе процедил: «А *шо* в тех пачках? Деньги?! А *шо* если там «кукла»?!».

Возникла грозная пауза.

Я на минуточку представил себе тот огромный двор, тех рыбаков и все вокруг… Представил даже место, где меня спокойно закопают… К тому же, здесь и искать никто не будет – никто не знает, куда и зачем я поехал.

Даже не успел додумать дальше, как чисто на автомате медленно произнес тоном, задавшего этот вопрос: «А *шо* если нет?!». Другими, словами: «А ты готов, брат, ответить за базар?!».

На мгновение он растерялся. И мне этого хватило.

Я резко подался вперед, «опустил» его ногу: «*Шо* стоишь? Помогай считать! А то по «точке» передали, *шо* сейчас потушат свет… Дергайся веселее…».

…До своей машины через этот таинственный двор дошел не так быстро, как сначала хотелось. Что-то внутри мешало идти быстро…

А когда сегодня проскакиваю по Московской мимо 2-го Заливного, перед глазами глаза того выродка, не сумевшего быстро принять решение…

Однажды у Сбербанка…

…Как-то ехал во Всемирный клуб одесситов, что на Маразлиевской угол Базарной, на внеочередное выступление Жванецкого. Вокруг, конечно, все занято машинами. Сделал два круга – глухо, мест нет. Пошел на третий… Внезапно появилось свободное место у Сбербанка, почти на углу Базарной и Канатной! Правда, вдоль стояночных мест Сбербанка натянута цепь, но на участке, где освободилось место, цепь опущена. С облегчением поставил машину и пошел «на Жванецкого».

Вернулся, наверное, через часа два. Цепь натянута, висит замок. Как говорится, приехали… Теперь, чтобы выехать, надо открыть замок и опустить цепь. А где взять тот ключ? Иду на проходную Сбербанка. Мол, извините, выпустите мою машину… В ответ безразличное: «Ничего не знаю, никаких ключей нет…». Всё. Разговор окончен.

Я опять вернулся к машине. Что делать? Пока начал думать, мимо проходил мой давний приятель (он тоже был «на Жванецком»). Я растерянно описал ситуацию. Он глубоко вздохнул: «Вечно вас, интеллигентов, надо жизни учить… Идем на проходную. И обращаться ко мне только на «вы»…».

Еще ничего не понимая, иду за ним. Он вежливо вахтеру: «Извините, что отвлекаю. Понимаю – служба… Но можно вас на минуточку?». Тот вальяжно подходит. Ни слова не говоря, мой приятель звонит по мобилке: «Это Волков… Я сейчас на проходной Сбербанка, на Базарной. Тут небольшая задержка. Во-первых, напишите подробно объяснительную по поводу вашего отсутствия на розыскных мероприятиях… Теперь внимательно посмотрите должностную инструкцию вахтера Сбербанка. Да… этого конкретного Сбербанка. Прежде всего, что входит в его непосредственные обязанности, включая надзор за стоянкой служебного и другого транспорта? Да, да… Здесь налицо, как я понимаю, откровенное самоустранение от исполнения служебных обязанностей… Подготовьте информацию для предоставления утром руководству Сбербанка. Понятно? Фамилия вахтера? Фамилия не нужна… Пусть с ним потом разбирается его начальство… Никаких вопросов! Я срочно отбываю на участок № 4, куда через полчаса выслать всю группу… Всё».

Отключив телефон, мой приятель равнодушно обратился к вахтеру: «А вы свободны, я вас не задерживаю…».

Вахтер мало сказать побледнел, хорошо заикаясь, хотел было что-то возразить: «Я… я… не знаю… я…». На что мой приятель как бы в сторону произнес: «Да, дела… Играем в «знаю – не знаю…»? Если вы дорожите своим местом, сами все узнаете… Мы – к машине…».

…Не успели подойти, как вахтер с каким-то парнем наперегонки, обгоняя нас и толкая друг друга, уже открывали злополучный замок. Замок сразу не поддавался… Буквально через считаные минуты мы оказались на свободе.

…Вы, наверное, подумали, что мой приятель, этот «Волков», – сотрудник каких-то лево- или правоохранительных органов?

Ничуть… Он очень обычный инженер, но… настоящий одессит, хорошо ориентирующийся в нашей суетливой действительности.

А взять на понт никогда никого не поздно…

…Откуда у хлопца испанская грусть?

Этим летом смотался вот в Испанию. И, конечно, в Барселону.

Уже на второй день бродил где-то в центре и заблудился. Мне в сторону железнодорожного вокзала, там рядом гостиница. А где тот вокзал?

Останавливаю прохожих, пытаюсь что-то выдавить из себя по-английски. А чтоб вы знали, в Испании по-английски не говорят и не понимают.

Те испанцы только пожимали плечами. Мол, вы о чем? И все бегут…

Ну все-таки в конце концов наткнулся на одного мужика, который вроде бы попытался мне помочь.

Разговаривали в основном руками…

И тут он внезапно по-английски: «From what you?». Ну, значит, откуда ты, мол, такой взялся? Ответил одним словом: «*Одесса*». Мне проще – так и по-русски, и по-английски, и по-испански. Я даже страны не назвал, а он все понял!

И что? Глаза моего испанца сразу же загорелись, появилась добрая улыбка! Он тут же набрал какой-то номер на мобилке, что-то буркнул – буквально пару слов. И передал мне трубку. Оттуда мягкий женский голос по-русски: «…Не волнуйтесь! Мой друг сам доведет вас до гостиницы, решит все ваши вопросы…. И еще раз, не волнуйтесь…».

Оказывается, он набирал Одессу!

Оказывается, набирал свою одесскую подругу, которая свободно говорит по-испански!

Оказывается, мой испанец только-только вернулся из Одессы!

Дальше мы уверенно и весело шли к моей гостинице. И через каждый шаг он повторял: «О! Odessa! Odessa – люкс! О! Odessa!». При этом много раз поднимал большой палец вверх. Мол, *люкс*!

«*Люкс*» – что по-русски, что по-английски, что по-испански – все равно *люкс*!

И я еще тогда смутно подумал: «Может, кто-то скажет, все это случайность. Может быть… Но добро все равно возвращается, где бы оно ни делалось…».

А когда мы расставались, мой испанец явно загрустил. Опустил голову, отвел от меня глаза в другую сторону…

Видно, Одесса и та одесситка ему как-то особенно запали в душу.

А я для него всего лишь кусочек тех воспоминаний.

Вот тебе и Одесса…

Как мама? Как папа?!

…Мой брат только-только начал работать в Одессе следователем прокуратуры. И тут на танцах в парке Шевченко убили какого-то парня.

По свежим следам быстро приступили к расследованию. К тому же, от одного внештатника поступила информация о том, что, когда произошло убийство, в районе танцплощадки крутился рецидивист по прозвищу Вова-Начальник. Милиция вместе с моим братом немедленно кинулись за этим Вовой.

Вова-Начальник жил прямо напротив КПЗ (для тех, кто уже успел позабыть, – камера предварительного заключения), что и сейчас на Преображенской, дом 44.

Теперь представьте себе. Темная лестничная площадка. Звонок в двери. Выходит Вова. В темноте за спинами милиционеров, присмотревшись, он узнает моего брата: «Не понял? Это ты?! Что случилось? Как мама, как папа?! Я же переживаю…».

Милиционеры от неожиданности онемели.

Вову ввели в курс дела. Вова даже расстроился: «Не понял! Вот смотрите! Вещи у меня как раз собраны. Я всегда наготове… Можете меня уже забрать, но я не убивал… Кто-то мне повесил «красный фонарь»… Вы меня не знаете, а вот он меня знает…».

Окончательную точку поставил мой брат: «Извини, что потревожили… Такая служба…».

Уже на улице мой брат опередил естественные вопросы: «Он не убивал… У него другой профиль… Он рецидивист-аферист… Ну, берет у простаков наперед деньги – у кого на холодильник, у кого на телевизор, у кого на машину… А потом пропадает с концами… Но чтобы убить – это нет…».

А как понять его: «Как мама? Как папа?».

Понять очень просто. Давным-давно этот Вова-Начальник, когда еще не был «начальником», жил в соседском доме. Жил и по соседству дружил с нашими родителями. Это же Одесса, это же Молдаванка! Здесь особый микроклимат… Когда, кем бы ты ни был, все равно здесь все просто соседи. А где живешь, там стараешься вести себя прилично…

Держи фасон! Кругом люди…

Вячеслав Добровольский

Игры нашего двора

Четверть Курицы

Эта история началась задолго до моего рождения, имела довольно обычное продолжение и совершенно неожиданный финал…

В одесском дворе с разницей в несколько лет родились мальчик и девочка. С детства дружили, вместе росли. Весь двор называл их «жених и невеста»… Война, эвакуация, возвращение, встреча, и все как раньше. И двор готовится к скорой свадьбе. Шел 1948 год…

В 1995-м я ставил спектакль во Владивостоке. Постановочный период длился около трех месяцев, многие актеры и музыкальный руководитель спектакля были моими ровесниками. И как-то само собой получилось, что мы вечерами засиживались в театре после вечерних репетиций. Постепенно сложилась компания из 6-7 человек. Темы разговоров в основном сводились к различным театральным курьезам, оговоркам на сцене, актерским розыгрышам.

Я уже не помню, какую историю тогда рассказал. Она произошла не со мной, а с моим папой в пору его работы актером в Украинском театре.

Вдруг одна из актрис, Марина (фамилии не помню), сказала: «А я тоже с Одессы». Именно «*с*», а не «*из*»! Сомневаться не приходилось, так говорят только коренные одесситы. Я продолжил диалог:

– А где жила?

– Сначала на Островидова…

– Ну-у! Еще скажи, что в доме 32!

– (Долгая пауза.) Да, в 32-м…

С детства я запомнил *свой* адрес: Островидова, 32, квартира 12-а. Значит, мы росли в одном дворе? Но я Марину, как ни пытал-

ся, не мог вспомнить. Позже она рассказала, что довольно скоро они поменялись и переехали, так как ее мама не могла пережить, что ее жениха увела какая-то пришлая. И что, в общем, Марина только родилась в нашем доме (поэтому я ее и не помнил). И как-то совершенно я не придал значения фамилии «нареченного жениха» ее мамы – велофигурист Виля Асмус, – просто не придал значения, хотя моего папу, Владимира, всю жизнь звали именно Виля. И в цирке он работал в группе велофигуристов…

На премьеру во Владивосток прилетела моя мама из Питера и мама Марины, к тому времени долгие годы жившая в Израиле.

Успех спектакля был ошеломляющим. Таким же оказался и банкет. Вот на нем и случилось… Из разговора с мамой:

– Ма, видишь, за тем столиком сидят наши земляки, не просто одесситы, но с нашего дома!

– Сын, я что-то их не припоминаю.

– Ой, ма, там такая история! Марина рассказывала, что у ее мамы отбила жениха какая-то, по ее словам, не наша…

– Подожди, а как звали ее жениха?

– Виля Асмус…

Мама изменилась в лице. *Такой* я ее не видел *никогда*. «Пойдем», – только и произнесла она.

Мы подошли к столику, где сидели Марина с мамой. Мама начала без предисловий, даже без «здрасьте»:

– Во-первых, Асмус – это фамилия руководителя группы, а фамилия Вили Асмуса – Биренбойм. Во-вторых, у *моего мужа* Вили Биренбойма действительно была подруга детства, которая думала, что она – его невеста. Весь двор называл ее за ее фигуру *Четверть Курицы*…

Мама не успела договорить, как женщина прошептала: «Лида, Четверть Курицы – это я», – и потеряла сознание…

Особенно хочу отметить, что там, на банкете, они не успели познакомиться, но Зоя (так звали маму Марины) всю жизнь помнила имя *Лида*, имя своей обидчицы, моей мамы. А не виделись они сорок пять лет!

Три дня, вплоть до нашего отъезда, мама и Зоя не расставались. Не умолкая вспоминали они обиды и радости, причем до мельчайших подробностей, говорили о нашем дворе, о нашей Одессе, о времени, которое я знал только по рассказам. Зоя принесла семейный

альбом, где почти половина была заполнена ее фотографиями, причем почти на всех вместе с папой. Я эти фотографии видел впервые, а она все говорила и говорила о детстве и юности, вспоминая с каждым днем новые подробности… Мама не оставалась в долгу и рассказывала о том, как сложилась жизнь нашей семьи. Создавалось впечатление, что они соревнуются, пытаясь доказать друг другу, с кем из них папе было (или могло стать) лучше в жизни…

Я не отходил от них все три дня и видел в их глазах и азарт молодости, и слезы горя, которое примирило и соединило их… Ведь прошло почти шесть лет со дня папиной смерти.

Друзьям – всё!

Счастливое детство! Ни компьютерных игр, ни айпода с айфоном, никаких фенечек и прибамбасов, чтобы выделиться. Основные игрушки: самокат на подшипниках вместо колес, старый велик от папы или старшего брата (часто один на пятерых, даже в мыслях не было сказать «мой», катались по очереди), «маялка» (кусок чулка, набитый песком, кто больше подбросит ногой), мяч (любой), самодельное оружие разных видов и систем, от рогаток до автоматов, главное условие, чтобы сделано своими руками. У девчонок скакалки, мел, чтобы классы расчертить и коробочки от леденцов, набитые песком для тяжести, чтобы точнее в класс летели.

За покупные игрушки я специально не говорю. Это было очень индивидуально, для домашнего пользования, или когда приходили в гости. Ох, чего там только не было! Настольные футбол и хоккей, в которые играли больше отцы и деды, машинки инерционные и управляемые, оловянные солдатики и даже железная дорога!

Они никогда не видели двора, дорогие игрушки нашего детства! И тем не менее, будучи собственностью кого-то одного, они принадлежали целому одесскому двору, всем его детям. Мы толпой ходили к братьям Валере и Вове играть в солдатики, ко мне – играть в настольный футбол, к Алику и Адику (еще два брата) собирать уж совершенно удивительную автотрассу с тремя гоночными машинками!

И никакой детской зависти! Честь, хвала и добрая память нашим родителям! Они научили нас давать все друзьям, не заботясь об от-

даче. Помню Витю Слипченко. Он рос без родителей, только с бабушкой. Какие игрушки, когда одежда и обувь были неразрешимой проблемой! Витька всегда первым катался на велике, ему безоговорочно уступали очередь играть с любой игрушкой… А уж как мы уговаривали своих родителей, и – уговорили! И у Витьки на семилетний день рождения появился свой велосипед – подарок всего двора. Ох и накатались мы в тот день на нем, именинник, по-моему, был единственным, кто в тот день на нем проехал всего один, первый круг… Вот я и вернулся к дворовым играм. Играли в войну, в жмурки, в сало… да разве упомнишь все детские игры полувековой давности!

Играл весь двор. И взрослые не были исключением. Например, утром в футбол играли самые мелкие (мы все были детьми двора, в детский сад не ходил никто, да и зачем? Такому соседскому присмотру могла позавидовать самая лучшая воспитательница), днем – школьники. А после работы приходили взрослые, и тут уж первым двум сменам оставалось только подавать вылетевший мяч и удивляться, почему у них мяч никогда не летел в стекла, а у нас постоянно.

Итак, взрослые играли в футбол, а «старики» (от 35 лет) – в шахматы, в карты, в домино. Мой дед прекрасно играл в них и с детства учил меня «взрослой жизни», и не без результата. Еще до школы я очень прилично считал, да и как без устного счета играть в карты, в 66 или в домино, в телефон? Дед все же больше любил шахматы, вместе с мамой очень любили играть в карты, а папа и бабушка – домино.

О, домино! В него играла вся Одесса 50-х – 70-х годов, вплоть до эмиграции большинства игроков. Стоило мартовскому солнышку начать прогревать песок на пляжах, как в Аркадии начинал работу «доменный цех». Только не путайте его работников с доменщиками и сталеварами. Это совершенно другая профессия.

Из распахнутых дверей трамвая пятого маршрута, остановившегося на конечной, в Аркадии, с раннего утра выходили группы людей со странным, как сказали бы в театре, реквизитом, завернутым в обычные газеты.

Секрет раскрывали через несколько минут. Из газет извлекали складные стулья, сами газеты становились шляпами, панамами, в общем, тем, что могло уберечь головы их хозяев от солнца. Четыре человека садились крест-накрест, их колени накрывал

квадратный кусок толстой фанеры, и на него с громким стуком высыпали костяшки домино (в Одессе их называли не костяшки, а камни). Что это были за камни!

Страдивари со своими скрипками, Фаберже с… сами знаете чем должны были немедленно умереть от зависти, увидев шедевры одесских мастеров доменного цеха! Каждый камень в толщину склеивался из двух-трех обычных, чтоб было «ше взять у руку». Белые и черные переплетались, создавая неповторимый орнамент, такой же индивидуальный, как самодельные счеты из полоски картона и двух колесиков с цифрами у каждого играющего.

Они были очень здоровыми людьми, эти женщины и мужчины, одесские доменные пенсионеры. С утра до вечера с марта по октябрь без перерывов и выходных они дышали морским воздухом, не замечая его. Они открывали пляжный сезон и закрывали его, ни разу не искупавшись. Это понятно, им было некогда. Они не знали, что такое склероз и выпадение памяти, их мозг работал с постоянной нагрузкой, запоминая и просчитывая ходы за себя и партнера, и соперника… а о специфике их загара я даже не говорю, все зависело от исключительной индивидуальности играющего.

Из всей когорты легендарных игроков лучше всего помню двух братьев (по-моему, близнецов). Адриан Евтихеев, известный своей волосатостью, выглядел бы абсолютно лысым в сравнении с их торсами и спинами. Они всегда играли, как сейчас говорят, топлес. И правильно! Ведь ни солнце, ни ветер, ни дождь при самом большом желании не могли бы добраться до их кожи.

В Одессе я их видел в последний раз в конце 70-х… Многих мы видели в то время, как казалось тогда, в последний раз…

…Я встретил их на Брайтоне в 1997-м. Случайно. Сначала глазам не поверил: на пляже под шум океанского прибоя, так же прикрыв от солнца головы газетами (американскими), сидя на таких же, а может, на тех же вывезенных складных стульчиках, с такой же фанерой на коленях, азартно стуча камнями, играли против незнакомой пары два очень знакомых мне седых лысых человека…

Вы хотите сказать за несоответствие, «седых, лысых»? Абсолютно отнюдь! Когда они снимали газеты, потные лысины блестели. А грудь и спина – не лысеют!

Нью-Йорк

Таня Штыкало

Знакомьтесь, Василий Котющенко!

Это реальная история, которая произошла в одесском издательстве «Оптимум».

Рыжий кот Василий жил в издательстве «Оптимум» и по совместительству там же работал мышиным сторожем.

Как-то издатели, работая над свежей книгой про одесский колорит, ради хохмы, как говорят в Одессе, взяли – и вписали кота Василия в качестве автора! И получилось: «Язык Одессы. Слова и фразы. Толковый словарь. Составитель книги и вступительного слова – Василий Васильевич Котющенко».

Книга большим тиражом разлетелась по всему миру.

Через некоторое время в редакцию поступил звонок: «Алё! Это «Оптимум»? Это из Америки вам звòнят! Ко мне тут книга попала вашего издательства. Автор – Василий Котющенко. Очень понравилась.

Хочу познакомиться с автором для дальнейшего сотрудничества!».

Так кот Василий снискал мировую славу. И был повышен: с должности мышиного сторожа до должности художественного редактора.

На этой должности Василий Васильевич редактировал книги под разными фамилиями: Котов, Котенко… Пробовал даже одно время для придания большего весу подписывать книги раскидистой фамилией Котов-Черноморский. Но все это не прижилось. Природная скромность обаятельного рыжего Васьки взяла свое, и подпись в книгах осталась краткой: автор – Василий Котющенко.

Издано...

370 **Евгений Голубовский**
Книжный развал

379 **Феликс Кохрихт**
Живем…

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Одессе

Юрий Михайлик
Уходя в полутьму налегке
Дизайн, фотографии
Анны Голубовской
Одесса, Колодрук, 2020

Представлять Юрия Михайлика одесскому читателю, убежден, нет нужды. Его, как и его стихи, знают, помнят, а главное – любят. Представлять Юрия Михайлика читателю из Австралии, где он живет уже двадцать семь лет, боюсь, мне не под силу.

Важно для меня то, что все эти 27 лет присутствие Михайлика в литературной жизни Одессы не прерывалось. Публиковались его новые стихи, он следил за творческой жизнью своих питомцев из литстудии «Круг», писал предисловие к их коллективному сборнику «Глаголы нового времени»…

И эту книгу, вышедшую в 2020 в Одессе, составил для нашего, точнее – для своего города, Юрий Михайлик. И название книги – его.

Если бы мне довелось давать название этой книге, назвал бы ее «Горькая любовь» или «Горькая нежность». Как-то так.

Потом вспомнил, что известный поэт Олег Хлебников писал о Юрии Михайлике: «И поэтому даже от горьких стихов Юрия Михайлика остается радостное чувство – открытия большого поэта».

Новая книга Юрия Михайлика, которую он составил не хронологически, а тематически, вобравшая любимые мной стихи за полвека, убедительно показывает: Одессе повезло, у нее в XX веке вырос настоящий большой поэт.

Зеленый фургон
и весь Александр Козачинский
В двух томах
Составитель Михаил Пойзнер
Дизайнер Леонид Брук
Художник Григорий Палатников
Одесса, ТЭС, 2020

Восхищен!

Не очень часто испытываю такое чувство от новых книг.

Но здесь «высокопарных слов не нужно опасаться…».

Это подвиг любви.

Это та степень перфекционизма, где точно каждое слово…

Это труд, на который ушли несколько последних лет.

Пойзнер уговорил замечательного художника Григория Палатникова создать графическую сюиту к повести «Зеленый фургон» и рассказам.

И, право, книга стала не менее яркой, душевной, ироничной, чем кинофильм.

Пойзнер привлек к работе сотрудника Одесского литмузея Алену Яворскую, которая опубликовала все письма Александра Козачинского и письма к нему от Ильфа и Кирсанова, Гехта и Петрова…

Пойзнер привлек к работе краеведа, архивиста Наталью Панасенко – и ожили документы судов над Козачинским, полная приключений жизнь этого необыкновенного писателя.

Пойзнер попросил Олега Губаря – и тот для издания подготовил летопись знаменитой Севериновки…

Когда-то в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская» мы публиковали эссе Михаила Пойзнера «Мой Александр Козачинский». Оно есть в этом двухтомнике.

И мы ощущаем, как Миша, еще мальчишкой, влюбился в фильм, затем, спустя пару лет, прочитал повесть, тогда и осознал, насколько одесской, колоритной, нестандартной была фигура писателя.

Любовь Пойзнера всегда действенна.

Это он добился, что на доме по Базарной, 1, где прошли детство и юность Козачинского, установлена мемориальная доска.

Это он сумел выяснить, где в Новосибирске в годы войны похоронили тяжело болевшего 39-летнего писателя, и поставить на могиле памятник – от одесситов.

Но лучший памятник, который может быть у литератора, – издание всего Козачинского.

Всего, так как мы впервые прочитаем сценарий, который предлагал Ленфильму Козачинский, «Первый выстрел».

Увидим фотографии работы Козачинского. А он, как и Ильф, был увлечен фото.

Перечитаем грустный, но замечательный рассказ Козачинского «Феня»…

По сути, мы откроем для себя личность человека, которого многие считали творцом одной повести, своеобразного «Горе от ума» советского времени…

Еще раз повторю – восхищен!

Белла Верникова
Пришедший из забытья
Одесса, Оптимум, 2020

Все, кто интересуется «литературной Одессой», получили не просто новую книгу – а умный, заинтересованный взгляд на развитие, движение талантов внутри южнорусской литературы.

У меня в руках сборник эссе, статей и интервью Беллы Верниковой «Пришедший из забытья», но по сути, это единая книга, построенная как филологическое расследование.

Для многих Белла Вернико-ва – поэт, входившая как равная среди равных в студию Юрия Михайлика «Круг».

Это из того времени ее стихи:

Старые названья старых улиц
помню я, как выраженье лиц
бабушки и деда.
На заросшем кладбище приткнулись
их могилы.
Затяжное лето, как горчичник,
выгревает стены на Канатной,
Малой Арнаутской,
Греческой, Еврейской, Ришельевской,
на Преображенской, Тираспольской,
На Гаванной, в Городском салу…

Для некоторых Белла Верникова – своеобразный художник. У нее были выставки работ. Да и в вышедшей в издательстве «Оптимум» сейчас книге ее картина на обложке.

Но для всех, начиная со времени работы в Одесском литмузее, а потом преподавания в Иерусалимском университете, она исследователь литературного процесса.

Верникову заинтересовали истоки русско-еврейской литературы, этого диалога культур.

Еще в 1991 году Белла Верникова принесла мне в «Вечерку» рецензию-эссе на вышедший сборник студии «Круг» – «Вольный город». С тех пор она не перестает следить за творчеством своих современников.

Но, как показывает вышедшая книга, куда вошли статьи за 20 последних лет, Верникова тщательно отслеживает процессы в современной литературной Одессе.

Многие статьи публиковались в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская», в журнале «Литературный Иерусалим», в альманахе «Мория», но собранные воедино, они не только показывают панораму литературной жизни, но и предсказывают пути развития.

Анна Михалевская
В коконе
Рисунки Виктора Джеваги
Одесса, Симекс-принт, 2020

В 2017 году в Киеве у Михалевской вышел сборник рассказов «Междверье». Я писал к нему предисловие и предупреждал, что это старт, что нужно с интересом следить, как будет развиваться этот прозаик.

И вот большой роман. Одесский роман.

С интригой. Которая держит читателя.

Если бы в Одессе, как раньше, снимали кино, – какая прекрасная история для фильма!

Здесь есть чуть мистики, здесь есть легенды Одессы. Но главное – здесь люди, в реальность переживаний которых веришь.

Забавно, Анна Михалевская считает себя писателем-фантастом.

А ее фантастика столь реалистична, что понимаешь: нынешний роман вобрал в себя находки писателей магического реализма, да и самых разных стилей. Так и возникает новый реализм.

Меня подкупает у Михалевской язык. И ее героев, и самого автора. В книге различимы языковые пласты. Можно не смотреть, кто говорит, а по тому, как говорит, – легко вычислять героев романа.

Не хочу спойлерить, как ныне принято выражаться, не хочу даже намекать на сюжетные ходы.

Советую книгу прочесть.

Думаю, что, как и я, вы полюбите и героев романа, и автора. Надеюсь, вместе со мной будете ждать ее третью книгу.

Роман «В коконе» был выбран мной и Евгением Деменком как значительное произведение, рожденное в недрах «Зеленой лампы», и его студия издала в 2020 году. Это уже пятнадцатая книга, изданная нами за десять лет. Помогли в издании романа Анны Михалевской, как всегда, Евгений Деменок и писатели Елена Андрейчикова и Елена Палашек.

Александр Бирштейн
Сказки о любви
Одесса, Астропринт, 2019

У нас в альманахе публиковались одесские рассказы Александра Бирштейна, печатались его стихи, нередко – краеведческие очерки…

Но вот сказки? Даже не предполагал, что Бирштейн пишет такие смешные, трогательные сказки для взрослых.

Нет, это не в традиции Бажова или братьев Гримм, Шарля Перро или Шергина. Тут скорее вспомнишь Гофмана или удивительного

Писахова, которого у нас редко издают и мало знают.

Бирштейн пишет, если хотите, изящные моралите. Светлые. Хоть нередко грустные.

Вот как начинает он «Сказку о дурре»:

«Она была дурра. Но молчаливая. На это ей ума хватало. Больше ни на что!»

Можете ли вы предположить, как будет развиваться сюжет? И я бы мог. Но тоже бы не угадал.

Попрошу, чтоб в один из ближайших номеров альманаха Александр Бирштейн прислал нам новые сказки.

В сказочном мире живем. Может, лучше поймем его законы.

Издано в Харькове

Одесская антология
В двух томах
Составители Анна Мисюк и Алена Яворская
Харьков, Фолио, 2020

Два тома, тысяча триста страниц текста – таков объем этой антологии, вобравшей тесты об Одессе, написанные путешественниками, журналистами, писателями за 225 лет истории нашего города.

Есть очерки, рассказы, которые давным-давно были опубликованы и затерялись в массивах периодики.

Есть хрестоматийно известные рассказы, стихи, эссе, без которых не обходится ни одна одесская антология.

Что это – развлекательное издание или научная работа? Думается, нечто иное – это подарочное издание. Оно может быть всегда под рукой, когда пишешь что-либо об Одессе, думаешь о феномене этого города.

И, конечно, в нем достаточно полно представлена одесская литературная школа от Власа Дорошевича до Бабеля, от Багрицкого до Кирсанова…

На месте издательства я бы заказал составителям и третий том, чтоб ярче представить литературу начиная со Второй мировой до сегодняшнего дня.

Издано в Москве

Аделина Адалис
Первое предупреждение
Стихотворения и письма
Составление, подготовка текста, послесловие и примечания Максима Воронкова
Москва, Водолей, 2020

Вот еще одна лакуна в литературной Одессе заполнена. Пожалуй, после того, что в Одессе вышел большой том Анатолия Фиолетова, это столь же ожидаемая серьезная работа.

Начинала Адалис в одесской «Зеленой лампе». Хрестоматийным стал ее очерк о Багрицком – «Нас вел Эдуард». Но о ее стихах тех лет мы знали понаслышке. Более того, мне довелось быть у нее дома в Москве в конце 60-х годов, мы публиковали ее новые стихи, а про стихи 20-х годов она мне ответила – «не сохранились».

И все же в архивах, у родственников Максиму Воронкову удалось их найти.

В этой книге собраны все известные стихотворения Аделины Ефимовны Адалис (1900-1969) за период до 1923 года. Дело в том, что в 1922 году должен был выйти сборник стихов Адалис «Первое предупреждение», издательство сообщало, что он уже печатается. Но ни книга не вышла, ни рукопись не была возвращена…

И все же поиски составителя завершились успехом. Думается, книгу удалось реконструировать. Более того, в нее включена переписка Адалис с Валерием Брюсовым и поэтом Марией Шкапской.

Достойно отмечено выходом книги 120-летие Аделины Адалис.

Феликс Кохрихт

Живем…

Издано в Одессе

Валентина Силантьева
Две книги о нашем времени
Одесса, 2020

Роман-дилогия – такова формальная структура этой книги в твердом переплете. Автор, профессор филологии, в своем обращении к читателям признается, что вдохновилась примером великого предшественника, признавшегося, что его «Герой нашего времени» точно портрет, но не одного человека… Рискну предположить, что Григорий Печорин унаследовал типические черты того же поколения у пушкинского героя с тоже говорящей фамилией, где корень – имя великой сибирской реки.

Впрочем, в истории большой литературы были и куда более громкие и впечатляющие признания. К примеру, Гюстав Флобер и вовсе признался, что несчастная Эмма, героиня его романа «Мадам Бовари», – это он и есть…

Уже не в первый раз имею интерес и удовольствие откликаться на книги Валентины Ивановны, среди которых есть и особенно близкая мне, посвященная тенденциям в современном изобразительном искусстве. Но чаще это проза – вот и на сей раз.

О чем бы она ни размышляла, а затем и писала, получается о том, что знает лучше и более всего. О себе, о своем поколении, о девочках и девушках Придунавья, одолевающих естественные и порой искусственные препоны на пути к… На пути к письменному столу, преподавательской кафедре, к пресловутому шалашу, в котором счастливые часов не наблюдают…

Но на сей раз пишет Силантьева в предисловии об «ином поколении, сформированном «междувременьем», о моих молодых современниках, многие из которых не выдержали испытания «формулой хаоса». Два термина, взятые в кавычки, разматываются на протяжении 360 страниц, и многое, но не все становится понятным в судьбах персонажей этой саги.

Вторая часть имеет название, вызывающее у меня желание тут же, пусть не в полный голос, хотя бы про себя подпеть мужскую партию в дивном старинном романсе : «Снился мне сад в подвенечном уборе…».

Но для заголовка этих заметок (а книга, несомненно, заслуживает фундаментальных рецензий) я выбрал имя первой книги. Оно – сродни вздоху мудреца и обыденной реплике на ходу: «Живем…». И добавить нечего.

Содержание

От редакции 3

Михаил Жванецкий
Жизнь коротка 5

Юрий Михайлик
Только новое 7

История, краеведение

Олег Губарь
Путеводитель по пушкинской Одессе 10

Андрей Добролюбский
«Я попал в какой-то другой мир…» 28

Олег Губарь
Руссовы: происхождение, причисление в городское гражданство, недвижимость 43

Павел Козленко
Моя Балта 52

Аркадий Рыбак
Аккерманский мальчик 67

Анатолий Горбатюк
Ужин с видом на Дарданеллы, или «А скумбрию подать забыли?!» 84

Одесский календарь

Евгений Голубовский
Дом Бориневичей 90

Проза

Владимир Каткевич
Фауст 96

Андрей Потапов
Нечаянный круиз 104

Рада Полищук
Одесские рассказы 116

Леонид Лейдерман
Старокрымский синдром 127

Евгений Деменок
Калейдоскоп 142

Поэзия

Тина Арсеньева
Из цикла «Благослови мимоидущего» 150

Влада Ильинская
Заводят только звуки арфы 157

Валерий Сухарев
Хором читают букварь 163

Татьяна Орбатова
Акварели 169

Константин А. Ильницкий
Место приложения любви 174

Віталія Бабущак
Життя проходить, наче спалах 181

Виктор Фет
Забвения река 189

Первые шаги

Море талантов Украины 196

Искусство – жизнь – искусство

Елена Галинская
«Жить, как бог в Одессе» 204

Юрий Дикий, Феликс Кохрихт
Рихтер Allegro «Одесса» 217

Алена Яворская
«За решеткой в темнице угрюмой – ни любви, ни весны, ни зари» 233

Стив Левин
Творческая неудача или «почти шедевр»? 256

Юрий Садомский
Дуновения 275

Публикации

Семен Липкин (1911-2003):
«Каждый решал по-своему» 288
Публикация Елены Константиновой

Андрей Ренников
Минувшие дни 300
Публикация Андрея Власенко и Михаила Талалая

Татьяна Рогозовская
1918-1919-1920… Киев – Одесса – Константинополь 325

Сокровища из сокровищницы

Татьяна Щурова
«Человек с душой Икара» 332

Путешествие

Аркадий Рыбак
Мир глазами Рыбака 350

Ах, Одесса

Михаил Пойзнер
Очень одесские рассказы 356

Вячеслав Добровольский
Игры нашего двора 362

Таня Штыкало
Знакомьтесь, Василий Котющенко! 367

Издано...

Евгений Голубовский
Книжный развал 370

Феликс Кохрихт
Живем… 379

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах
Книга 82

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac
Book 82

Издается с 2000 года

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Технический редактор Геннадий Танцюра
Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 1.08.2020
Бумага офсетная PAMO SUPER 80 г/м

FSC
accredited
FSCTrademark©1996
ForestStewardshipCouncil®A.C.
FCS-AOC-015

Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Заказ № .... Тираж 500 экз.

Всемирный клуб одесситов
65014 Одесса, Маразлиевская, 7
Украина
Тел.: +38 (048) 725-45-67

Worldwide Club of Odessits
7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa
Ukraine
Tel.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»
Украина Одесса, ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД № 121 от 20.01.2003 г.
E-mail: takibook.odessa@gmail.com. Тел.: +38 (067) 486-20-34
www.takibook.od.ua

Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
Регистрационное свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010
а/я 299, 65001 Украина Одесса
Тел.: +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua